ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

Дополненное издание

ДАВИД КАРАПЕТЯН

«Очень субъективная книга.
Но в этом и ее ценность».

Людмила Абрамова,
вторая жена В. Высоцкого

«Честная, искренняя, прекрасно написанная
книга о человеке, память о котором
дорога мне по сей день».

Лариса Лужина

«Из того, что было прочитано мною о Высоцком,
в том числе и «Прерванный полет» Марины Влади,
я считаю, что книга Карапетяна – это лучшее,
что написано о поэте... Помимо каких-то
интересных фактов, это просто
очень сильная литература».

Илья Рубинштейн,
сценарист, режиссер

«Самая правдивая и самая сильная книга о Володе.
Теперь я могу спокойно умереть».

Всеволод Абдулов

ДАВИД КАРАПЕТЯН

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗАХАРОВ · МОСКВА

УДК 882-94
ТБК 104
К 21

Издательство «ЗАХАРОВ» выражает благодарность

ГКЦМ В.С.Высоцкого и лично Андрею Евгеньевичу Крылову за предоставленные фотографии и внимание, проявленное к работе над этой книгой.

Автор выражает благодарность

ГКЦМ В.С.Высоцкого;

А.Е.Крылову и И.И.Роговому — за терпение, благожелательность и бескорыстную помощь;

Вс.Абдулову — за моральную поддержку;

Л.Черняку и П.Евдокимову — за оперативную помощь;

Н.Тохадзе — домашнему цензору, редактору и экс-жене — особая признательность.

В книге использованы фотографии из личных архивов Д.Карапетяна, Вс.Абдулова, Л.Черняка, П.Евдокимова.

К 21 Карапетян Д. Владимир Высоцкий: Воспоминания. — 2-е изд., доп. — М.: Захаров, 2005. — 304 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

ISBN 5-8159-0514-3

УДК 882-94
ТБК 104

© Д.С.Карапетян, автор, 2005
© И.В.Захаров, издатель, 2005

Предисловие

Это случилось на одном из вечеров памяти В.Высоцкого. После окончания ко мне подошел человек и подарил мне свою книгу о Высоцком. С Давидом я до этого не только не был знаком, но даже никогда о нем не слышал. Про себя подумал: «Ну вот еще кто-то написал что-то». Приступил к чтению без особого энтузиазма. Но с первых строк книга захватила меня всего целиком. Во время чтения я умышленно делал перерывы — день-два — чтобы продлить ценные переживания. В повествовании — ничего ни прибавить — ни убавить. Высоцкий, которого я знал в течение двенадцати лет, с предельной точностью совпадал с Высоцким Карапетяна. А прочесть до этого мне случилось не одну книгу о Владимире Семеновиче. Лучше этой не было. Спасибо за уникальный труд.

Дмитрий Межевич,
актер Театра на Таганке в 1968—2002 годах,
исполнитель, композитор

Моим дочерям — Мелинэ и Этери

А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.
Высоцкий

Об авторе этой книги

До некоторых пор даже исследователям биографии и творчества Высоцкого этот человек был абсолютно незнаком. Из книги Марины Влади было известно о его близости к Высоцкому; но упоминалось лишь его имя — Давид. Было непонятно — почему он не назван по фамилии? Почему никто из «здешних» друзей поэта о нем не говорит?

Впрочем, ситуацию отчасти объясняло то, что Марина Владимировна впоследствии назвала свою книгу не мемуарами, а художественной прозой: значительное количество несоответствий реальным событиям позволяло думать, что и этот эпизод вполне мог оказаться вымышленным. Потому никто особенно Давида не искал.

А через пару лет в прямом эфире ночной передачи «Третий глаз» телезрители увидели некоего «народного целителя» Давида Егорова, который доверительно рассказывал полуночникам, что М.Влади пишет именно о нем, что он «лечил Высоцкого», был с ним дружен, и т.д. и т.п. Армия оказывавших Высоцкому медицинскую помощь уже тогда была сравнима с количеством его «близких друзей» и неумолимо подбиралась к количеству выпивавших с ним, — и потому верилось в эту историю с трудом.

Именно по поводу передачи «Третий глаз» мы впервые услышали от Нины Максимовны Высоцкой о *настоящем* Давиде — переводчике с итальянского, работавшем в области кино и, в частности, на съемках совместных советско-итальянских фильмов «Красная палатка» и «Ватерлоо». Однако тогда же выяснилось, что он переехал на другую квартиру, по новому номеру дозвониться нам не удалось, возникли сомнения в правильности этого номера.

К тому же не очень верилось, что человек, который в течение многих лет не попытался заявить о своей дружбе с Высоцким и практически никак не был «засвечен» его ближайшим окружением, а также вездесущими журнали-

стами, может и впрямь оказаться очень полезным для пополнения наших знаний о биографии поэта. И потому встреча с ним, как нам в музее Высоцкого тогда казалось, вполне могла быть отложена на потом.

Еще раз это имя всплыло в деепричастном обороте одной из заметок исследовательницы Л.Симаковой, которая, в связи с «Мерседесами» и «Ситроенами» вспоминала «Песню о двух красивых автомобилях» (1968). Со слов И.В.Кохановского она написала, что песня была «посвящена Татьяне Иваненко, дружившей с женой Давида Карапетяна, француженкой Мишель». Кто такой этот загадочный Карапетян, при этом не сообщалось.

Публикуя в 1997 году в альманахе «Мир Высоцкого» воспоминания Виктора Турова, где упоминается переводчик Давид Вартанян, мы были почти уверены, что речь в них идет снова о том же человеке. Но тем не менее не стали давать никаких комментариев, а решили найти, наконец, его самого.

Думается, не стоит пытаться объяснить только ревностью, почему и близкий круг друзей Высоцкого, и многие актеры Таганки скрывали от журналистов и исследователей существование этого человека. А вот почему он сам ни разу не написал о Высоцком, не напросился на интервью, — красноречиво показал наш первый разговор. Когда мы позвонили и представились, Карапетян просто сказал: «Что же вы так поздно? Я давно жду вашего звонка...»

Не секрет, что многие мемуаристы, стараясь подчеркнуть свою близость к гиганту, снисходительно, а иногда панибратски, «похлопывают» его (умершего) по плечу: дескать, ругал я его, а он... В мемуарах о Высоцком поражает также почти полное отсутствие упоминаний «творческих» разговоров с ним, что и создает устойчивое впечатление об одиночестве художника. В нашем же случае биографам Высоцкого невероятно повезло, что познакомились два эти человека, когда Карапетян уже был влюблен в песни Высоцкого и ощущал масштаб и значение его дарования, — потому и относился к нему сразу как к «старшóму брату» — поражался, впитывал, запоминал, старался помочь. Жаль вот, не вел дневников.

Еще в самом начале наших продолжительных бесед и годовой работы над пятнадцатичасовой магнитофонной записью (хранящейся теперь в фондах музея) стало окончательно ясно: мы располагаем уникальнейшими по правдивости и объему информации мемуарами о дружбе Владимира Высоцкого и Давида Карапетяна, основанной на духовной близости и любви к литературе.

А.Е.Крылов,
заместитель директора
ГКЦМ В.С.Высоцкого
по научной работе

Содержание

Глава первая. Ереван. Баллада о детстве 7
Глава вторая. Москва. Метростроевская, 38 23
Глава третья. Ленинский проспект. Владимир 42
Глава четвертая. Татьяна. Театральный роман 61
Глава пятая. Неглинка. Ресторан «Арарат» 74
Глава шестая. Улица Беговая. Люся 88
Глава седьмая. Улица Рылеева. Особняк 98
Глава восьмая. Петрово-Дальнее. К Хрущёву! 114
Глава девятая. Минск — Ялта. К Турову! 131
Глава десятая. Сочи. Ереванские гастроли 152
Глава одиннадцатая. Гуляйполе. К Махно! 190
Глава двенадцатая. Таллинн. Гостиница Надежды 221
Глава тринадцатая. Санаторий. Калифы на час 245
Глава четырнадцатая. Путем любви. Марина Влади 261
Глава пятнадцатая. Малая Грузинская. Отплытие 279

А.Е.Крылов. Об авторе этой книги 298

Глава первая.

ЕРЕВАН. БАЛЛАДА О ДЕТСТВЕ

Шел сентябрь 1939 года. Уже началась Вторая мировая война, Варшава еще сопротивлялась. Вокруг разворачивались гигантские исторические события, а я лежал в колыбельке и надрывался, хотя паника моя была мало обоснована — научно-партийная карьера отца стремительно набирала ход. Пост премьер-министра маленькой абрикосовой республики надежно защищал моё безмятежное детство, но мог обречь и на мгновенное сиротство — всё было в руках бога, а им тогда был Иосиф Сталин.

Когда я подрос, то весьма удивился, узнав, что и сам бог, и его ближайшие сподвижники Берия и Микоян были такими же сынами Кавказа, как и я. Вызывало уважение, что столь низенькие люди достигли таких высот. Великую Отечественную я проспал вместе с правительством, а когда союзники швырнули атомные бомбы на японские города, мне сообщили скорбную весть — пора собираться в школу.

Нынешний школьник — жертва цивилизации — никогда не сможет понять, что такое костяные счёты на деревянном фундаменте, портфель (ГОСТ 19-37) и массивный деревянный пенал. Весь этот багаж весил чуть меньше пуда. Ученическая форма была миниатюрной копией милицейской, а по покрою — её продолжением. Отсутствовали только погоны и петлицы. Но настоящим бичом стала чернильница с фиолетовыми чернилами и ручка с металлическим пером. Чернила высыхали мгновенно, и диктант проходил под барабанную дробь ручек. Каждые десять минут носик пера забивался какими-то волосками и бумажным пухом и требовал чистки особой войлочной подушечкой или просто двумя пальцами.

Короче говоря, в поход за знаниями меня собрали основательно, а потом сами же были потрясены моей нелепой фигурой и жалким, после экипировки, видом. Домашние даже всплакнули, словно отправляли меня на фронт. Чернильницу я торжественно нес в сеточке, отдельно от других принадлежностей. Портфель прижимал меня к земле, и, пытаясь сохранить баланс, я высоко задирал левую руку с чернильницей. В такой позе учатся ездить на велосипеде.

Ручка отлично втыкалась в деревянную парту, могла служить хорошим средством самообороны, но писать решительно не желала. Особенно после первых двух действий. Урок чистописания был каллиграфической каторгой. Пять или шесть клякс считались сносным результатом. Отличники были облиты чернилами сами, но тетради сохраняли в неприкосновенности. Со временем вся наша одежда приобрела бледно-фиолетовый оттенок — отечественная промышленность не могла найти противоядия от химической формулы наших чернил. Как они попадали на носки, — а они туда попадали, — понять я не в силах до сих пор.

В школе, со временем, я сделал грандиозное научное открытие — человек произошел от семейства хамелеонов. Быстро меняет взгляды, ловко приспосабливается к обстоятельствам, охотно соглашается с теми, кто сильнее него. Это несколько противоречило общепринятой теории Дарвина, но своей гипотезой я тайно гордился.

Хотя аналогия с хамелеоном казалась мне более убедительной, чем обезьянья, мне требовалось ее проверить. Почему люди говорят одно, делают другое, думают третье. В зоопарке ничего подобного не

происходит.

Однажды я выбрал удобный момент и выложил свои подозрения нашей классной даме Ольге Спиридоновне. Цепь моих силлогических рассуждений была настолько прочна, а аргументация распространялась так широко, что затрагивала весь человеческий род. Но добрая славянская душа О.С. быстренько остудила мой пыл первооткрывателя: «Постарайся меньше угнетать свой мозг», — посоветовала она. И все-таки втайне я злорадствовал — О.С. была ученой дамой, а ответить на простой вопрос не сумела. Но и дома мои крамольные прозрения в области антропологии не вызвали ликования — мне посоветовали подтянуть арифметику.

Я стал понимать взрослых. Позднее я осознал, что под житейской мудростью люди имеют в виду лишь знание количества зла. Юность желает знать меру добра, но именно знание зла и считается мерой мудрости. Все мудрецы, с которыми меня сводила жизнь, считались мудрыми только потому, что примирялись со злом. А самые мудрые работали в правительстве отца — они постоянно юлили, угодливо скользили по паркету и льстили даже мне — маленькому негодяю. Тайно читал я их мысли. Они открыто пользовались привилегиями, я же стыдился однокашников и страстно мечтал о крахе отцовской карьеры. Я желал не накапливать знание зла, а как-то с ним бороться. Но его было трудно уличить, ведь и оно само было хамелеоном-оборотнем. Я осознал свой первый конфликт со взрослыми и, не имея еще мудрости и иммунитета, наглухо замкнулся в себе. Я еще не подозревал, что и это — привилегия, доставшаяся мне благодаря отцу, но вынужден был временно подчиниться обстоятельствам.

Утешением мне послужила домашняя библиотека — отец собирал ее не как партийный функционер, а как учёный-физиолог. Не для демонстрации номенклатурному братству, а как хронологию мировой культуры. Среди жизненных невзгод и утрат ей принадлежат весьма чувствительные струны души. Тихий, уединенный кабинет-келья виделся мне не сумрачным монастырем, а волшебной пещерой Али-Бабы.

Сгоряча я схватил Платона и Гегеля, но, под натиском превосходящей мысли, вынужден был отступить. Зато я пиратствовал с капитаном Бладом, мстил врагам Эдмона Дантеса, пытался спасти от гильотины Марию Антуанетту вместе с кавалером Мезон Руж. Здесь же, в библиотеке, всадником без головы наводил я ужас на окрестных колонистов, расстраивал козни кардинала Ришелье против королевских мушкетеров и добровольно расставался с жизнью, как Вертер.

Пятнадцать лет спустя судьба сведёт меня с Владимиром Высоцким, и я глубоко убежден, что отцовская библиотека сыграла в этой встрече не последнюю роль. Она стала незримой тропинкой к нашей духовной близости. Почти одногодки, дети одного поколения, мы жили в одном мире, где иллюзии переплетались с реальностью. Ведь, в конечном счете, все мы вышли из «Трех мушкетеров» Дюма.

Неудивительно, что именно Высоцкий так емко выразил дух нашего отрочества:

Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.

Он достоверно описал наши ночные бдения:

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,

И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших стекая на нас.

Мы были из одного детства, поэтому:

Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
И злодея следам — не давали остыть,
И прекраснейших дам — обещали любить.
И, друзей успокоив — и ближних любя,
Мы на роли героев — вводили себя.

Другой моей отдушиной был кинозал-бильярдная, где я до одури гонял любимые фильмы и бильярдные шары. Впоследствии в разговорах с Высоцким мы не раз вспоминали трофейные ленты, хлынувшие на послевоенные экраны нашего детства: «Восьмой раунд» и «Таинственный знак», «Королевские пираты» и «Газовый свет».

Это был прощальный подарок Сталина своим «братьям и сёстрам», и наше поколение не преминуло им воспользоваться сполна. Великий триумфатор Великой войны, он великодушно приглашал свой народ сделать добровольный нравственный выбор. Это смахивало на грандиозную провокацию. Ведь, казалось бы, трудно стремиться в стукачи или в комсомольские активисты после «Робина Гуда» или «Капитана армии Свободы».

Но мудрый кормчий всё рассчитал точно. Он не без оснований полагал свободу пустой барской затеей и буржуазным предрассудком. Монархист Сталин, видимо, полностью разделял уверенность монархиста Розанова в том, что свобода «нужна лишь хулигану, лоботрясу и сутенёру». Сталин не сомневался, что ни рабочему, ни колхознику, ни «трудовому интеллигенту» до неё нет ровно никакого дела. Да и государство у нас, слава тебе господи, было пока ещё рабоче-крестьянским. Для выдержавшего истребительную войну обескровленного народа сама идея свободы представлялась примерно такой же нелепицей, как исполненная ослиным хвостом абстрактная мазня.

За настоящую — не дармовую западную — Свободу надо платить свободой. Нужна же она единицам и возможна лишь в государстве тоталитарном. Вот почему у нас — явление Высоцкого, там же — казус Пресли.

Спустя годы эта странная сталинская оттепель аукнется в поэзии Высоцкого программным стихотворением «Я не успел» — острой ностальгией по книжкам и фильмам нашего опасного, но прекрасного детства...

...Русская поэзия заворожила меня. Упоительные строфы Лермонтова, Фета и Блока тихо бродили во мне; я напоминал бутылку купированного шампанского, ждущего выстрела пробки, чтобы выхлестнуть эмоции.

Но моя тяга к дооктябрьской поэзии почему-то смущала нашу учительницу литературы. Она усматривала в этом легальный протест и скрытую диверсию. Любовь к русской поэзии приносила мне одни неприятности. Безмятежный дух домашней библиотеки в стенах школы почему-то превращался в крамольный. Учительница была немолода, суха, строга, и вино русской поэзии уже не пьянило её. Весь ее педагогический пыл уходил на пестование юного партхозрезерва, я же как сын партийного босса должен

был служить эталоном лояльности.

Я чувствовал, как во мне начал расти маленький хамелеон — незаметно, тихо и подло. Начиналось раздвоение личности: дома я был принцем, в школе — нищим, в кабинете-келье упивался «Железной маской», в школе зубрил «Железный поток». Коварство взрослых не знало границ. Каково было после «Голубой цапли» Лидии Чарской декламировать «Песню о Буревестнике» Максима Горького?

Учительница любила товарища Сталина, великую Осеннюю революцию и поэта Маяковского.

Про товарища Сталина я знал, что он творец и гарант собственной Конституции, а в революцию спустился с соседних грузинских гор. Оттуда же родом был и поэт Маяковский. Почему-то именно он вызывал во мне особую неприязнь: распоясавшийся кутаисский кутила вдруг заделался герольдом новых зорь и рапсодом партийного ареопага, разбрасывая слова как гвозди, лепя углом строчки-шпингалеты по живому телу бумаги.

В общем, когда она принималась скандировать его стихи, я мысленно воображал её то разметчицей Кузнецкстроя в кумачовой косынке, то дипкурьершей на пароходе «Теодор Нетте»...

Потихоньку я начал ненавидеть и вождя, и октябрьские праздники, и советскую литературу, особенно её основной раздел — производственную тематику.

В своем идеологическом раже словесница создала стройную систему поэтического единоначалия: всё замыкалось на генерал-аншефе Пушкине, его замами были Лермонтов— по молодёжной линии и Некрасов — по народной. Остальные были рассованы по главкам и отделам. Необделённые талантом Тютчев и Баратынский вообще выпадали из этого партийно-поэтического ранжира. В переводе на привилегии это означало, что Пушкин был лауреатом Сталинской премии первой степени, Лермонтов — лауреатом премии Ленинского комсомола, а Некрасов — лауреатом Союза писателей РСФСР.

По торжественным дням весь генералитет в лице Пушкина, Лермонтова и Некрасова, одержимый партийным патриотизмом, степенно размещался рядом с вождями. Сомнительные Тютчев и Баратынский находились под негласным надзором в глубоком резерве Верховного главнокомандования: им ещё предстояло завоевать доверие партии и народа. Дерзкие Языков и Бенедиктов за своеволие и подкоп под авторитет начальства были разжалованы в рядовые и сосланы в небытие. Сам культ личности расписывал строевой устав поэзии. (По большому счету, большинство советских поэтов так и остались сержантам и-сверхсрочниками лирического строя.)

Однажды знакомый боевой генерал преподнес отцу роскошный подарок — трёхствольное охотничье ружье из бункера Гитлера и трофейный патефон с набором пластинок Вертинского. Мне не стоило особых усилий уговорить себя, что ружьё — из личной коллекции почившего в бозе фюрера. Как только домашние укладывались спать, я бесшумно проскальзывал в свою келью, запирался на ключ и тихо заводил патефон. Безвольный, щемящий голос грустил о судьбе несчастной девочки, я же, с внутренним трепетом, поглаживал опасные стволы с оливковым отливом и узконосые патроны в плоской металлической коробке. Прошлое бесцеремонно вторгалось в мой уютный мирок...

Мне нравились и трофейный Вертинский, и трофейная трёхстволка, хотелось только изменить изначальный вектор ружейного выстрела и бежать на помощь *Безноженьке.*

После недолгих раздумий я совершил свой выбор: в историческом споре материализма и идеализма я принял сторону последнего. Не только потому, что русская литература проникнута нежностью, а советская — нужностью. В идеализме ценилось субъективное, и впереди стояло слово — Идеал. Материализм невероятно раздражал своей бескрылостью и примитивным постоянством. Понятно, например, что угол падения равен углу отражения, но терпеть тот факт, что это равенство является *вечным*,

не было никакой мочи. Это постоянство утомляло, этот детерминизм угнетал. В такой ситуации единственным источником свободы становился Бог.

Человека с мало-мальской искрой воображения подобная угрюмая неизбежность не могла не оскорблять. В идиллии идеализма была сокрыта элегантная альтернатива, а топорный материализм не оставлял ни одного шанса. Поэтому все большие русские поэты — идеалисты, почти все советские — наоборот.

Позднее, уже в Москве, кантовская «вещь в себе» рассеяла мои последние сомнения, а теория относительности лишила материалистов их последней опоры; лакейский детерминизм рухнул вместе с Берлинской стеной: угол падения не всегда равен углу отражения — какой конфуз! Не всегда, не всегда равен...

Однажды, возомнив себя советским Песталоцци, наша учительница решилась на смелый эксперимент. Обведя класс взглядом Горгоны, она высокопарно спросила: «Кто из вас имеет идеалы и готов отдать за них жизнь?» Под её гипнотическим взором почти все мальчики выбросили руки вверх. Они казались маленькими бойцами, попавшими в окружение. Я воздержался в силу незрелости и неготовности к публичному самопожертвованию. Я инстинктивно стыдился коллективно-бессознательных порывов.

— Так я и предполагала.

Учительница выразительно посмотрела в мою сторону. Мой внутренний хамелеон скукожился и искал выхода.

— Повторяю вопрос, кто готов умереть за идеалы?

Волна энтузиазма накрыла весь класс, это был экстаз

добровольного безумия. Перед лицом классной стихии мой хамелеон готовился к позорной сдаче. Громче всех орал длинноносый Арам, по прозвищу Носатый — ябеда, враль и троечник.

— Я хочу умереть за идеалы, я готов... я хочу умереть... за... идеалы...

Умереть хотели все, но Носатый стонал так достоверно, что было ясно — он уже начал прощаться с жизнью.

По правде говоря, я не стремился умирать за идеалы, но шум в классе нарастал, и мой хамелеон заметно нервничал. Носатый превратился в сплошной стон, теперь он то сопел, то хныкал. Его тоскливый скулёж не мог заглушить даже коллективный шум.

Медуза-Горгона сполна насладилась зрелищем патриотического самоистязания и подвела итог психозу.

— Такими должны быть все советские школьники, — важно произнесла она и демонстративно вывела Носатому жирную пятерку. Ленин ведь тоже считал, что талант следует поощрять. Теперь этот холуй корчился от удовольствия. Борцы за идеалы немного поутихли, явно расстроенные эмоциональным триумфом Носатого.

Но эксперимент продолжался, словесница входила во вкус:

— Почему мы считаем Пушкина величайшим поэтом?

— Потому что он готов был умереть за идеалы, — заученно протявкал Носатый, кажется, не в силах остановиться.

— Или почему нас восхищает революционная поэзия Маяковского? — допытывалась наша

мучительница.

— Потому что он всегда был готов умереть за идеалы, — надрывался с задних рядов выбившийся из сил Носатый. В его подсказке уже чувствовалась наглая уверенность эксперта.

— На этот вопрос, — она сделала эффектную паузу, — пусть нам ответит Зенон.

Тощий, долговязый Зенон встал, хлопнув крышкой, и уставился в потолок. Все мы невольно задрали головы вверх.

Зенон был сыном чистильщика обуви и просиживал много времени с отцом, когда тот был завален работой. Обычно это случалось в дни праздников или похорон, когда люди желают выглядеть значительными. Тогда они с отцом чистили-блистили обувь в четыре руки, и их чувству ритма мог позавидовать пианист-виртуоз.

Зенон мог по шнуркам определить марку обуви и завод-изготовитель, он знал тысячу мелочей о владельцах башмаков — это был настоящий обувной детектив.

Нищий Зенон хорошо знал жизнь и плохо разбирался в литературе. Его семье некогда было бороться за идеалы, она боролась за выживание.

Я досадовал, что вопрос о Маяковском адресован не мне, и не знал, как помочь Зенону.

Между тем пауза затягивалась, а Зенон продолжал смотреть вверх, словно ожидая подсказки Всевышнего. В жизни он привык смотреть вниз, литература вынудила его смотреть вверх. Кто-то из древних, кажется Аристотель, заметил, что когда человек смотрит вверх, он думает о будущем, когда вниз — размышляет о прошлом. Зенон явно думал о будущем.

— Какая мощь гипербол, какой революционный пафос исторического материализма! — пела Медуза, подбадривая маленького пролетария.

Зенон застыл в скорбной позе и не издавал ни звука. На секунду затих даже готовый умереть за идеалы Носатый: он в изнеможении лежал на парте.

— Ну-с, — зловеще прошипела Горгона, — что ж ты молчишь, олух царя небесного?

Зенон изменил положение головы, теперь он явно думал о прошлом; класс последовал его примеру и тоже упёрся в пол. А спустя мгновение он уже обескураженно взирал на чистую классную доску. К сожалению, этот чёртов Аристотель не сообщает, что означает человеческий взгляд, устремленный прямо, и потому какие апории бродили в черепе Зенона, не знал никто.

— Не восхищает, — вдруг произнес он, и его физиономия скривилась, как от приступа зубной боли.

— Что не восхищает? — оторопела Медуза.

Ответ Зенона дошел до меня раньше всех, и он показался мне Прометеем, прикованным к монументу Сталина. Теперь я сожалел, что не раскусил его раньше; он был единственным, кто выпадал из семейства хамелеонов.

— Маяковский не восхищает, — в отчаянии пробубнил Зенон и безвольно свесил голову. Голос словесницы покрылся льдом и металлом, она прибегла к сарказму — своему излюбленному литературному приёму:

— Всех талантливейший поэт нашей советской эпохи восхищает, а нашего великого Зенона — нет.

— Нас заставляют читать, — бессвязно бормотал маленький Прометей, — потом заставляют восхищаться, потом заставляют умирать.

В нем вдруг проснулось тупое армянское упрямство и азарт чистильщика.

— И всё-таки, — голос Горгоны сорвался на фальцет, — почему поэзия Маяковского всех нас восхищает, а тебя — нет?

— Не знаю, — честно признался Зенон. И обвел впавший в поголовное поэтическое лицемерие класс потерянным взглядом.

Весь класс, только что готовый умереть за идеалы, был шокирован дерзким выпадом маленького бунтаря. Угрожающая тишина нависла над школярами, но мудрая мучительница проявила себя в этой ситуации опытным дипломатом.

— Весь класс вос-хи-ща-ет-ся, только наш Зенон не в сос-то-я-ни-и, — она прошлась легким ветерком по притихшему классу: — Ну-с, так какие будут мнения?

Первым опомнился Носатый.

— Я готов умереть за идеалы, — по инерции, но с юным воодушевлением заверещал он, как опытный клакер, снова заводя аудиторию.

— И мы... готовы восхищаться и умереть, — завелись в едином порыве маленькие ценители большой поэзии. В них, казалось, вселился чахоточный пафос Белинского и Добролюбова.

— Я восхищаюсь, я готов умереть за восхищение, — истошно надсаживался Носатый, ловко совместив оба чувства.

Класс бушевал. Это свирепое совместное восхищение окончательно согнуло героическую спину Зенона. Он нелепо озирался и выглядел очень сиротливо. Как только гул затихал, Носатый снова трубил сбор — начинал корчиться, восхищаться, умирать и провоцировал новую волну коллективного энтузиазма.

Я твердо знал, что не восхищаюсь, но мощная энергетика аудитории заставляла меня сомневаться. Хамелеон настаивал на соглашательстве и грозил карами.

Вдруг я заметил, что кричу вместе со всеми.

— Я восхищаюсь, я восхищаюсь, — судорожно прохрипел мой голос. Это было так неожиданно и нелепо, что класс в замешательстве затих. Словесница насторожилась.

— Я восхищаюсь, я восхищаюсь Зеноном, ненавижу Маяковского и этих ослов, — проорал я и выскочил из класса. Прозвенел звонок. Зенон приволок после уроков мой ранец и уставился на меня как на икону.

— Вызовут родителей, — тоскливо произнес он...

Прошло тридцать лет. Как-то в Москве, возле гостиницы «Националь», я случайно столкнулся с Зеноном. Мы зашли в кафе, заказали коньяку и весь вечер вспоминали наши шальные школьные годы. Как в детстве, он продолжал работать на износ, но уже не чистильщиком-подмастерьем, а преуспевающим архитектором-дизайнером. Он оказался яростным поклонником Высоцкого и, приезжая в Москву, часто бывал на Ваганьковском. Самая дорогая реликвия в его ереванской квартире — мемуары Марины Влади «Владимир, или Прерванный полёт», где в одной из глав дана фантастическая версия нашей нашумевшей поездки в Армению. Зенон знает об этом, но для него эта главка — неисповедимый окольный путь возврата в наше детство.

...Школьные будни перемежались с праздниками. Вскоре мы расстались «вечным расставанием» с нашей словесницей и перешли в следующий класс. В октябре 1952-го отец был неожиданно снят с высокого поста и моментально лишён всех полагавшихся номенклатурных привилегий. Более всего меня

поразила оперативность, с коей власть уволокла мой горячо любимый бильярд, — за ним пришли чуть ли не на следующий день после появления указа Верховного Совета. Меня это сильно озадачило: коммунисты экспроприируют у самих себя. А уже после кончины вождя в «Известиях» появился фельетон, в котором отцу инкриминировали организацию частных кинопросмотров. Это был апогей лицемерия. Отца обвиняли в привилегиях, навязанных ему самим царствующим режимом. Самое интересное, что обвиняемого я в домашнем кинозале не видел ни разу — сталинский режим работы напрочь исключал такую возможность.

Но — дело сделано, и семья наша была ославлена на всю страну. «Факты подтвердились» (как тогда выражались газеты), и спустя некоторое время кинозал бы переоборудован в районную детскую библиотеку.

Когда в 1970-м мы с Высоцким заезжали к отцу, она всё ещё исправно функционировала, являя собой наглядный пример борьбы с привилегиями...

Наша семья на своей шкуре испытала изменчивость фортуны в форме канонической планомерной травли по-советски. Почти все разбежались, и только бывшие водители отца остались нам верны и ещё не раз выручали нас впоследствии. Я стал часто пропускать занятия: не хотелось слышать злорадные реплики разом осмелевших учителей и одноклассников.

Но это были только цветочки. Наступил март 1953 года, и пришла Беда. Юные пионеры и маленькие грешники, мы были всегда готовы и к поощрению, и к каре. Но это было выше нашего понимания. Масштаб возмездия был несоизмерим с тяжестью вины, и только траурные коллективные слезы слегка заглушали неизбывную боль грянувшего сиротства.

Олицетворением всенародного горя был, конечно же, Носатый. Его скорбь была так неподдельна, а утробный вой столь натурален, что мы всерьёз опасались за его жизнь...

Семнадцать лет спустя, выходя с Высоцким из отцовского дома в Ереване, мы столкнулись с ним нос к носу. К этой поре он заделался комсомольским боссом и вокалистом-любителем по совместительству. Сопровождавшая нас знакомая поэтесса, обуреваемая лучшими чувствами, вцепилась в него, как в спасательный круг, прося притушить скандал, возникший после первого Володиного концерта. Володя, решив, что это — «наш человек», принялся обстоятельно объяснять ему суть конфликта с партийным руководством Армении. Но двойное амплуа преуспевающего активиста и вокалиста помешало «борцу за идеалы» оценить благосклонность фортуны. Вальяжно и снисходительно внимая Высоцкому, он милостиво пообещал чем-нибудь помочь. Вспомнив, как истово он колотился грудной клеткой о парту в дни мартовского траура, я резко прервал беседу и быстро увёл Володю...

...Я рос хилым, болезненным, и сердобольные родители частенько вывозили меня в самый разгар учёбы в райские кущи совминовского санатория в Сочи. Там я мог лицезреть самых высоких правительственных бонз и общаться живьём с их отпрысками. Для Жени Молотовой, Юры Кагановича, Серго Микояна мы были, по-видимому, чем-то вроде детей туземных вождей, но чувств своих вслух они не выражали.

Зимой жизнь в санатории замирала, я часами торчал во врачебных кабинетах, проходя под ласково-фальшивыми взглядами медперсонала весь ассортимент скучнейших процедур. И пока я подвергался очередному сеансу УВЧ, мои однокашники делили и умножали дроби, колдовали над процентами и прочей дребеденью.

(Эти затянувшиеся учебные паузы дорого мне стоили. Я и сегодня не в силах постичь, в силу какой арифметической прихоти две чахлые дроби, совокупясь в процессе сложения-вычитания, создают единое

неделимое целое.)

То был санаторий-дендрарий, рукотворный сталинский рай. Пряный аромат эвкалиптов, мимоз, олеандров и прочей экзотики кружил голову.

Впервые столкнувшись наяву с цветущей магнолией, я обомлел от нахлынувшей нежности. В самом звучании ее имени, в узоре её цветка таилось нечто тревожно-гадательное. Они сулили и первую влюбленность, и первую измену... Вспыхнувший в сердце трофейный мотив «Танго Магнолия» отрывал меня от этого грешного рая и уносил к таинственному Сингапуру.

Однажды мы с отцом совершали опостылевший вечерний моцион по аккуратно размеченному маршруту. Нам навстречу медленно шёл лысый, невзрачный отпускник с двумя державшимися чуть поодаль молодцами в штатском. Отец с отпускником церемонно раскланялись. «Это Никита Сергеевич!» — прошептал отец, пронзенный величием момента.

Был зимний вечер 1950 года.

Мог ли я подумать тогда, что спустя двадцать лет Высоцкий своей царской прихотью повезёт меня на хрущевскую дачу, где, осмелев от водки, я смогу задавать поверженному хозяину вопросы, мучившие меня долгие годы!

Еще через год он сотворит второе чудо, увезя меня в зимний Сочи, в тот самый райский санаторий моего детства. Жили мы, правда, не в коттедже, как во времена оные, а в громадном номере люкс общего корпуса. Но «отдыхали» мы там недолго — по «единодушной просьбе отдыхающих» нас выставили оттуда уже на третьи сутки с щадящим диагнозом: «нарушение санаторного режима». Весь наш курс лечения свёлся к одной-единственной процедуре — взвешиванию.

...Казалось, что школьные годы будут длиться вечно, а пролетели мгновенно. Всё повторилось снова. Опять меня собирали в путь сильно постаревшие родные, — они плохо понимали, что влечёт меня в холодную и коварную столицу.

Весной 1959 года я стоял на перроне железнодорожного вокзала. Со всех сторон сыпались полезные советы и наставления. Преодолев мысленно рельсовое расстояние, я уже был в Москве. Чего же искал я «в краю далеком»? Конечно, свободы!

Как же она выглядела в моей трактовке весной далёкого 1959 года? Представьте себе перрон провинциального вокзала, смотрителя с фонарем и долговязую фигуру в пальто, перелицованном из мидовской министерской шинели отца. Добавьте сюда еретическую гриву волос а ля Мцыри и дикий взгляд стреноженного мустанга — и портрет Свободы готов.

В моей периферийной душе колобродила невообразимая мешанина из книжных героев всех времён и народов — гладиаторов и молодогвардейцев, карбонариев и народовольцев, мушкетёров и тимуровцев, куртизанок и партизанок. Каким-то образом в ней мирно уживались кавалер де Грие и Павка Корчагин, Анна Каренина и Ванина Ванини, Раскольников и Жавер, Манон Леско и Любовь Яровая, «Дети капитана Гранта» и «Дети подземелья».

Всё это бурлило, трубило, требовало: «В Москву, в Москву!»

Даже хамелеон не возражал.

Прозу жизни я собирался подчинить эстетике жизни, а карьеру — заменить чередой чудес. Я жаждал не успеха, а героики, не тихой гавани, а Повторения, но с новым эпилогом. Хотелось переиграть Историю, поправить непоправимое, восстановить в правах всё старомодное, осмеянное, отжившее свой век. Надо

было сбить спесь с детерминизма, остановить его плебейский напор. Угол падения не всегда равен углу отражения, не всегда, не всегда...

Я отвергал космический корабль Циолковского во имя голубого цветка Новалиса, капитализм во имя феодализма, орден КПСС во имя ордена Тамплиеров. Хотелось вновь влюбиться в миледи и воскресить её душу, быть обманутым и простить Полиньку Сакс, отвести руку Дантеса от Поэта и увести Гончарову от обоих. Я отвергал апломб научных истин, отдающих параграфами процессуального

кодекса — «поступательный ход истории», «смена общественных формаций», «естественные связи явлений». Холодком эшафота, близостью панихиды веяло от этого прокурорского лексикона. Душа отказывалась принимать этот убогий «расчет лабораторий» и рвалась — в Столицу, к Опасностям, к капитану де Тревилю!

К платформе подали состав, началось столпотворение. Меня погрузили в купе, навьючили тюками и корзинками, надавали адресов. Когда все вышли, хамелеон посмотрел в окно и изобразил скорбную мину, которую считал уместной в этот момент.

Паровоз разразился долгим, прощальным гудком и, грузно набирая ход, устремился в неизвестность...

Глава вторая.

МОСКВА. МЕТРОСТРОЕВСКАЯ, 38

Мой въезд в столицу оказался до обидного будничным. Не было ни цветов, ни литавров. Но я не унывал. В грядущей битве за Москву я более всего уповал на свою домашнюю заготовку — принципиальную ставку на чудо.

Проблема состояла в ином. Грянувшее средь бела дня совершеннолетие неумолимо потребовало от меня внятного ответа на сакраментальный вопрос: кем быть? Я мучительно долго соображал, по какой именно стезе направить свои возмужалые стопы: поприще, на котором я смог бы с наибольшей пользой послужить любезному отечеству, рисовалось мне в сплошном мареве. Дело в том, что никакого божьего дара я в себе, увы, не ощущал, а общественная и научная карьера меня нисколько не прельщали. Куда больше импонировал мне статус частного лица — ведь жить предстояло в стране, где тяга к свободе испокон века считалась чем-то предрассудительным, а чтобы выбрать свободу, вовсе не обязательно ловить сквозь вой глушителей «Голос Америки». Достаточно раскрыть «Дон Кихота» или «Дон Карлоса». Все мы, в конечном счете, обречены на вечную альтернативу — господин Бонасье или маркиз Поза.

Так что решение поступить в Институт иностранных языков было вызвано не страстью к лингвистике, а попыткой хоть чуточку раздвинуть железный занавес, самостоятельно расширить индекс разрешенных книг, игнорируя унылые предписания осточертевших опекунов. Учеба в элитном вузе виделась мне скрытым вызовом системе, а итальянский язык, которым я намеревался овладеть, — символом личной свободы.

Увы, вопреки собственному желанию, в силу ряда причин, я нежданно-негаданно очутился на педагогическом факультете отделения немецкого языка. Долгих два года пришлось мне дивиться не изысканности сонетов Петрарки, а удручающей упорядоченности немецкой грамматики.

Начало моих занятий совпало по времени с разгаром антисталинской хрущевской эйфории. Казалось, ректорат института более всего был озабочен вдалбливанием в наши юные головы нудных параграфов Морального Кодекса строителя коммунизма и ленинских норм партийной жизни. Особое рвение проявлял партактив немецкого факультета.

Это был какой-то антифашистский застенок. Судя по всему, его воспитатели набирались из двух неравных прослоек: антифашистов-либералов и антифашистов-коммунистов. Стараниями последних время в стенах института потекло вспять, создавая иллюзию, что война с гитлеровской Германией в самом разгаре. Не было никакой возможности остановить эту бесконечную «Пляску смерти», вырваться из заколдованного круга фронтовой триады: Освенцим — Гестапо — Вермахт. Сам немецкий мы учили отнюдь не по Гофману и Гауптману, а по переводному Фадееву. Благодаря его «Молодой гвардии» так и застрял в тайниках памяти ни разу не пригодившийся субстантив «Roteriibensuppe». Вот так неаппетитно звучал по-немецки наваристый украинский борщ, который с аппетитом уминал Сережка Тюленин после очередного подвига.

То был апогей военного психоза. Мы хотели послевоенного неба, нас же не выпускали из осклизлых окопов Великой войны. Конфликт моей вольнолюбивой натуры с этим милитаристским угаром был

неизбежен, а исход его — предрешен. Только вовремя подоспевшее историческое событие несколько отсрочило мое расставание с военизированной альма-матер.

Грянула бездарно спланированная американская агрессия в Заливе свиней, и я с ходу накатал два высокопарных заявления о решимости с оружием в руках отстоять завоевания кубинской революции. Одно я оставил в родном ректорате, другое же отнес в находившееся по соседству кубинское посольство, где и вручил его лично самому послу. У институтского начальства мой героический почин вызвал сильное замешательство. Судя по всему, оно учуяло в нем не сознательный выбор, а жест отчаяния. Посол же долго жал мою мужественную руку и заверил, что высоко ценит мою похвальную готовность стать пушечным мясом в столь юном возрасте. Ему, конечно, было невдомек, что мой жертвенный порыв означал вовсе не симпатию к режиму Кастро, а врожденную страсть к острым ощущениям, усугубленную шаткостью моего положения в институте.

Впрочем, на самом деле все обстояло гораздо сложнее. В этом недружном хороводе отчетливых чувств и невнятных инстинктов вразнобой кружились тщеславие и тоска по окопному братству, жажда новизны и неприязнь к англосаксам. Разве не на их совести философия прагматизма и Дрезден, проповедь утилитаризма и Хиросима?

Через несколько дней американская авантюра в Плайя Хирон с треском провалилась. Не менее бесславно завершилось мое двухлетнее пребывание на Метростроевской. Ожидаемая развязка наступила ранней осенью 1961 года. Формальным предлогом моего изгнания послужил несданный вовремя зачет, — конечно же, по военному делу.

Необременительный груз моих сведений в области немецкого языка свелся к весьма поверхностному знакомству с азами разговорной лексики, зато благодаря нашей либеральствующей фонетичке-армянке я добровольно вызубрил «Морской штиль» и «Лесного короля» Гете, чем невероятно горжусь и по сей день.

Спустя год с помощью старых отцовских связей мне удалось чудесным образом перевестись на престижный переводческий факультет того же вуза. Ярости институтских коммуно-фашистов не было предела, но их многочисленные акции протеста ни к чему не привели.

Вдохновленный примером Владимира Ульянова, я сдал экстерном экзамен и был зачислен сразу на второй курс отделения итальянского языка, слегка мне знакомого благодаря нескольким частным урокам, взятым еще в Ереване.

Разница между двумя факультетами была примерно такая же, как между германским нацизмом и итальянским фашизмом. Какое же это было блаженство — после воинственной Анны Зегерс окунуться в «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, а от патетических од Шиллера перейти к терцинам Алигьери. К ранее вызубренным опусам Гете и гейневской «Лорелее» я, не мешкая, присовокупил первую песнь «Ада» и без зазрения совести кстати и некстати щеголял заемной интеллектуальной собственностью как своей личной. Я впитывал вольготность итальянской речи, как бывший узник Маутхаузена вдыхает долгожданный воздух свободы.

Летом 1965 года произошло событие, предопределившее, в конечном счете, самую счастливую «случайность» моей жизни — встречу с Владимиром Высоцким. В один из жарких июльских дней я связал себя узами законного брака с лицом французской национальности Мишель Кан, работавшей переводчицей в издательстве «Прогресс». Больше всего это заведение прославилось как подлинная кузница иностранных невест. Именно там откопают себе впоследствии очередных жен Андрон Кончаловский и Евгений Евтушенко.

В те времена несанкционированный КГБ брак с иностранкой, даже разделяющей коммунистическую

доктрину, приравнивался чуть ли не к потенциальной измене Родине. Лояльный же обыватель усматривал в нем крайне аморальную выходку с антисоветским душком: у него просто в голове не укладывалось, как нормальный советский человек может так низко пасть.

Первой жертвой подобного образа мыслей пал мой бедный папа. Эта сверхновость буквально лишила его дара речи. Он переживал так отчаянно, словно я признался ему в сотрудничестве с французской разведкой. Меня же его реакция сильно озадачила: ведь коммунисты всегда кичились своим интернационализмом.

Еще больше удивила меня регистраторша Дворца бракосочетаний на улице Грибоедова, неприметная женщина лет пятидесяти. С явным неудовольствием отметив в своем кондуите день регистрации брака, она взглянула на меня с таким состраданием, словно внесла меня в черные списки лиц, угоняемых в неметчину. Не в силах сдержать слез, сердобольная чиновница как бы про себя посетовала: «Ведь наш же парень, что же ты такое творишь?» Эти слезы я уже видел несколько лет назад, когда меня «за плохое поведение» изгоняли из инязовского общежития в Петроверигском переулке. Комендантша, пожилая женщина с лицом тюремной надзирательницы, тоже прослезилась, когда принимала у меня ключи от моей бывшей комнаты. Совпадали не только смысл, но даже интонация сказанного: «Мол, что же это ты, парень, натворил, как жить-то дальше будешь?» А ведь нам она всегда казалась злобной фурией...

Загадочные слезы этих простых русских женщин — одно из самых незабываемых впечатлений в моей богатой сюрпризами биографии. Их не объяснить и целому воинству заокеанских советологов. Наблюдая сегодня за нахрапистой эскалацией западного образа жизни, я с грустью думаю: какими же черствыми звездочетами надо быть, чтобы с таким ослиным упорством толкать сконфуженную Россию в стерильное стойло европейского эгоцентризма и утилитаризма?

...Итак, несмотря на дружное неодобрение, брак наш был зарегистрирован официально. Да я и не мог поступить иначе. Франция приютила стольких русских и армянских эмигрантов, что я был просто обязан хоть как-то отблагодарить эту страну.

Работая в Москве по рекомендации Французской Компартии, Мишель пользовалась неограниченным доверием своего нового начальства и ограниченными привилегиями, полагавшимися ей по контракту. Ей предоставили служебную двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте, в доме за универмагом «Москва». На этой небольшой, но удобной жилплощади и стартовала наша недолгая семейная жизнь. Спустя некоторое время мадам Кан-Карапетян поделилась со мной своим оптимистическим диагнозом, касающимся непосредственно моей личности. Звучал он так: «За маской циника скрывается величайший идеалист». При этом лицо домашнего диагностика излучало нечто, смутно напоминающее восторг.

Увы, радость ее оказалась преждевременной. Вместе с опытом пришло понимание простой истины — быть идеалистом вовсе не значит быть хорошим мужем. Единственное, что интересует идеалиста в жизни, — это идеал и его знаменосец в лице самого себя. В самом идеализме изначально заложено зернышко деспотизма. Нечистая жажда чистоты идеала неизбежно приводит к нетерпимости — такова скорбная диалектика идеализма. Все дело только в мере жестокости. Если идеалисты высокого полета в погоне за идеалом (собственным или заемным) способны пролить озера крови, то идеалисты помельче предпочитают куражиться в кругу собственной семьи. Но по жестокости их тирания затмевает тиранию идеалистов-вождей: куда денешься от круглосуточного контроля домашнего крепостника?

Впрочем, Мишель вовсе не соответствовала стереотипу современной западной женщины. Неуемная энергия активистки в общественной жизни странным образом сочеталась в ней с атавизмом добровольного рабства в личной. Не случайно ее любимым литературным героем, которого она постоянно сравнивала со мной, являлся некто Рено Сарти — вампирический «идеалист» из романа мадам Рошфор

«Отдых воина». Чем-то он отдаленно напоминал мне благодушных купцов-самодуров Островского, третирующих своих супружниц в манере незабвенного Кита Китыча: «Хочу — с кашей ем, хочу — со щами хлебаю».

Неспроста Мишель так часто сравнивала себя с Женевьев — героиней мадам Рошфор и жертвой мсье Сарти. Правда, на фоне реалий нашей совместной жизни жестокий роман Женевьев и Рено выглядел изящной пасторалью эпохи Рококо. Но незлобивость и неиссякаемый оптимизм Мишель помогали ей мажорно переносить все перипетии ее постфранцузской жизни. Своей горькой участи она покорилась прямо-таки с героическим энтузиазмом. Во Франции ей почему-то мерещилось, что и новая, советская Россия кишмя кишит Раскольниковыми и князьями Мышкиными, — после удручающей стерильности западной жизни страстно хотелось достоевщины. Что с того, что ей чуточку не повезло и вместо Родиона Романыча она сгоряча напоролась на его антипода Свидригайлова. Уж лучше это «исчадие ада», чем «ретортный» европеец с подстриженными чувствами и отутюженными мыслями.

Навсегда покидая в 1971-м Россию, Мишель произнесла фразу, достойную Достоевского, если не самого маркиза де Сада: «Конечно, это был сущий ад, зато было нескучно».

Странности ее нестандартной натуры обнаружились еще «на заре туманной юности». Уже в возрасте Жанны д'Арк она стала коммунисткой по зову сердца — в те самые октябрьские дни, когда советские танки вовсю утюжили мостовые Будапешта, а вчерашние сталинисты дружными косяками дезертировали из европейских компартий. Этот спонтанный идеализм «девственницы из Нанси» выглядел столь алогично, что газета «Юманите» поспешила оповестить о нем все прогрессивное человечество.

Такой ярко выраженный персоналист, как Владимир Высоцкий, не мог не оценить эту женщину по достоинству. Все 13 лет их знакомства Мишель оставалась одним из самых близких и преданных ему людей. Мало кому еще он доверял так безоговорочно. Именно Мишель он попросил сделать песенные переводы для обложек своих французских и канадской пластинок. Володю вообще трудно было чем-либо удивить, но однажды, года за три-четыре до смерти, он вновь заговорил о Мишель, не скрывая своего изумления:

— Конечно, Мишель уникальная женщина. Ты представляешь, она до сих пор краснеет, когда чем-то бывает возмущена.

В июле 1965-го в Москве открывался очередной кинофестиваль, и я, успевший уже окончить четвертый курс, мечтал на нем поработать. Дабы не получить от ворот поворот, я благоразумно умолчал о своем недавнем визите на улицу Грибоедова. Доверчивые товарищи из Оргкомитета фестиваля благосклонно отнеслись к моему энтузиазму, предложив поработать личным переводчиком кинорежиссера Валерио Дзурлини. О нем было известно, что его лента «Девушка с чемоданом» разделила в свое время Золотого венецианского льва с «Ивановым детством» Тарковского.

В Москву он привез антифашистский фильм «Солдатские девки» (в советском прокате — «Они шли за солдатами»), заранее обреченный на золотую медаль за идеологическую выдержанность.

Кроме солдатских девок Дзурлини привез в нашу столицу молодую жену — изумительной красоты французскую актрису Жаклин Сассар. Он ее буквально боготворил и мечтал снять фильм-хронику: «Один день из жизни моей жены» — от утреннего туалета до отхода ко сну.

От Дзурлини, человека неприлично левых взглядов, я с нескрываемым удивлением узнал, что живу в «огромной, прекрасной стране» и что «Усатый» (прозвище Сталина у западных интеллектуалов) — всего лишь досадное недоразумение в истории моей «замечательной Родины».

В этом не было ничего необычного: хрущевская эйфория еще не выдохлась, и вся западная творческая элита (итальянская в особенности) — искренне или по расчету — считала советскую версию социализма неким понтонным мостом в обетованную землю. В западной интеллигенции меня более всего восхищало умилительное сочетание антифашизма и советофильства. На фоне ослепительного конфуза великих — от Эйнштейна и Нильса Бора до Арагона и Матисса — смешно было требовать проницательности от голосующих за коммунистов рядовых рабочих «Рено» или «Фиата»...

В середине 60-х мода на коммунизм воистину приняла формы массового психоза. Особенно во Франции и Италии. У этих латинских сестричек симптомы умственной деградации вызывали особую тревогу. Так, в солиднейшей энциклопедии «Ларус» в списке русских философов XX века не нашлось места ни Бердяеву, ни Шестову, ни Франку, зато фигурировали Плеханов, Ленин и Сталин. Не упоминался, конечно, и «реакционер» Розанов. Ну куда его «Темному лику» до «Вопросов ленинизма» Сталина?! Не верилось, что этот роскошный фолиант издан в Париже, он вполне мог быть тиснут в московской типографии ЦК КПСС. Но нет, авторы этой сводки были маститые авторитеты из числа красной профессуры, окопавшейся в лучших университетах Франции. Воображаю, чему учили бедных студентов эти обскуранты!

И все-таки мне был по душе бескорыстный идеализм Дзурлини. Никогда не испытывая ни малейших симпатий к эгализирующим западным демократиям с их засильем масскультуры, я полностью разделял его возмущение растущей коммерциализацией и американизацией искусства. Величайшим позором западного кинематографа он считал «дивизм» — искусственную фабрикацию звезд финансовыми магнатами, чаще всего из числа собственных содержанок. Трогало и его рыцарское отношение к женщине. В явном противоречии со Священным Писанием и доктором Фрейдом Дзурлини считал источником мирового зла мужчину: «Мы, мужчины, — канальи. Сами всеми правдами и неправдами добиваемся женщин, гнусно их развращаем, а потом их же лицемерно обвиняем во всех смертных грехах».

Его молодая жена, давно уже не снимавшаяся Жаклин Сассар, действительно была «чистейшей прелести чистейший образец». Ее аристократическая красота, скромность, абсолютная естественность обезоруживали вас с ходу. На наших экранах она мелькнула только однажды, в конце пятидесятых, вместе с Клаудией Кардинале в фильме «Судья», но запомнилась надолго. Я восхищался ею еще в годы моей провинциальной юности. Там, в Ереване, она котировалась почти так же высоко, как бесспорные в то время эталоны женской красоты Сильвана Пампанини, Марина Влади, Марианна Шенауэр. Хлынувшие позже на экраны простоватая Мерилин Монро и чувственная Брижит Бардо никогда не имели и доли такого успеха, как эти, увы, краткосрочные королевы экрана. Подоплеку мировой славы этих двух признанных секс-символов эпохи следовало искать не в киноискусстве, а в кинобизнесе: том самом «дивизме», о котором говорил Дзурлини, — целенаправленной раскрутке живого кинотовара для массового потребления.

Ажиотаж вокруг московского кинофестиваля подогревался еще и присутствием суперзвезды того времени — Софи Лорен. Но на торжественном приеме, устроенном в Кремле в честь закрытия фестиваля, произошел непредвиденный конфуз: полузабытая, игнорируемая прессой Жаклин Сассар произвела форменный фурор. Ее королевский стан, схваченный строгим, с неглубоким вырезом, красным платьем, высокая гладкая прическа, открытая улыбка причиняли боль, пробуждали томительные мечты о рыцарских турнирах. Даже наши высокопоставленные чинуши были ошарашены. Напрочь лишенная честолюбия Жаклин без всяких усилий со своей стороны затмила сверхубедительную итальянку.

Гости фестиваля питались в ресторане седьмого этажа гостиницы «Москва», где они остановились. Единственным исключением была Софи Лорен и ее богатенький мальчик-с-пальчик Карло Понти: завтрак им приносили непосредственно в номер. Ходили упорные слухи, что эту привилегию предоставила им сама Фурцева. Софи Лорен вообще больше напоминала американскую звезду, чем вчерашнюю девушку из

народа Софию Шиколоне. Даже интервью она предпочитала давать на английском. А ведь среди приглашенных, кроме Антониони, были такие персоны, как звезда неореализма Лючия Бозе с мужем, красавцем-тореадором Луисом Домингином, или популярнейшая Марина Влади.

Зато Жаклин узнавали простые зрители, толпившиеся у входа в гостиницу «Москва». Кто-то даже обзавелся фотокарточками-открытками из фильма «Судья», на которых ее просили расписываться. Она была растрогана, но искренне недоумевала: «Откуда они меня знают?»

Наши вездесущие журналисты постоянно крутились около меня в надежде выведать хоть крупицу информации об этом не афишируемом чуде. Триумф был полным...

Меня поразило, с каким умилением Жаклин говорила о есенинских стихах про животных. Оказалось, перед приездом в Россию кто-то ей порекомендовал прочесть Есенина. Как-то мы заехали с ней на рынок в поисках изделий народного промысла. Увидев ватагу шныряющих там бездомных диковатых котов, Жаклин тут же забыла о цели своего посещения. Даже самое облезлое из этих пленительных существ не избежало приступа ее нежности.

Программа, составленная дирекцией фестиваля для гостей, особой оригинальностью не отличалась: Оружейная палата, музей и мавзолей Ленина, прогулка по Москве-реке на теплоходе. После осмотра Оружейки мы встали в специальную гостевую блиц-очередь, и Дзурлини уже предвкушал свидание с нетленным проектировщиком всемирного парадиза. Образ Ленина как социалистического режиссера авангардиста должен был у него неизбежно ассоциироваться с его киноучителями — Эйзенштейном, Пудовкиным и Довженко.

Не отягощенная высшим кинообразованием Жаклин была настроена менее восторженно.

— Какая гадость! Мумифицированный труп! И это социализм?! — недоумевала она, еще даже не вступив в священную прохладу саркофага. Безошибочным женским инстинктом Жаклин моментально обнаружила крапленые карты в руках отцов-основателей «новой» общественной формации. Слепые, как совы, стеснительные, как институтки, западные «гуманисты», завороженные заливистой брехней своих советских коллег («неподкупных», но выездных), десятилетиями отрицали факт шулерской подмены, довольствуясь трафаретными заклинаниями о гуманизме и справедливости. Меня же в этих отпетых оптимистах — властителях дум той эпохи более всего поражала абсолютная моральная безответственность и интеллектуальная лень. Подобного скандала в истории европейской мысли, кажется, еще не было. До какой же степени нравственной глухоты надо было докатиться, чтобы зачатый в конспиративном чаду европейских меблирашек, пропитанный немеркнущей завистью и злобой режим принять за воплощение социальной гармонии. Калибана перепутать с Ариэлем, Агурамазду с Ариманом...

Словесная вспышка Жаклин резко преобразила будничную явь Красной площади. Мрачные тени минувших восточных деспотий грозно нависли над кремлевскими стенами. Бессловесную, змеящуюся к мавзолею очередь оцепил длиннобородый ассирийский конвой. Сама Жаклин, в лазури слепящего египетского полдня, мерещилась воскресшей царицей Нефертити. Да она и не уступала ей ни в красоте, ни в таинственности.

Узнав, что я женат на ее соотечественнице, Жаклин пожелала немедленно с ней познакомиться и уговорила мужа пригласить нас в ресторан. А ведь я не был ни модным киноведом, ни важным кинодеятелем, суетившимся возле Дзурлини и Антониони, а всего лишь студентом-переводчиком. Выбор ресторана был предоставлен мне. Я остановился на модном «Узбекистане», памятуя как о собственной свадьбе, так и о том, что здесь однажды трапезничали признанные духовные лидеры гошистов — Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар.

Вечер в ресторане удался. Среди гостей находился и молодой, но уже довольно известный сатирик Аркадий Арканов. Я механически переводил его игривые спичи, но был целиком поглощен сидевшей рядом со мной Жаклин. Мое восхищение ею достигло апогея. Выражаясь слогом Северянина, хотелось раскрыть перед ней не прозаическое меню, а «каталог лилий»...

Я понимал, что утонченная красота Жаклин Сассар могла быть оценена по достоинству только в королевской Франции былых времен. Бурно деградирующая Франция неизбежно должна была предпочесть ей Брижит Бардо. В моей памяти Жаклин, эта родственная душа, навсегда останется прекрасным анахронизмом, реинкарнацией Марии Стюарт, по чьей-то воле заброшенной в наше провальное столетие и ставшей его заложницей. Но есть неотвратимый закон исторического возмездия и коллективной кармы. Когда-то Франция в пароксизме безумия добилась казни ни в чем не повинных Марии-Ангуанетты и ее бедолаги супруга и, не покаявшись, получила взамен Тьера и Лаваля...

Антониони мавзолею Ленина предпочел одноименный музей. На мой дежурный вопрос о впечатлениях он, не скрывая своей иронии, ответил:

— Ты знаешь, мне понравилось. Особенно «Роллс-Ройс». У Ленина губа не дура. От такого лимузина я сам бы не отказался.

На фоне царящего на фестивале поголовного конформизма Антониони, как и Сассар, резко выделялся своей принципиальностью. На просьбу знакомых мне репортеров комсомольской газетки «Молодежь Грузии» передать ее читателям привет, скрепленный автографом, он ответил вежливым отказом:

— Ну, посудите сами, как я могу приветствовать читателей газеты, о которой никогда не слыхал?! Да и читателей ее не знаю.

Узнав от Дзурлини, что мы собираемся в Дом-музей Достоевского, одуревший от интервью и пресс-конференций Антониони с радостью присоединился к нам. Там он был необычайно сосредоточен и ловил каждое слово сотрудницы музея, уточняя местоположение комнат, кухни и даже погреба. Казалось, он ждет оттуда внезапного появления тоскующего подпольного парадоксалиста. России Ленина он явно предпочитал Россию Достоевского.

Позже, когда кроме «Красной пустыни» мне удалось посмотреть «Крик» и «Приключение», причины его тяготения к Достоевскому стали ясны. Не классовые битвы волновали Антониони, а вечная распря человеческой души, которая и не думает меняться вместе с общественными формациями. Не опасности капиталистического способа производства, на что уповали наши киноидеологи, а опасности Прогресса, чреватого самоликвидацией этой души. На фоне «громокипящих» социальных фресок ангажированных итальянских режиссеров левого толка фильмы Антониони привлекали тонким психологизмом и по-чеховски сдержанной стилистикой. От обвинительного пафоса позднего Феллини его выгодно отличало то, что он, как и Чехов, ничего не обличал, а только изображал.

Так казалось мне тогда...

После долгого перерыва «Красную пустыню» недавно показали по телевидению. Я смог ее досмотреть только громадным усилием воли. Господи, какая тягомотина! Какой там, к черту, Чехов?! Мне предъявили изготовленное бездушным умельцем наглядное пособие на тему «Издержки развитого капитализма». А как смешна хваленая Моника Витти в своих жалких потугах изобразить душевную смуту «чеховской» героини, угодившей в мир чистогана. Фильм устарел безбожно! Кино... Вообще-то у меня давно уже накопилась масса вопросов к этому искусству масс. Самый главный — почему совокупный продукт фабрично-коллективного труда считается искусством? Чем больше фильмов я смотрел, чем больше ажиотажа возникало вокруг модных режиссеров, тем сильнее хотелось перейти на лексику персонажей Зощенко и Ильфа: «Нет, темная все ж таки профессия, туды ее в качель».

Впрочем...

Примерно тогда же по каналу «Культура» увидел (в который раз!) «Андрея Рублева» Тарковского. Новелла «Колокол». Каждый кадр залит здесь светом подлинного искусства. Да разве только в «Колоколе»? А ведь оба фильма были сняты примерно в одно время!

Антониони не восхищал меня и в молодости. Но признаваться в этом я не осмеливался: ведь советская кинокритика его ругала. Причем вполне обоснованно, с точки зрения сугубо искусствоведческой, вне идеологических клише. Но тогда я пребывал в счастливой уверенности: достойно восхищения все то, что критикуется здесь. Видимо, бессознательное низкопоклонство перед Западом сидело во мне в ту пору прочно...

* * *

Летом 1966 года ценой неимоверных усилий мне удалось выцарапать у ректората характеристику, необходимую для частной поездки во Францию. И хоть аттестовался я в ней весьма нелестно, ОВИР дал мне неожиданно зеленый свет. Во Францию решили добираться морем. Смущало только название судна, на котором предстояло долгожданное отплытие. Но выбирать не приходилось: именно теплоход «Надежда Крупская» совершал круиз по маршруту Ленинград — Гавр.

Первым увиденным мной европейским городом был скромняга Хельсинки — бывшая автономная столица Российской империи. Поэтому впечатление оказалось скомканным. Высоцкому повезло больше. Спустя семь лет он проникнет в Европу через Западный Берлин — эту «витрину свободного мира», как его тогда называли. Зато я реваншировался в Стокгольме и Копенгагене. Это была уже настоящая Европа с королями-королевами и распахивающими дверцы своих лимузинов таксистами. Стоянка в устье Темзы была самой недолгой, но достигнуть Лондона и не увидеть Тауэр — этого бы я себе не простил никогда. И мы направились к электричке.

В Париже я первым делом потащил Мишель к тюрьме Консьержери, а оттуда — на бывшую Гревскую площадь. К местам, где томились, ожидали смерти и погибали люди, у меня был явно патологический интерес. Хотелось хоть мысленно побывать в их шкуре. К Достоевскому я пристрастился еще в школе. Очутившись в Марселе, я, понятное дело, тут же поспешил на остров Иф, чтобы нанести визит солидарности Эдмону Дантесу и аббату Фариа. Чувствовал я себя в этом жутком узилище вполне счастливым человеком.

Вернувшись в Париж и получив благословение Мишель, я не преминул побывать и на пресловутой Плас Пигаль. Предварительно в ближайшем баре я пропустил для храбрости двойную порцию кальвадоса, усугубив его тремя бокалами бочкового бельгийского «Леффа». Снявшая меня не первой свежести первая встречная проститутка не жалела эпитетов для «этого старого козла» де Голля, чья неприязнь к «ночным бабочкам» была общеизвестна. Я полностью разделял её возмущение, видя в них, в отличие от генерала, не падших женщин, а самоотверженных сестёр милосердия, за мизерную мзду несущих изнурительную вахту неотложной скорой помощи.

В магазине русской книги на улице Монтань Сент Женевьев я впервые увидел настоящего русского эмигранта первой волны. Им оказался голубоглазый старик-продавец, воевавший в Гражданку добровольцем у Колчака. Увидев, какие именно фолианты я жадно пожираю глазами, добрейший золотопогонник сделал мне значительную скидку, но, чтобы не подвергать меня опасности, записал для отчетности фамилию Мишель. Когда я подарил ему пачку советских сигарет «Тройка», он с трудом сдержал слезы.

В этом магазинчике я мог лишний раз убедиться в том, как бесцеремонно Родина отнимает у нас все самое ценное — память, свободу, отчизну.

Более всего поразило меня во Франции бьющее в глаза благосостояние рабочего класса. Я замечал это повсюду — в кафе, в универмагах, в загородных парках.

Шумные, прикинутые, лишенные комплексов, они бесцеремонно брали от жизни все, что та им могла в данный момент предложить. Ничто так не подтверждало мудрость французской поговорки «аппетит приходит во время еды», как это оголтелое упоение жизнью. В равной степени ничто и не опровергало столь убедительно тезис Мориса Тореза об «абсолютном обнищании пролетариата». Со смешанным чувством лицезрел я зрелые плоды «восстания масс». Ничего общего с обличительными описаниями Бальзака и Золя страна эта не имела. Прогресс был очевиден.

Еще больше озадачила меня Италия. В Генуе меня потряс протянутый через всю улицу кумачовый транспарант с лозунгом «Слава труду». Я стал мучительно соображать, в какую же именно общественную формацию угораздило меня угодить — в капитализм с человеческим лицом или в социализм с волчьим оскалом? Одно было несомненно — со старой, милой сердцу Европой покончено окончательно и бесповоротно. Вместо «прекрасных порывов» — полувегетативное прозябание под сенью избыточных свобод. Вместо мушкетеров короля — бастующие завода «Рено». Вместо тяжбы с Судьбой — тяжба с Капиталом.

Ленинград встретил нас пасмурной погодой и мучительно-долгим таможенным контролем. Вяло горящие неоновые буквы на фронтоне морвокзала неоспоримо подтверждали факт нашего возвращения домой. Но одна из букв почему-то вышла из строя и придавала всей надписи явный антисоветский душок. Теперь она читалась: «Ленинград», но оспаривать это не хотелось.

С мадемуазель Кан меня познакомил мой институтский товарищ Игорь, родной брат создателя кота Леопольда. Зная наши скромные возможности, Мишель часто подкармливала нас всякой вкуснятиной. Ее гастрономические маршруты были неисповедимы. Убежденная марксистка-интернационалистка, Мишель впитала в себя кулинарные рецепты почти всех континентов. Особую слабость питала она к кухне колониальной — алжирский кус-кус удачно чередовался с курицей по-камбоджийски. Впоследствии ее кулинарные таланты высоко оценит даже абсолютно неприхотливый в еде Высоцкий. Особенно нравились ему тушеные с помидорами, заправленные чесноком, перцем и петрушкой шампиньоны по-провансальски.

В один из зимних вечеров 1965 года мы были в очередной раз приглашены на домашнюю трапезу. На сей раз

Мишель решила побаловать нас изысками национальной кухни, и наши тощие студенческие желудки радостно урчали в предвкушении галльского петуха в винном соусе. Обычно мы добирались до ее дома от метро «Калужская», садясь на автобус-экспресс № 111. Доехав до нужной станции, мы выбрались наружу и тут же угодили в настоящую снежную бурю. Автобуса, как назло, долго не было. К счастью, голод и пурга натолкнули нас на счастливую идею в кои-то веки воспользоваться такси. Через несколько минут притормозивший таксист уже спрашивал, в какую сторону нам ехать. Он был с пассажиром, и нам оказалось по пути. Водитель открыл дверь, и вьюжный ветер удачи буквально зашвырнул нас на заднее сиденье. Движимый любопытством пассажир повернулся в нашу сторону и... обернулся сногсшибательной попутчицей. В то же мгновение мое южное сердце сладко заныло в предвкушении близкого счастья. Эффектная голубоглазая блондинка с чувственными губами, она напоминала одновременно и Брижит

Бардо, и Мишель Мерсье. От волнения я не мог произнести ни слова. Из дурмана упоительных грез меня вывел оскорбительно земной голос таксиста:

— Сейчас будем сворачивать направо. А вам куда именно?

— К универмагу «Москва», — уточнил Игорь. Таксист с красоткой удивленно переглянулись:

— Так мы туда и едем.

— Вот и прекрасно. Значит, судьба, — оживился я.

Когда мы назвали номер дома, незнакомка недоверчиво на нас покосилась:

— Странно. И мне туда же.

Но когда она попросила остановиться возле подъезда, где жила Мишель, настал уже наш черед удивляться.

— И нам сюда же! — вскрикнули мы в унисон с Игорем.

И тут наша попутчица не выдержала:

— Знаете, у меня нет никакого желания с вами шутить.

Она не стала слушать наших уверений и, расплатившись, поспешила к подъезду.

Все выглядело настолько неправдоподобно, что даже таксист нам не поверил:

— Ну, зачем вам это, ребята?

Заверив его, что помыслы наши чисты, как хлопья этой снежной карусели, мы последовали к знакомому подъезду. Вызванный незнакомкой лифт уже спустился, приглашая ее навсегда избавиться от наглых преследователей.

— Извините, какой вам этаж? — в зыбкой надежде сохранить интригу осведомился я.

Ответом нам был резкий звук яростно захлопнувшейся двери. Что ж, всем миражам когда-нибудь приходит конец. Пора было спешно опускаться на землю и вместо взмывшего в кабине журавля довольствоваться синицей в облике ощипанного галльского петуха.

Мы решительно нажали на кнопку седьмого этажа и, спустя минуту оказавшись на лестничной площадке, замерли от радостного изумления: упорхнувшая жар-птица сосредоточенно возилась с ключами, явно пытаясь проникнуть в соседнюю с Мишель квартиру.

— Видите, а вы не поверили, что это судьба, — в голосе моем зазвучали торжествующие нотки, — мы ждем вас у вашей соседки, к которой как раз и приглашены.

Сгоряча я даже не сообразил сразу, какую бестактность совершил, пригласив незваного гостя и предварительно не известив хозяйку. В Европе это воспринимается как оскорбительный вызов всем правилам приличия. Вас еще могут простить за нагрянувшего с вами гостя, если тот благоразумно откажется от трапезы; в противном случае для порядочного общества вы потеряны навеки.

Незнакомка, казалось, была удивлена не меньше нашего этой чередой совпадений. Тепло улыбнувшись, она обещала непременно быть.

Глава третья.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ ВЛАДИМИР

...Через час она уже звонила в дверь, и мы, к явному неудовольствию Мишель, познакомились. «Итак, она звалась Татьяной», — студенткой актерского факультета ВГИКа. В разговоре выяснилось, что Татьяна заходила проведать свою мать, сама же жила с мужем в однокомнатной квартире на Профсоюзной.

Первые наши встречи носили эпизодический характер, даже после моего переезда на Ленинский они оставались случайными. Мишель сразу почуяла в Тане опасную соперницу.

Неестественный сюрприз фортуны я попытался, в двойном качестве идеалиста и кавказца, претворить в естественную близость. Но моя Снежная фея весьма скептически приняла мои нудные ухаживания и произнесла монотонный, но тактичный монолог о праве любви на самоопределение. Резюме звучало так: «Я не собираюсь разрушать *ещё* одну семью».

До меня дошел смысл её последней фразы: *ещё одну семью*, и бес тщеславия захотел узнать имя счастливого соперника.

— Владимир Высоцкий, ведущий актёр нашего театра и бард, — отвечала Татьяна.

Это имя лично мне ничего не говорило. Но, хотя «Вертикаль» и «Опасные гастроли» были еще впереди, оно уже было известно довольно широкому кругу людей. Я самонадеянно представил себе какую-нибудь рюкзачно-патриотическую вариацию Визбора или Клячкина. Во мне бушевал посрамлённый Кавказ. Увидев мою скисшую физиономию, Татьяна предложила мне познакомиться с его записями: «Послушаешь и всё поймешь».

Через неделю бобина была у меня в руках, и я немедленно включил магнитофон. Мощный незнакомый голос ворвался в комнату и повёл рассказ о гибели подводной лодки. Голос передавал событие огромной важности, он вёл репортаж с места события — надо было что-то срочно предпринимать, как-то помочь гибнущему экипажу.

Я нажал на клавишу «стоп» — это было какое-то наваждение. Я опрокинул рюмку коньяку и снова включил звук. Этот охрипший баритон пользовался запрещенным приёмом — он монотонно бил ниже пояса и сбивал дыхание:

«Смерть Ивана Ильича» казалась лёгким летаргическим сном перед сценой гибели субмарины, о которой пел неизвестный. Я чувствовал, что схожу с ума, я был зомбирован голосом, я слушал и выключал, слушал и выключал. Этот голос доносился прямо из балтийской пучины, сквозь свинцовую толщу воды, где погибала команда.

Я столкнулся с явлением, которому не в состоянии был дать определения. Только хамелеон кричал внутри голосом детства: «Я восхищаюсь, я восхищаюсь...» Поражала сила драматического накала, счастливого совпадения формы, смысла и звукописи. Речь уже не шла о силе таланта, здесь было нечто пограндиознее. Я был шокирован и раздавлен. При столкновении с незнакомой ситуацией каждый из нас мыслит трафаретами, то есть пытается укрыться за формальную логику. Ни в русской, ни в советской

поэзии не находил я аналога тексту, озвученному голосом, рвущемуся из динамиков. Как переводчик даже подумал автоматически — а можно ли это перевести на итальянский? Но где найти такой голос к таким словам? Здесь всё слитно и неделимо.

Мне хотелось поделиться первыми впечатлениями с Татьяной, и только сейчас я заметил, что её уже нет.

Ещё больше часа, безбожно накачиваясь коньяком, я с маниакальной настойчивостью слушал этот божественный хрип и чувствовал, что прикасаюсь к оголенным проводам и меня бьёт электрический разряд в 380 вольт. Я был уверен, что давление у меня скачет и частота пульса убыстряется.

Этот голос имел магнитное поле воздействия, и я оказался слишком уязвимым — меня зашкаливало. Я был опустошен и растревожен, как булгаковский Понтий Пилат после разговора с Иешуа, — та же вибрирующая паутина мыслей и предчувствий отрывала меня от земной орбиты и относила к иным мирам, иной реальности, иным берегам...

Это было прикосновение к Чуду. Мнительный, я боялся его вспугнуть и решил ничего пока не предпринимать.

Утром я попытался на свежую голову холодно проанализировать вчерашнее. Незнакомый Высоцкий был моим первым интеллектуальным упущением. Это, во-первых, а кроме того, ведь в поэзии часто бывают случаи эпизодических удач. Еще неизвестно, что это — частный случай или тенденция. Ну, а коньяк, а шарм и сила внушения красивой девушки? Всё становилось понятно... Я разозлился на себя и решил преодолеть наваждение.

Нажал «Play», и... снова всё повторилось. Вот первый фрагмент:

В этом мужественном лаконизме военного рапорта — спокойный спартанский героизм достоинства, а голос — хриплый, простуженный, просмоленный — может принадлежать любому матросу обреченной подлодки, и голосу этому веришь. Сама ритмика стиха создает драму, и она — между героикой и лирикой, усиленной внутренними рифмами:

Эти рубленые, почти без глаголов, обрывки то ли приказа, то ли рассказа, эта техническая виртуозность — не могли не ошеломлять. Единственным известным мне в поэзии аналогом этому невероятному по накалу репортажу о бедствии души был шедевр Артюра Рембо «Пьяный корабль». Отличие — в поэтике. Если корабль Рембо — пиратский бриг с беснующейся командой, то субмарина Высоцкого — единица королевского флота с железной дисциплиной на борту. Отсюда — метафорический бунт Рембо и лексическая выдержка Высоцкого:

Очнувшись от этого эмфатического шквала и взбодрив себя основательной порцией коньяка, я приготовился слушать дальше. Это были записи песен 1964—1967 годов. Больше всего поражали в них жанровое и тематическое разнообразие. Пародийная «Сказка о нечисти» чередовалась с драматическими «Штрафными батальонами», шутливая «Тау Кита» — с щемящей «Наводчицей».

В мою тесную типовую квартиру хлынули явно нетипичные обитатели нашей необъятной Родины: тоскующие уголовники, чувствительные пограничники, мыслящие спортсмены, хамоватые космонавты. Все

они изъяснялись на какой-то причудливой смеси арго и просторечья. К этому же говору прибегали и травестированные Высоцким и — в пику идеологии — горячо любимые мной с детства герои русских сказок и былин. Оставалось загадкой, с какой поэтической колокольни автор высмотрел этих диковинных субъектов. Населив свои песни чудесными персонажами сгинувшего Лукоморья: Змеем Горынычем, Чудом-Юдом, Бабой Ягой, лешими и вурдалаками, — Высоцкий как бы восстанавливал прерванную историческую память нации. Существовала очевидная связь между самостояньем королевского стрелка и упёртостью Нинкиного воздыхателя. Оба хотят собственным умишком, не считаясь с выгодой и логикой, решать, как им обустроить свою личную жизнь. Оба просят не лезть им в душу и плюют на доводы здравого смысла, противопоставляя им свой сиюминутный каприз:

Эти удивительные песни явно выпадали из контекста официальной мифотворческой культуры, давали иллюзию финала тысячелетнего ярма креста и молота, превратившего здоровое арийское племя в стадо государственных колодников, иллюзию возрождения спасительного стиля жизни Василия Буслаева и Садко. Вдруг почудилось, что предсказанному Достоевским «джентльмену с ретроградной физиономией» удалось-таки растолкать спящую царевну-Россию, убедить её разбить свой хрустальный склеп, выйти вон и снова зажить «по своей глупой воле»...

В коммунизме я всегда подозревал обезьяну христианства, её опрокинутую версию. Слишком уж явно проступала их родовая связь: то же мессианство, та же нетерпимость и навязывание своей воли, то же нигилистическое отрицание прошлого и настоящего во имя гадательного будущего. Только сектантско-катакомбному духу присуща эта претензия на истину в последней инстанции. Только на конспиративных явках могла родиться эта сатанинская система запретов и доносов, наказаний и покаяний, система окончательной отмены личности.

И христианство, и коммунизм — это замаскированное пожизненное судилище над жизнью, гигантский капкан, угодив в который, человек остаётся лицом к лицу с круговой порукой шкурничества и страха, этими нехитрыми регуляторами социальной механики. Конечно, я имею в виду исключительно практику исторического христианства как института идеологической диктатуры, вне загадочной личности Христа с его «Не судите, да не судимы будете».

Отвергнутая на родине воинствующая идеология маленькой семитской секты одним махом уничтожила не только поэзию эллинского Неба, но не пощадила и гармонии Природы, выкурив оттуда её «несчастных жителей», связанных с человеком тысячами таинственных нитей. Накинув, во имя Единобожия, чёрную плащаницу небытия на Пана, эта мстительная доктрина низвела всё цветенье жизни к тоскливому прозябанию с вечной оглядкой на обстоятельства. Какая же, к чёрту, жизнь без пения сирен, козней Кащея и посвиста Соловья-Разбойника?! В лучшем случае — её имитация.

В песнях Высоцкого таился опасный дух конфронтации — его герои, казалось, приглашали к возобновлению арийской прапамяти с её осмеянными «предрассудками» — честью, великодушием, любовью к Судьбе; к самопреодолению садо-мазохистской альтернативы: помыкать или быть помыкаемым.

И всё-таки большая часть этих замечательных песен явно относилась к эпической, бардовской традиции с её непременной сюжетностью. В моём же представлении подлинная поэзия не подлежит прозаическому пересказу, поэтому больше всего меня поразили до сих пор недооценённые «Звезды». Только фронтовая поэзия Семена Гудзенко, впервые услышанная мной в «Павших и живых» в исполнении

Высоцкого, способна выдержать сравнение с этим маленьким лирическим шедевром. Её прощальная щемящая строфа:

«свалилась» мне в тот апрельский вечер «прямо под сердце» и засела там незатухающей ноющей болью...

Моя belle dame sans merci[1] Татьяна, узнав о моей безоговорочной капитуляции, на этом не успокоилась и решила доконать меня актерским талантом Высоцкого. Но мне сильно повезло. В тот вечер Высоцкий в спектакле «Послушайте» занят не был. Изобретательность режиссуры была не в состоянии скрасить идейную нищету действа. Это был какой-то ускоренный ликбез для зрителя, впавшего в пожизненную амнезию, черно-белый лубок с «чистыми» и «нечистыми». Облаченные в белые фартуки «чистые» воплощали различные ипостаси Маяковского, но больше смахивали на ударников прилавка или цеха горячего питания. Для полной классовой идиллии не хватало лишь дорвавшихся до власти ленинских кухарок да унитазов из чистого золота.

Нет, автор тех изумивших меня песен решительно не вписывался в этого коллективного Маяковского.

Я был не в своей тарелке и чувствовал себя примерно так, как Ося и Киса на премьере «Женитьбы» в театре Колумба, только вместо двенадцати стульев на подиуме громоздились какие-то многозначительные кубы.

Из «нечистых» почему-то запомнился лишь остроубедительный Рамзес Джабраилов, будущий могильщик в «Гамлете». В тот вечер он представлял фронт литературных могильщиков Маяковского — критиков рапповского толка.

Но главным «нечистым» — антиподом Маяковского по инсценировке — оказался Игорь Северянин в трактовке Валерия Золотухина. Он начал с поэмы-миньонет «Это было у моря».

Дисциплинированный актер, четко следуя режиссерской установке, так манерничал, завывал и педалировал, что становилось ясно: горький хлеб эмиграции — неизбежная расплата за ажурную пену и перерезанный гранат. Отсутствие классового чутья приравнивалось к измене Родине. От жаворонка требовали орлиного клекота. От рококо — объёмности барокко.

Лихо разделавшись с музицирующей королевой, разошедшийся актер обрушил весь резерв своего сарказма теперь уже на простую девушку из народа, имевшую неосторожность забрести спозаранку в березняк.

Золотухину-декламатору было не угодить. Он так куражился над фактурой стиха, что эта заздравная миру Божьему звучала похабной похвальбой загулявшего мастерового.

Трудно было поверить, что таланту автора этих стихов дивились Сологуб и Блок, Гумилев и Цветаева, что для Пастернака это был «лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и, при всей неряшливой пошлости, поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара».

К сожалению, вкусы толпы формируют не великие поэты, а критики-однодневки, потому-то и

совпадает их избирательная память. Для критиков — и дореволюционных, и эмигрантских, и советских — поэзы Северянина всегда были эталоном пошлости. Увы, даже Ахматова с Гиппиус были целиком солидарны с ними. Пушкина судят не по «Черной шали», а по «Медному всаднику». Северянину же до сих пор не могут простить: *Ты отдашься мне на ландышах и как ландыш расцветешь.* Как не могут извинить Высоцкому: *Еле-еле не далась — даже щас дрожу,* в упор не видя «Черных бушлатов» и «Белого безмолвия».

Я же знал и другого Северянина, грустного менестреля с душой Фрагонара:

Сдаётся мне, что именно эти северянинские строчки предвосхитили лирическую интонацию и Пастернака, и Высоцкого.

Никто из зрителей не догадывался, что «ультрареволюционный» Маяковский не только знал, но и охотно читал на публике едко-ироничные северянинские «Зизи», «Нелли», «Июльский полдень»...

Они были мазаны одним миром. Два уникальных дарования с явными симптомами мании величия, оба родились, жили и умерли поэтами-романтиками, с исконно русским недоверием к разуму и тягой к мифотворчеству. Только у истинных рыцарей абсурда могли выговориться эти признания: *Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие.* Или: *Одно безумье гениально, и мысль ничтожнее мечты.*

Карнавальные маски «Вселенского Хамелеона» или «Грядущего Хама» только оттеняли их душевную уязвимость. Отталкиваясь от тины житейской пошлости, каждый из них, прихотью своего необузданного воображения, творил свою обетованную землю. У изверившегося Северянина — это ирреальная Миррелия, *где нет ни больных, ни лекарства, где люди не вроде людей*, у нетерпимого и нетерпеливого Маяковского — вполне реальная страна Муравия, где вечным дефицитом стали не только лекарства, но и человеческие души.

Ну, что же, идеалистам закон не писан...

В оценке поэзии у меня был единственный критерий — талант и искренность, поэтому я и считал событиями русской словесности и «Поэзу о Бельгии» Северянина, и «Во весь голос» Маяковского.

Было жалко умершего в нищете Северянина — будучи вычеркнутым из поэтического обихода нации, сам он не мог защищаться, адвоката же, в лучших традициях сталинских «троек», ему не предоставили.

Но было досадно и за Маяковского — он вовсе не нуждался в искусственном возвеличении за счёт унижения собрата по ремеслу и судьбе.

Тогда я еще не был знаком с поздним северянинским посланием Маяковскому, где шла речь об их дерзких мальчишеских набегах на заспанную русскую провинцию:

Огорченный, покидал я модную «Таганку», этот магазин уцененных вещей. Стоустая молва нарекла ее эпицентром духовной жизни страны — в годы безвременья было отнюдь не сложно раздуть лёгкий сквозняк до океанской бури. Успех спектакля у доверчивого зрителя лишь подтверждал правоту Пушкина относительно нашей лени и нелюбопытства.

Несомненно, именно такого сбитого с толку зрителя-слушателя «Театрального Октября» и подразумевал Северянин в своей поэтической инвективе:

Как Баратынский, как Маяковский, он — через головы современников и правительств — терпеливо дожидался беспристрастного суда читателя-потомка:

Через пару недель, в середине мая 1967 года, я сидел у себя дома и лихорадочно строчил свою дипломную работу — перевод и комментарий сценария Антониони «Красная пустыня». В соседней комнате добросовестная Мишель обречённо корпела над переводом очередного бестселлера Юлиана Семёнова «Петровка, 38». Сроки поджимали, и никаких гостей мы, естественно, не ждали.

Внезапно раздался звонок в дверь, и через минуту я увидел на пороге сияющую Татьяну и невысокого, спортивного вида молодого человека. Я сразу сообразил, что это — Он, и, застигнутый врасплох, здорово растерялся. Увидев стол, заваленный исписанными листами и словарями, он заторопился: «Не беспокойтесь, мы на минуту». Высоцкий был сдержан, вежлив, прост — никакой кастовости, никаких богемных оборотов, ничего от ведущего актера популярнейшего театра. От армянского коньяка он решительно отказался, чем немало меня смутил: актёр, звезда, и не пьёт. Трудно было признать в нем автора тех песен, внешне до «гения» он явно недотягивал.

От Татьяны он знал, что я был на спектакле, и спросил о моем впечатлении. Он располагал к откровенности, и я решил, не таясь, высказать свои претензии: «Я не понял, зачем надо бить по голове одного поэта, чтобы возвысить другого?» Человек корпоративного духа, Высоцкий вступился, хотя и весьма неубедительно, за своих коллег: «Но ведь спектакль не об этом, а о том, как не надо плохо читать хорошие стихи». Он разом выгораживал и Любимова, и Золотухина, и Северянина.

Я только обреченно махнул рукой:

— Да нет же, об этом. Я, конечно, понимаю трудности режиссера, но почему именно Северянин, разве мало было тогда бездарей?

— А вы любите Северянина?

— Да, очень!

— И я тоже! Я вижу, вы вообще любите поэзию?

И он бегло оглядел наш книжный шкаф, забитый словарями и синими томами «Библиотеки поэта», чуть задержавшись на предмете моей гордости — контрабандной полке с Мандельштамом и Ахматовой, Клюевым и Гумилевым. Рядом с ними дружно теснились Бердяев с Шестовым, и алым сигналом тревоги пылал уголовно-наказуемый «Фантастический мир» Абрама Терца-Синявского.

Пробыл у нас в тот вечер Высоцкий недолго. На другой день я узнал от Татьяны, что понравился ему за «нестандартность мышления». Мне оставалось лишь возблагодарить судьбу в лице Тани Иваненко и Игоря Северянина. Высоцкий действительно ценил этого поэта. Через пару лет именно от него я впервые услышал странный стих Северянина, написанный в размере какого-то диковинного, видимо, им самим придуманного «пятицвета»:

В те майские дни роман Высоцкого и Татьяны был в самом разгаре. Каждый их визит к Таниным родителям заканчивался нашими общими посиделками. Очевидно, демократизм наших семейных устоев их вполне устраивал. Люди разных профессий, артисты и переводчики, мы невольно тянулись друг к другу, зарождая исподволь атмосферу приятельства.

Мишель создавала французский уют, Татьяна вносила русскую раскованность, Володя был гений, мне же досталась роль провинциального ценителя.

Первое впечатление от него было обманчивым. За кажущейся простотой и цельностью Володи крылась ранняя сердечная утомленность, настороженность и подспудная глухая обида. Временами он как-то особенно улыбался. И только через эту странную, кособокую улыбку-гримасу можно было прорваться в тайники его внутреннего мира.

Вопреки расхожему мнению, Высоцкий трудно сходился с людьми. Мы присматривались друг к другу медленно и осторожно. Сама судьба шла нам навстречу: почти ровесники, мы формировались в одно время, ценили дружбу, женщин, гумилёвских «Капитанов», и оба стремились к лидерству: он — как сгусток энергии воли, я — как мечтатель-идеалист.

Мои кратковременные вспышки деловой активности сменялись периодами глубочайшей депрессии — тупость и преступность режима сделали меня уже к тому времени хроническим неврастеником. Володя был намного терпимее, добрее, мудрее, и к моему словесному максимализму относился снисходительно. Он умел держать удар.

Хотя Володя приходил без гитары, каждое его появление у нас было маленьким праздником. Обаяние его было беспредельным. Уже с третьей нашей встречи мы с Мишель были от него без ума. Он властно вошел в нашу жизнь. Навсегда.

Как и Володя, Таня родилась в армейской семье. Её отчим, мой сосед, которого Таня называла отцом, был тоже военным и к этому времени дослужился до полковничьих погон. Наслышанный о двусмысленной славе Высоцкого, он изъявил желание услышать его живьём. Как-то воскресным днем к нам влетела взволнованная Татьяна: «Сейчас Володя будет петь для папы, он хочет, чтобы послушал и ты». Так, вместе с грядущим генералом Манченко я впервые услышал Высоцкого в домашней обстановке.

Фигура для нашего истеблишмента одиозная, Володя, чтобы не подвести Татьяну, сознательно выбрал вполне пристойный репертуар. Он легко, без надрыва, исполнил несколько военных, спортивных и сказочных песен, снискав несколько снисходительное одобрение полковника. Сияющие глаза Татьяны как бы приглашали нас восхищаться вместе с ней «её Володей».

Спустя какое-то время мы пригласили Таню с Володей на званый ужин. Неожиданно он явился с гитарой, и я уже предвкушал обладание хорошей записью на японском магнитофоне. Но тут я проявил непростительную бестактность, приготовившись записать его без предварительного согласования. Володя отказал мне в мягкой форме: «Ты понимаешь, у тебя собираются *такие* люди...»

Он имел в виду сидевших за столом подруг Мишель — француженок — и их российских мужей. Хотя смешанные браки считались тогда некоей формой оппозиции, но одновременно подразумевали и опасность двойной игры. Страх доносительства нас никогда не отпускал. Было очевидно, что Володя мне пока еще полностью не доверяет. Это было в порядке вещей...

За год до этого я познакомился с Андреем Тарковским, человеком исключительного таланта и невероятной мнительности. Он приходил к нам в гости со своей первой женой актрисой Ирмой Рауш. Во время нашей второй встречи в кафе «Националь» я сразу почувствовал его плохо скрытое недоверие ко мне. Всё объяснилось позже. Известному мастеру интриги сценаристу Артуру Макарову, имевшему в ту пору сильнейшее влияние и на Тарковского, и на Высоцкого, видимо, не стоило труда убедить Андрея в моём сотрудничестве с органами: «Раз его не выгнали из Иняза, значит, тут что-то не так». Вполне вероятно, что подобные мысли он навевал и Володе.

Трудно сказать, что им двигало больше — дружеская забота, заурядная ревность или интриганский

зуд.

Но вскоре непредвиденное сцепление обстоятельств полностью обелит меня в глазах и Высоцкого, и Тарковского.

В конце июня 1967 года я защитил диплом и был распределен на знаменитый ЗИЛ: начиналась громкая эпоха советско-итальянских суперавтопроектов. В ректорате мне объяснили причину внимания к моей одиозной персоне: здоровая заводская атмосфера выбьет всю дурь из вашей головы и сделает полноценным и полноправным членом нашего общества. Польщенный, я, тем не менее, отказался и, пользуясь формальным правом выбора, попросил свободный диплом. С большим скандалом я таки его выцарапал.

Меня не вдохновляли ни заводские трубы, ни заводские лимузины; привлекала только футбольная команда автогиганта, где блистали элегантный, как голливудская звезда, Валерий Воронин и недавно выпущенный из заключения неповторимый Эдуард Стрельцов. Но с ними я мог бы общаться и в ВТО! А меня уже давно манило кино. Фабрике автомобилей я предпочитал фабрику грёз, как единственную альтернативу постылой действительности.

Но я не учел одного обстоятельства. Свободный диплом, вырванный вопреки воле ректората, таил в себе большую опасность. От своих сокурсников я знал, что наш кадровик грозился перевести меня в разряд вечных безработных. Советская бюрократическая рутина была ему прекрасно известна — он сам был её олицетворением. Прежде чем зачислить в штат, любая организация должна была навести справки о соискателе на вакансию в отделе кадров последнего места его службы или учёбы.

— Спросят моё мнение, — бахвалился кадровик, — а я скажу, что он бездельник и женат на француженке. Долго он еще будет бегать высунув язык. Кто его возьмёт? ЗИЛ его, видишь ли, не устраивает.

Как-то, еще в годы учебы, я побывал у него в кабинете. Пухлое, как поднявшееся тесто, лицо, оловянные, бессмысленные глаза — всё выдавало в нем до боли знакомую породу борцов за идеалы. Он вальяжно восседал в кожаном кресле, хотя дверь его канцелярии была почему-то обита дерматином. Коммунистическая убежденность удачно сочеталась с коммунальным убожеством.

Зная, что он мечтает о моем перевоспитании, я решил испытать его идейную принципиальность с помощью пролетарского интернационализма, не выходя за рамки марксистско-ленинской доктрины. Я поведал жене сенсационную новость: все иностранки, работающие в СССР, замужем за бездельниками, и компетентные органы не могут и не хотят мириться с этим. Неважно, что я слегка изменил текст вершителя судеб, смысл я сохранил полностью. В настойчивости и принципиальности Мишель нисколько не уступала всесильному кадровику: эти похвальные качества роднят всех коммунистов мира без различия пола. Партийный напор Мишель сыграл решающую роль: он стал искрой, из которой возгорелось пламя, приведшее в движение ржавый бюрократический механизм. Последовал звонок из райкома партии в Союз кинематографистов, и мне пообещали должность переводчика-референта в международном отделе. Это было большой удачей. По-видимому, в издательстве «Прогресс» высоко ценили не только профессионализм, но и морально-волевые качества «товарища Мишель».

А в это время на «Мосфильме» полным ходом шла подготовка к съемкам фильма «Красная палатка» — грандиозного советско-итальянского проекта о спасении полярной экспедиции Нобиле. Советская сторона придавала этой совместной ленте государственный статус: на официальном документе стояла подпись премьер-министра Косыгина. Отбор кандидатов в съемочную группу был столь же тщательным, как отбор космонавтов перед очередным запуском.

Для гарантии кассового успеха в картину были приглашены звезды мирового кино тех лет: итальянка

Клаудиа Кардинале, англичанин Питер Финч и шотландец Шон Коннери — тот самый, впоследствии «воспетый» Высоцким, знаменитый агент 007. Постановщиком фильма был Михаил Калатозов, известный на Западе благодаря каннскому триумфу «Журавлей», а генеральным директором утвержден Владимир Марон, весьма уважаемый в мире кино человек, бывший фронтовик. По словам Высоцкого, в годы войны он служил на подводной лодке, был контужен в ходе боевой операции и с тех пор сильно заикался. Съемки планировались в Эстонии, Италии, на Байкале и в Арктике, и в мечтах я уже любовался северным сиянием.

В мае (1967) в Москву прилетел продюсер фильма, президент «Видес Чинематографика» Франко Кристальди и, по окончании переговоров, собрался вместе с женой Клаудией Кардинале на пару дней в Ленинград. Срочно понадобился второй переводчик, и через Союз кинематографистов я, в порядке испытания, был рекомендован Марону. Поездка-проверка прошла успешно, и Марон, выразив благодарность, обещал после составления окончательной сметы включить меня в состав съёмочной группы. Но прежде было необходимо окончить институт и оформиться на работу в Союз кинематографистов: он-то и должен был официально рекомендовать меня «Мосфильму». Никто не хотел рисковать.

Итак, заполучив свободный диплом, я мысленно уже бегал по павильонам «Мосфильма» и готовился к арктической экспедиции. Но неожиданно всё застопорилось. В Союзе кинематографистов не торопились с моим зачислением в штат, хотя я уже давно заполнил все нужные анкеты. Телефон подозрительно молчал. Чтобы выяснить ситуацию на месте, я отправился в Дом кино на Васильевской. Кадровик международного отдела, офицер КГБ, вполне доброжелательная леди с характерной фамилией Волченко не стала темнить и с неподобающей чекистке прямотой, раскрыла нехитрую механику привилегированного советского учреждения:

— Ну вы же сами знаете, как у нас такие дела делаются. Сегодня решат одно, завтра — другое. Один звонок всё может изменить.

Идти к самому председателю Союза кинематографистов Караганову и спрашивать об основаниях формального отказа, не имело никакого смысла. Основание было одно — советское. «Мосфильм» тоже не проявлял острого желания увидеть меня снова. Марон темнил и деликатно тянул время. Все попытки самому устроиться в другие конторы, связанные с кино, тоже ни к чему хорошему не привели. При упоминании о жене-иностранке у кадровиков одинаково вытягивались лица и стыдливо опускались глаза.

Я запаниковал: пророчество институтского кадровика сбывалось. Мечты мои бесславно рушились. В МГК КПСС, куда мы с Мишель обратились за содействием, мне издевательски посоветовали устроиться на работу у себя в Ереване.

Уже наступил декабрь, и передо мной замаячила уникальная перспектива стать хроническим безработным в стране поголовной занятости.

Татьяна узнала о всех этих передрягах от Мишель и, в свою очередь, поделилась с Володей. Я об этом и не подозревал. Подходил к концу 1967 год, а шансы мои устроиться на работу равнялись нулю. Мне уже не хотелось думать ни о «Красной палатке», ни о «Красной пустыне». Я пребывал в состоянии глубочайшей депрессии. Красный цвет со всеми его оттенками стал для меня отныне воплощением мирового зла.

И тут понеслась, закружилась волшебная карусель — чаемая череда чудес. Как-то вечером к нам заглянула возбуждённая Таня и поведала:

— Вчера я провожала Володю на «Красную стрелу», и на платформе мы столкнулись с твоим Мароном. Оказывается, они хорошо знакомы по фильму «Карьера Димы Горина».

Поздоровавшись, Володя, к изумлению Тани, не мешкая взял быка за рога:

— Владимир Самойлович, что же это вы не берёте на работу *моего друга?* Другого такого переводчика вам не найти. Чем он вас не устраивает?

Марон смутился и объяснил, что хотя друг и подходит по всем параметрам, но по ходу съёмок намечаются выезды в Италию, и:

— Вы же понимаете, Володя, у него жена... В общем, это создаёт проблемы.

— Но вы согласны, Владимир Самойлович, что это — безобразие?!

— Ну, вообще, конечно, но... — продолжал мямлить осторожный директор.

— Так давайте с этим безобразием бороться вместе! — Володя отрезал сердобольному Марону все пути к отступлению.

Не знаю, слышал ли раньше Марон «Спасите наши души». Сомнительно, чтобы он разделял мировоззрение Высоцкого, так как являлся большим поклонником товарища Сталина. Вспоминаю, как он в присутствии Калатозова как-то сказал: «И всё-таки Сталин был великим человеком». Маститый мэтр завершил фразу: «...и великим преступником».

Но благоприобретенный сталинизм не мешал Марону оставаться доброжелательным, порядочным, хотя и очень осторожным человеком. Идеология и склад души не всегда совпадают. Да и славная древнеримская фамилия ко многому обязывала.

Как бы то ни было, через несколько дней после этого полуночного разговора на Ленинградском вокзале Марон позвонил мне и велел немедленно приезжать для подписания договора. Мой кадровик был посрамлён: слово Высоцкого оказалось весомее идеалов вершителя судеб. В условиях той России это было подобно тектоническому сдвигу. Превратившись, под напором Володи, в его невольного союзника в борьбе за права человека, Марон вынужден был позвонить в компетентные органы. Ему даже не пришлось хлопотать за меня: могущественная контора претензий ко мне *пока* не имела. Самым зловещим в этой фразе было слово *пока.* Если бы они знали, кто мой истинный ходатай!

Пока я им не внушал беспокойства; Мишель же они доверяли полностью.

Хотя Высоцкий назвал меня в разговоре с Мароном другом, я понимал, что это даже не аванс, а всего лишь тактический ход. В тот период я мог считаться в лучшем случае его добрым знакомым, не более. Он просто без лишних слов, без эффектных прелюдий добровольно поддержал меня в тяжёлую минуту. Какая вереница «друзей» и знакомых воспользуется впоследствии его добротой! Володя помогал, не унижая, на что способны только морально очень чистоплотные люди. Чаще всего, к сожалению, помощь знакомому — лишь повод к самолюбованию; нас больше восхищает сам жест, чем его содержание.

В моём случае это был пример абсолютного бескорыстия: мы ещё не были друзьями, а он уже сделал этот жест, хотя никто его об этом не просил. Им двигали прежде всего доброта и врожденный инстинкт справедливости, и только потом уже присутствовал и момент самоутверждения, присущий всякой великой личности. «*Dixi*, я сказал» — не только пароль властного человека, но и признак величия его души.

Высоцкий был настолько тактичен, что ни разу не напомнил мне об этом столь важном для меня эпизоде. Ему хватало моей молчаливой признательности: мы больше никогда не касались этой темы.

Володя был воплощением не афишируемой дружбы, верным адептом цветаевской формулы: «Дружба — это действие». На его рыцарском шлеме слово *дружба* имело вид фамильного герба. Никогда больше я не встречал в жизни человека, столь преданного этому мушкетёрскому духу, так фанатично его отстаивающего.

Глава четвертая.

ТАТЬЯНА. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Сева Абдулов — имя это в наших разговорах с Володей и Таней упоминалось в ту пору постоянно, — вызывал у меня смешанное чувство любопытства, пиетета и ревности. Неудивительно, что он и оказался первым из друзей Высоцкого, с кем я познакомился у себя дома. Актер МХАТа, «Севочка», как с нежностью называл его Володя, — был, казалось, привязан к нему восторженной мальчишеской дружбой, той бескорыстной порывистостью, которая, увы, покидает наши сердца в зрелости. За все годы моего общения с Володей именно Абдулова я видел рядом с ним чаще всего.

Вернувшись со съемок «Красной палатки» из Таллина, я узнал, что Мишель уже успела перезнакомиться с ближним кругом Высоцкого той поры. С легкой руки Володи и Тани превратившись в хозяйку салона, она раньше меня увидела Артура Макарова и Жанну Прохоренко, кинооператора Лешу Чардынина с Ларисой Лужиной, некоторых актеров «Таганки». Не было только близкого друга Высоцкого со школьной скамьи, поэта и инженера Гарика Кохановского, внезапно уехавшего работать журналистом в Магадан. Излишне говорить, что все эти мужчины из окружения Высоцкого казались мне тогда прямо-таки наполеоновскими маршалами.

Было лето 1968 года, и чудная, бестолковая киношная жизнь разбрасывала нас по городам и весям. Володин поручик Брусенцов неприкаянно метался по обреченному Крыму, я же находился в совсем иной кинореальности, и только начавшиеся павильонные съемки столкнули нас в мосфильмовских коридорах. Во время одной из таких внезапных встреч Володя затащил меня на просмотр только что смонтированной картины «Служили два товарища».

И вот однажды летом ко мне влетела взволнованная Таня.

— Володя у меня. Представляешь, он мне сказал: вези меня к Давиду.

Я догадывался, как хочется Тане, чтобы мы с Володей сблизились. Друзей у нее практически не было, к нам же с Мишель она была сильно привязана. Да и не все Володины друзья вызывали у нее восторг.

Оставив Володю ночевать у нас, она поехала к себе на Профсоюзную, наказав мне ни в коем случае не давать ему пить. Ближе к полуночи дремавший на диване Володя в деликатнейшей форме попросил достать что-нибудь выпить. И добавил:

— Когда *тебе* будет плохо, я помогу.

Отказать человеку, в которого я давно уже был тихо влюблен, было выше моих сил. И презрев строгие наказы Тани, я устремился к стоянке такси. Когда через пару часов я вернулся с бутылкой, добытой только благодаря азартной настойчивости таксиста, Володя уже крепко спал.

Чуть позже Мишель придумала куда менее трудоемкий способ ночной добычи спиртного. Бутылка джина, который так любил Володя, стоила в барах «Националя» и «Метрополя» сущие гроши. В Европе за эти три-четыре доллара вы могли осушить разве что пару бокалов пива. Воистину Москва в ту пору являлась самой халявной столицей планеты. Иностранцы, с которыми мне доводилось работать, и не скрывали этого: «Здесь нас принимают великолепно. Да, мы знаем о ваших проблемах со свободой личности, но и вы смотрите на Запад сквозь розовые очки».

Отправляясь в ночной бар, я, чтобы избежать осложнений, непременно брал с собой, кроме валюты, и французский паспорт жены. Как по волшебству открывал он двери бражничающей интуристовской Москвы. В глазах мнительных швейцаров его скромненький синий переплет выглядел мандатом избранника судьбы.

Ничто так не сближает людей, как ночь, проведенная под одной крышей, и пустячная беседа за утренним чаем. Каждая Володина ночевка исподволь крепила нашу взаимную приязнь. Атмосфера моей обители была ему явно по душе. Несколько сумбурная, но бодрящая эклектика ее интерьера действовала на него успокаивающе. Над «его» синим югославским диваном висел увеличенный фотопортрет Мандельштама; наискосок — над встроенным в книжный шкаф баром — печалился выдранный из синего двухтомника Блок. На другой стене мирно соседствовали иконы Божией матери с Николаем Угодником и зимний пейзаж нашего друга Николая Дронникова. Довершал эту уютную дисгармонию пришпиленный над притолокой входной двери черный прямоугольник ватмана. Исполненный витиеватым канареечным шрифтом антидантовский лозунг Игоря Северянина «Я трагедию жизни претворю в грезофарс» оставлял толику надежды каждому входящему. А на журнальном столике в красочных конвертах вразброс лежали диски французских шансонье и русских эмигрантов. У нас дома Высоцкий и услышал впервые знаменитых Жоржа Брассанса, Лео Ферре, Жака Бреля. Кстати, больше всех ему нравились Азнавур и Алеша Дмитриевич.

Но была еще одна пластинка... Теперь, задним числом, в полной мере осознавая всю мощь таланта, отпущенного Высоцкому Богом, задумываясь о самом таинстве творчества, невольно пытаешься хоть на йоту проникнуть в темные глубины его бессознательного, понять, как и из чего все это рождалось.

Итак, «Волки в Париже» Видали-Бессьера. «Ле лу, ле лу», — «волки, волки», — срывался с черного винила жесткий баритон Сержа Реджани — никому здесь не известного французского киноактера и певца. Тревожная дробь барабанов, совпадающая с ритмом пульса. Это уже нечто из физики — совпадение резонансных волн, разрушающих каменные мосты. Напрягшись, Володя целиком уходит в этот голос, чем-то напоминающий его собственный. Спустя годы я услышу эти пульсирующие барабаны во французской аранжировке «Охоты на волков».

Конечно, Мишель вкратце пересказала содержание этой антифашистской песни Володе, но не сам по себе текст интересовал его, а манера исполнения Сержа Реджани, мастерская имитация им волчьего воя. «Ле лу-у-у-у», — этот воющий рефрен, пропущенный сквозь сердечную смуту Высоцкого, и послужил первотолчком к созданию «Охоты на волков», чудесным образом трансформировав безжалостную стаю агрессоров в «желтоглазое племя» вечно гонимых. Вообще, казалось, этот вчерашний озорник с Самотеки был привязан к Франции какой-то незримой фатальной нитью. Долго еще теребили его пытливое сердце эти аллегорические «французские» волки. Хулиганистым Вийоном врывался он неурочным ночным звонком в беспечную тишину нашей спальни, и в заспанное ухо чертыхающейся Мишель неслось: «Ле лу-у-у-у!» На какое-то время этот волчий клич стал дурашливым паролем его очередной песенной удачи. Если из ночной трубки вместо приветствия или извинения неслось «ле лу-у-у-у!», то за ним, как правило, следовало: «Ребята, какую я сейчас песню написал!..»

За полгода до смерти, выступая в московском ВНИИЭТО, Высоцкий неожиданно вернется к взбудоражившим его волкам с той французской пластинки: «Есть люди во всем мире, которые поют с одной гитарой и только на одних ритмах исполняют многие песни: например, Серж Реджани, который был знаменитым актером, да им и остался. Он поет песню «Les loups sont arrives a la Paris». «Ле лу-у-у-у», — там нет совсем никаких мелодий, он просто играет один аккорд, чтобы все больше усилить на вас воздействие». И неважно, что Реджани поет с оркестром и без гитары, что название песни искажено, что в ней есть мелодия, и далеко не примитивная. Куда важнее «волчья» перекличка Высоцкого с Реджани

спустя 13 лет!

* * *

...В один из душных московских вечеров, когда жара уже стала потихоньку спадать, мы сидели у меня на Ленинском с Андреем Тарковским. Сближение наше началось весной 1968 года в Репино, где в Доме творчества кинематографистов проживала съемочная группа «Красной палатки». Вместе с драматургом Мишариным Андрей работал там над сценарием «Зеркала». Александра Мишарина, как представителя советской творческой интеллигенции, упомянул я не случайно. Блестящий интеллектуал и эрудит с манерами русского барина, он являл собою граничащее с брезгливостью олицетворенное неприятие Высоцкого-барда. Действовал Высоцкий на него препогано. Казалось, в благозвучие его обмякшего внутреннего мира нахальной фистулой, внося разброд и сумятицу, врывался сомнительных достоинств дилетант, хамски покушаясь на обветшалую гармонию дворянских усадеб.

Тогда, в бывшем Териоки, держали мы при себе, словно перчатку с руки прекрасной дамы, томики стихов. У Тарковского это были Пушкин и Пастернак, у меня — Баратынский и Мандельштам. Любовь к поэзии, слабость к Достоевскому плюс антипатия к Карлу Марксу быстренько нас в ту пору и сдружили.

...Итак, июньская духота навела наши утомленные мировыми проблемами мозги на простую мысль о бутылочке прохладного сливового сока, до коего Андрей был весьма охоч. Отоварившись, на обратном пути мы внезапно столкнулись с выходящей из подъезда театральной парой. Увидев нас вместе, Володя несколько растерялся. Ведь Тарковский был для него прежде всего воплощением «прекрасной эпохи» Большого Каретного, и, видимо, в его сознании моя физиономия плохо совмещалась с невесть откуда взявшимся приятелем юности. Как бы то ни было, я пригласил его зайти. Не знаю, где эта пара собиралась провести вечер, но только минут через пятнадцать они уже стояли на пороге. Со стороны все выглядело сдержанно и чуть настороженно, словно какая-то граница напряжения держала Андрея и Володю по разные стороны от себя, не давая сблизиться. Позже Володя поведал мне об одной малоприятной истории, основательно омрачившей их отношения. Однажды, загуляв, он не явился в назначенное время в студию, чем сильно подвел Тарковского, пригласившего его участвовать в каком-то радиоспектакле. Володя и не думал оправдываться:

— Я поступил по-свински. После этого мне стыдно ему в глаза смотреть.

Вчетвером мы оставались недолго: Володиному такту (когда он не пил) позавидовал бы иной аристократ. Когда ребята ушли, разговор, само собой, коснулся и Володи. Оказалось, что Тарковский режиссер оценивает Высоцкого-актера весьма скептически:

— Актер он неважный. А вот песни, без дураков, замечательные. «Банька» — это вообще...

Своего мнения он не изменит и позже. Посмотрев «Гамлета», изречет:

— Когда он выходит на сцену с гитарой, мне делается за него стыдно.

Быть может, здесь сказывалась и его антипатия к Любимовскому театру как форпосту советского авангардизма. Но все равно, к Володе Тарковский относился с большой теплотой, хоть и с долей снисходительности. Как рафинированный интеллектуал — к талантливому самородку. А будь иначе, разве позволил бы он себе столь недвусмысленно нарушить кодекс дружбы Большого Каретного: пригласить в свой фильм жену товарища, найти ей внезапную замену и известить об этом через секретаршу? Я имею в виду случай, когда приглашенная Тарковским на роль матери в фильме «Зеркало» Марина Влади была внезапно заменена Маргаритой Тереховой.

Однажды я спросил:

— Володя, если бы *ты* был режиссером, кому бы дал роль: другу или посторонней знаменитости?

— Конечно, другу, — отреагировал он мгновенно, — а ты что, имеешь в виду Андрея?

Кого же еще я мог подразумевать?

Разговор происходил еще до этой неприглядной истории с «Зеркалом», после которой Володя с Андреем долгое время не общался.

Видимо, из факта моей близости с Тарковским очень высоко — до преклонения — ценивший его Володя сделал далеко идущие, но явно поспешные выводы. Как-то он поделился со мной своими ближайшими творческими планами, судя по которым, его бурной талантливости не сиделось на месте. Быть может, в самой идее сочинить киносценарий и не было ничего предосудительного, если бы не обескураживающий выбор героя и соавтора.

— Давай напишем сценарий про генерала Власова, — сразил меня снайперским дуплетом абсолютно трезвый Володя.

— ??? — полюбопытствовал я, прежде чем испустить дух.

— А ты знаешь, что это он освободил Прагу?..

Вот этого я не знал. Вообще, одиозная фигура генерала никогда меня не вдохновляла, и еще менее вдохновляла его нелепая идея освободить Россию от тирании Сталина штыками Адольфа Гитлера. Однажды Германия уже устраивала русские судьбы: разве не немецкие деньги привели большевиков к власти? По всей вероятности, Володю, с его обостренным чувством личности, занимала судьба военачальника, поставленного ходом Истории перед невеселым нравственным выбором между холерой и чумой.

Да, но я-то тут при чем, когда вокруг него столько профессиональных сценаристов: от Гены Шпаликова до Фрида с Дунским? Может быть, в этом странном выборе какую-то роль сыграл авторитет Тарковского, державшего меня — как я узнал от Володи — за непримиримого «контру». В сущности, так оно и было: по нормальным меркам я ощущал себя яблочком с червоточиной, далеко откатившимся от породившей его яблони. Может, в глазах Володи такое определение моих умонастроений и давало шанс на объективную оценку роли генерала в минувшей войне. Но вот с какой стати он заподозрил во мне еще и наличие творческой жилки, так и осталось для меня загадкой.

* * *

Мелькали дни, недели, месяцы. Наши новые друзья стали бывать у нас уже не только после спектаклей, и мы невольно втягивались в занимательную интригу этого театрального романа. Они казались неразлучной парой: Володя нередко брал с собой Таню даже на съемки фильмов, в которых участвовал. Чаще всего — в Ленинград и Одессу. Времени Володе вечно не хватало, и Мишель добровольно взвалила на себя функции личного водителя. Чтобы не опоздать на «Красную стрелу» или на внуковский рейс, ей приходилось постоянно превышать скорость и игнорировать дорожные знаки. Законное негодование обгоняемых не по правилам частников она парировала виртуозным русским матом, так не вязавшимся с ее интеллигентным обликом и иностранными номерами машины.

Заботливость и преданность Татьяны было трудно не оценить. Из своей нищенской зарплаты она умудрялась что-то выкраивать для подарков тогда уже небедствующему «ведущему актеру». Однажды она повезла меня в какой-то задрипанный универмаг у черта на куличках, где накануне «выбросили»

фасонистые брюки чехословацкого производства. Тане удалось подбить и меня стать их счастливым обладателем. Пришлось выложить за них свои кровные одиннадцать целковых, в итоге мы с Володей все лето прощеголяли в этих дефицитных штанах мышиного цвета. Сама же она от подношений щедрого кавалера отказывалась наотрез.

А была она хороша собой необычайно — создатель потрудился на славу. Сокрушающая женственность внешнего облика завораживала, вызывая неодолимое, немедленное желание выказать себя рядом с ней абсолютным мужчиной и раз и навсегда завладеть этим глазастым белокурым чудом. Но не тут-то было. За хрупкой оболочкой ундины таилась натура сильная, строптивая, неуступчивая. Татьяна виделась мне пугающим воплощением физического и душевного здоровья, и по-армейски прямолинейная правильность ее жизненного графика обескураживала. Принципиально непьющая и некурящая, волевая и уверенная, — как разительно отличалась она от своих юных сестер по ремеслу, разноцветными мотыльками бестолково порхающих в свете рампы.

Видимо, вот эта ее холодноватая цельность и притягивала Володю. Ведь в точке опоры более всего нуждаются люди, наделенные обостренным чувством дисгармонии мира. Впрочем, ковыряться в чужих душах — дело неблагодарное. Оперировать здесь можно не аксиомами, а только гипотезами. Так вот, создавалось впечатление, что резкие рамки Таниного норова отторгали мужественность Высоцкого. Да и в любви ее к Володе сквозило нечто деспотическое: словно ей хотелось перекроить его на свой лад, чтобы легче им манипулировать. Ее красивая головка была битком набита залежалыми догмами школьной поры о повальном равенстве и равноправии. А мудрая сталинская сентенция: «Незаменимых у нас нет» становилась в ее руках инстинктивным оружием самозащиты и наступления. Ведь Таня не уставала повторять, что любит его «как простого русского мужика», что на его славу и фамилию ей решительно наплевать. Иными словами, в угоду равенству и справедливости Божий избранник должен ощущать себя заурядностью. Ну чем не шигалевщина в женской редакции? Интересно, как бы отреагировала сама Таня на такое предложение своего избранника: «Спору нет, ты прекрасна, как морская царевна, но, в угоду мне, потрудись вообразить себя болотной кикиморой. И веди себя соответственно».

Очевидность состояла в том, что простых, крепких парней в России пруд пруди, но только он один — от Карельского перешейка до Курил — был до спазма необходим всем. Поэтому любая попытка монополизировать Высоцкого была заведомо провальной, но властнические аппетиты Татьяны возрастали пропорционально его деликатности.

Лето 1969 года застало меня в Ужгороде, где снимались батальные сцены фильма «Ватерлоо».

В начале июня я получил письмо от Мишель — ещё одно подтверждение огорчительной самонадеянности и близорукости нашей неотразимой соседки: «Вчера нас удостоил своим визитом наш друг — знаменитый бард со своей экс-любимой. (Роман Высоцкого с Влади — в самом разгаре! — *Д. К.*). Поскольку тут была случайно гитара (у одного приятеля Саши), он спел свои последние песни. Т. была очень-очень недовольна и кривлялась, как обычно: спой то, не пой другое; а кончилось тем, что она ушла на площадку, а он за ней, и там целый час они в очередной раз выясняли отношения, — всё возмущались. В. передает тебе большой привет. Я всё-таки его люблю; он, по-моему, самый лучший из всех знакомых...»

Судя по всему, в Марине Влади серьезной соперницы Татьяна никогда не видела и поступаться своим в угоду суровой реальности не намеревалась. Вспомнилось Володино растерянное и удрученное лицо: «Я просто не знаю, что с ней делать. Вчера случайно встречаю на улице старого знакомого. Не успели мы с ним перекинуться парой слов, как вмешалась Таня: «Ну все, хватит, пошли». Представляешь?»

Женщины такого склада души любят только однажды — беззаветно, глобально, но не безоговорочно. Бог с ним, с самоотречением. Чуточку чуткости, капельку кротости — и цены бы им не было. А так...

Увы, истории любви не имеют сослагательных наклонений. Какие высокие, яркие замки рушатся средь бела дня от башенок до фундамента, превращаясь в горстку серого пепла...

Мы вновь встретились с Таней много-много лет спустя. Она изменилась мало. Сдержанная и закрытая, рассказала о своей личной жизни совсем немного. Можно было лишь догадываться, что красота ее притягивает все новых завоевателей. Но Его планка была слишком высока: самые безупречные из кандидатов имели единственный, но существенный недостаток — они не были Им.

Но тогда, в августе шестьдесят восьмого, ничто, казалось, не предвещало появления соперницы столь грозной, по-настоящему опасной. Лесная нимфа и ундина уже стояли на одной стежке, еще не догадываясь друг о друге.

Был вечер, обычный душный летний вечер. Погруженный в ничегонеделанье, я, развалясь, сидел в кресле с растрепанным томиком стихов и открытой бутылкой вина. Суматошный звонок вернул меня на землю, и я нехотя поплелся к двери. На пороге стояли они. Володя — с гитарой, навеселе и сверхвозбужден:

— Включай магнитофон. Я спою «Цыганочку». Ты же хотел меня записать?

Бог ты мой, об этом можно было только мечтать! Но Таня быстро умерила мою эйфорию, мягко осадив великодушный порыв Володи:

— Ну не надо тебе сейчас петь.

Легко уступив и лишив меня заветной записи, он закрутился по комнате. Слишком сговорчивый и слишком взбудораженный. Потом, подхватив под руку, увлек меня в спальню и плотно прикрыл дверь.

— Какая женщина! Если бы ты видел, Давид! Какие волосы!

Приобняв, обдает меня смутой полуфраз, восторгом междометий, и видно, что радостен, наполнен до краев, захлебывается:

— Марина...

И, кажется, еще сам себе не верит, как мальчишка, заходясь от нахлынувшего половодья нечаянно грянувшей весны...

А вскоре упорные пересуды о новом романе докатились и до кулис «Таганки», застав Иваненко врасплох. Ведь Марину она уже видела в ВТО, сидела с ней за одним столом со «своим» Володей вместе с другими «таганцами». И вдруг эта собачья чушь в обличье упорно муссируемого слуха. Поверить в измену было невозможно. Даже его вступление в ряды КПСС показалось бы меньшим абсурдом.

И тогда на помощь пришел коллектив... Самые участливые предложили воочию убедиться, что людская молва отнюдь не всегда превратна. Необходимо было лишь попасть в квартиру старинного приятеля Марины, московского корреспондента «Юманите» Макса Леона. Пусть даже незваной гостьей. И, примкнув как-то раз к собиравшимся туда Золотухину с Шацкой, Таня в этом преуспела. Конечно, в тот вечер Высоцкий и Влади тоже находились там. Оставалось накрыть их тепленькими. Увидев Шацкую с Иваненко, не чуявшая никакого подвоха Марина искренне обрадовалась:

— Как хорошо, что вы пришли, девочки.

И хотя само присутствие гипотетической соперницы в этом доме еще ни о чем не говорило, женский инстинкт и некоторые нюансы быстро убедили Татьяну, что никаким оговором здесь и не пахнет. И она не придумала ничего лучшего, как объясниться с коварной разлучницей с глазу на глаз и немедленно. Настал черед удивляться Марине, которая резонно посоветовала Тане выяснить отношения непосредственно с

самим виновником возникшей смуты. Но та уже закусила удила:

— Марина, вы потом пожалеете, что с ним связались. Вы его совсем не знаете. Так с ним намучаетесь, что еще вспомните мои слова. Справиться с ним могу только я.

Спустя несколько лет, вспоминая этот инцидент, Марина заметила:

— А ведь эта актерка была тогда права. Мне действительно тяжело. Но что до такой степени, я, конечно, не предполагала.

Пообещав конкурентке, что Он вернется к ней, стоит ей пошевелить пальцем, разгоряченная воительница, развернувшись, вышла. В гостиной увидела подавленного, но не потерявшего головы Володю.

— Таня, я тебя больше не люблю, — спокойно вымолвил он и, схватив со стола бутылку, стал пить прямо из горлышка. И — после этого вечера сорвался в запой.

«Я, конечно же, понимала, что Марина нужна ему, а тут я своим появлением ломаю все его планы», — вспоминала Татьяна много лет спустя.

От этой горькой развилки каждый пойдет своим путем. И некому пенять, и некого винить: «И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет...»

Глава пятая.

НЕГЛИНКА. РЕСТОРАН «АРАРАТ»

Угроза неотвратимого отцовства застигла меня врасплох — такого «коварства» от любящей жены я не ожидал. Наши бесконечные препирательства завершились галантным компромиссом в рамках законов природы — моя капитуляция в обмен на мой же эротический карт-бланш. Тайный поклонник белого брака и непорочного зачатия, чем мог я парировать грозный окрик джунглей: «Дайте ребенка Мишель Кан!»

Не доверяя бесплатным советским родам, даже в спец-больнице для иностранок, Мишель отчалила на Родину за целых три месяца до грядущего события. В конце ноября она привезла из Парижа увесистый красноречивый пакет, из которого на меня укоризненно взирала пара чёрных-пречёрных глазищ.

Не успев толком опомниться, ещё продолжая грустить о романтических миражах, я в одночасье стал обер-обывателем с вменёнными природой функциями, подталкивающими к солидности — благоразумию и косности. Если бы в те годы я вёл дневник, то там непременно появилась бы запись: «У меня дочка. На душе муторно. Какая гадость это ваше отцовство!»

В качестве отца двоих детей Володя уловил мой душевный дискомфорт и предложил развеяться в каком-нибудь питейном заведении. Я решил, что реквием по свободе должен прозвучать в национальном исполнении и выбрал гастрономический кусочек Родины на Неглинке — ресторан «Арарат». Прогрессивная Мишель рискнула оставить полуторамесячную девочку одну, без всякого присмотра. Заметив наше изумление, она прочла нам краткую лекцию о фатальном отставании отечественной педологии от западной, о чём говорило хотя бы отсутствие трудов доктора Спока на русском языке.

— Ребёнка нужно приучать к самостоятельности уже с колыбели! — вещала новоиспечённая мать-изуверша. Опасность табачного дыма для детского организма также оказалась глупым советским предрассудком и доказательством нашей дикости. Не читавшие доктора Спока, пристыженные, мы внимали, не веря собственным ушам. Затем, с помощью верной Татьяны, она намертво прикрутила безропотного младенца какими-то ремнями и шурупами к специальному, привезенному из Франции, креслу. Оставалось только залепить малышке скотчем рот. Окончив эту инквизицию на дому, наши спутницы жизни отправили нас занимать места в ресторане, пока не уснёт ребенок. Вызвав меня на кухню, Таня взяла с меня слово не давать пить Володе до их прихода — он уже был в лёгком подпитии и мог сорваться.

Через полчаса мы стояли с Володей у входа в ресторан. Ещё в такси Володя предупредил меня, что позже к нашему застолью присоединится Гарик Кохановский, прилетевший в отпуск из Магадана.

В честь вступления в должность отца я облачился в свой лучший костюм, затянул на шее подарок тёщи — узкий бордовый галстук — и теперь чувствовал скованность в движениях и перспективах. Узел идиотской удавки недвусмысленно намекал на сужение моих прав в пользу обязанностей.

Ресторан «Арарат» не был ни фешенебельным заведением типа «Савоя», ни таким модным, как «Арагви» или «Узбекистан». Его скромные достоинства заключались прежде всего в приемлемых ценах и отменной домашней кухне. Её козырными блюдами считались хаш и шашлык на рёбрышках.

Постхрущёвская эпоха резко изменила контингент завсегдатаев: скромных командировочных из

трудовой Армении сменили торгаши, подпольные дельцы и расхитители социалистической собственности. Скверненький оркестр народных инструментов музицировал так ненавязчиво, с такими долгими паузами, что к моменту закрытия ресторана все исполнители были пьяны в лоскуты. В отличие от соседнего уютного одноименного кафе с бамбуковыми шторами, хорошо знакомого Володе по дням его юности, девушек здесь практически не водилось: какие уж танцы под завывание зурны и шорох купюр.

Мажордомом и главной достопримечательностью этой пародии на армянский клуб был некто Марат. Его предыстория мне виделась так: долгое время он служил надсмотрщиком на галерах, затем был взят на воспитание в почтенную викторианскую семью, где ему наспех привили весь набор джентльменских манер.

Гримаса беспредельного презрения к роду человеческому застыла на его изнемогшем от духовного тренинга лице. Всё обличало в Марате вечный траур души — глаза, волосы, ногти, казённая униформа. Он выглядел какой-то ресторанной версией «мировой скорби».

С высоты своего духовного величия он с брезгливым состраданием взирал на нехитрые утехи «малых сих», бесповоротно увязнувших в этом водовороте чревоугодия. Для меня оставалось загадкой, как он, с таким высоким духовным потенциалом, очутился и удержался в этой классической кормушке эпохи раннего застоя.

Кажется, из общей массы узников плоти он несколько выделял служителей Мельпомены. Увидев меня пару раз в компании иностранных актёров, он слегка мною заинтересовался, но «пафос дистанции» продолжал блюсти неукоснительно — ведь прежде всего я был его соплеменником, а их он явно не жаловал.

Я видел, как панически его боится обслуживающий персонал: при его появлении официанты сутулились, а швейцары стыдливо опускали глаза. Как-то я спросил у Марата, не бегут ли его мамелюки из заведения. Метрдотель презрительно ухмыльнулся:

— В том мире, где царствует желудок, моё имя кое-что значит, и, если человек уходит, его характеристика остаётся. В моём сейфе. Нет, они очень довольны, — убедил он скорее себя, чем меня.

Позже я узнал о его тайной страсти. Мажордом был заядлым коллекционером — видимо, его духовная жажда утолялась при виде фотографий и автографов знаменитостей. Годы спустя мне удалось увидеть его уникальный альбом с набором мировых имён — от Дуайта Эйзенхауэра до Владимира Высоцкого.

В надежде найти приют у мэтра Марата мы и отправились в «Арарат». Перед входом в зал стояла небольшая очередь, и швейцар не излучал флюидов гостеприимства. Только весть о болезни Марата могла застать меня врасплох, но я верил в его несокрушимое здоровье. Кроме того, пару недель назад он видел меня в компании великих мира сего — Сергея Бондарчука и знаменитого продюсера Дино Де Ла-урентиса. Марат выделил нам тогда отдельный кабинет, где мы, в узком кругу участников съёмочной группы «Ватерлоо», непринужденно выпивали и закусывали.

Именно в тот вечер, не веря собственным ушам, я услышал мнение Де Лаурентиса об иерархической лестнице мирового кинематографа:

— Сегодня в мире есть не более пяти режиссёров экстра-класса. Это — Феллини, Бергман, Куросава и Бондарчук. Ну, может быть, ещё Антониони. Все прочие — хорошие профессионалы, не более.

Четвёртого из этого квинтета бессмертных я запамятовал — то ли это был Висконти, то ли Росселини. Бондарчук сдержанно поблагодарил, но комментировать этот золотой тост с грузинским привкусом не

стал. Пользуясь отсутствием любящей, но бдительной красавицы жены, он больше налегал на весьма ценимый им марочный армянский коньяк. Что он на самом деле думает по этому поводу, Сергей Фёдорович выскажет несколько позже.

Меня уже тогда удивило поведение Марата. Пару раз он просовывал свою траурную голову в дверь кабинета, проверяя расторопность официантов. Но выражение его лица оставалось скорбно-невозмутимым и как бы говорило: «Я отдаю должное вашей сообразительности. Я и не сомневался, что именно *ко мне* вы придёте». Весь вечер он был так же снисходительно корректен, как обычно, и не проявил никаких признаков подобострастия. Даже автографов не попросил.

И всё-таки сегодня я надеялся на милосердие Марата. Бросив на ходу: «У нас заказано», — я протиснулся к двери и постучал. Очередь охватила нервная дрожь. При магическом имени «Марат» насупленная физиономия швейцара изобразила нечто похожее на улыбку. Вскоре возник и сам величаво-сосредоточенный метрдотель. На его лице появилось какое-то новое, ранее мне неизвестное выражение. Я не успел с ходу расшифровать его гримасу, но впечатление было такое, что он только что продегустировал фальсифицированное вино, которым его буфетчики потчевали командированных лохов из глубинки. При его появлении очередь перестроилась в каре и встала дыбом. Марат, оценив мой костюм и тоскливую торжественность во взоре, нехотя процедил:

— Ты проходи!

На Володю, скромно стоявшего сзади меня, он никак не прореагировал. Очередь глухо зароптала, но молчание метрдотеля всегда было красноречивее его слов. Он полоснул взалкавших справедливости сограждан таким кинжальным взглядом, что те автоматически вновь выстроились в шеренгу.

Володя двинулся было вслед за мной, но Марат, придирчиво оглядев его неказистую внешность, преградил ему дорогу:

— А ты нет!

Судя по злорадному оживлению, очередь полностью одобряла революционную бдительность армянского тёзки «друга народа».

— Марат, он со мной, и мне нужен столик на пять персон, — в моём голосе странно переплелись лёгкий подхалимаж и тайное раздражение.

— Но он же поддатый, — брезгливо прошелестел по-армянски «друг народа».

Я на глазах терял последние крупицы его призрачного благоволения. Я понимал несложный ход маратовых мыслей: «Питер Финч, Сергей Бондарчук, Дино Де Лаурентис и вдруг какой-то сомнительный тип, по виду — завсегдатай пивбара на Пушкинской». Да, природа явно обделила Марата интуицией. На фоне булгаковского Арчибальда Арчибальдовича он выглядел распустившим хвост напыщенным павлином.

На ресторанную карту была поставлена моя фамильная честь, и я пошёл ва-банк. Мажордом так талантливо симулировал интеллект и спекулировал духовностью, что вынуждал меня апеллировать непосредственно к ним. Придав своему лицу выражение недоумения, я наклонился к Марату и, по-армянски же, злобно прошипел в его ушную раковину:

— Да ты что, в самом деле не узнаёшь его? Это же Высоцкий!

Марат отпрянул от меня и несколько секунд, как сомнамбула, оторопело разглядывал Володю. Перед этой мизансценой, срежиссированной жизнью, знаменитая немая сцена из «Ревизора» казалась притянутой за уши тщедушной театральщиной. Изумление ресторанного Марата, по крайней мере, не уступало изумлению его французского двойника, внезапно увидевшего занесённый над собой кинжал

Шарлоты Корде.

На всякого Марата имеется свой Давид. Не тщась соперничать с виртуозной палитрой французского коллеги, я ограничусь беглым карандашным наброском в скромной манере передвижников. С «моего» Марата стремительно слетела эффектная театральная личина «апостола гибели», и срывающимся от волнения голосом рядового санкюлота он обратился к Володе:

— Ну не узнал! Ну прости, Володя! Хочешь, встану на колени?

Володя только усмехнулся и переступил порог ресторана. Я был оглушён и ошарашен, хоть ещё не до конца понимал подоплёку добровольного уничижения Марата. «Неужели «Вертикаль»?» — только и мелькнуло у меня в голове.

Очередь же, обессиленная заключительным аккордом, была в замешательстве: видимо, она приняла Высоцкого за одного из корифеев торговой мафии. Нельзя было иначе объяснить внезапную метаморфозу грозного ресторатора. О чём-то шушукаясь, она провожала нас взглядом, взыскующим социальной справедливости: «...Ведь *мы* в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят...»

Кульминация эпизода придала нашей торжественной вылазке недостающую пряность. Обезоруженный Марат выглядел именинником и проявлял чудеса кавказского гостеприимства. Для официантов это был чёрный день: понукаемые шефом, они стремительными стрижами рассекали застоявшийся под низкими сводами ресторана воздух.

В ожидании наших запаздывавших барышень мы взяли бутылку коньяка, и оживившийся Володя стал увлечённо рассказывать о Гарике Кохановском, о своей недавней поездке в Магадан, вдохновившей его на известную песню. Было очевидно, что в Кохановском Володю привлекали прежде всего азарт, напор, соблазн преодоления барьеров — всё то, чем он сам был наделён с избытком. Но больше всего их сближала готовность поставить вот так, за здорово живешь, на кон гарантированный минимум благополучия ради ухарского русского «авось».

Со слов Татьяны я представлял себе Кохановского сильным, уверенным, привлекательным. Она сама признавалась, что если бы не было Володи, то, не раздумывая, выбрала бы Гарика. Но она же была и единственной, кто открыто, но как бы в шутку, называл его Сальери. Само собой подразумевалось, что Моцартом был Володя.

Всё это подогревало мой интерес, и я с нетерпением ждал человека, которому Володя посвятил знаменитую, запавшую в душу песню «Мой друг уехал в Магадан». Увидеть за одним столом сразу и Моцарта и Сальери — такой шанс судьба предоставляет не часто.

Вскоре появились эскортируемые швейцаром наши верные спутницы, явно довольные и жизнью, и собой. Их туалеты и внешние данные ещё больше вдохновили Марата, и — случай неслыханный — он пожелал обслуживать нас собственноручно. Кажется, впервые вид собирающихся поужинать гостей не вызывал у него омерзения. В нём вдруг проснулась летучая лёгкость Фигаро. «Лично от себя» он преподнес нам поднос с сыром, зеленью и графинчиком эксклюзивного коньяка.

Растроганный, я предложил ему выпить с нами по рюмочке. Наполнив стопки, серьёзный и взволнованный, мэтр приготовился что-то произнести. Но манипуляции Марата вокруг нашего стола не прошли незамеченными для успевших уже изрядно нагрузиться кутил-завсегдатаев. Они никак не могли взять в толк, почему неприступный мажордом так суетится перед каким-то затрапезного вида русским.

За соседним столом пиршество было в самом разгаре. Судя по цветистости несмолкаемых тостов, их виновником был юный экс-стажер «Ла Скалы» и вице-лауреат какого-то конкурса вокалистов с достаточно

громким именем. Разомлевший от марочного коньяка и патоки здравиц, этот Муслим Магомаев армянского разлива мысленно уже видел себя кумиром миланских меломанов. Пока же он устраивал в «Арарате» бенефис в честь самого себя.

Увидев рядом с Володей изготовившегося к спичу Марата, свита баловня фортуны не на шутку занервничала и, пытаясь перехватить инициативу, принялась усиленно приваживать мэтра на своё застолье:

— Марат-джан, выпей и с нами рюмку. Просим к нашему столу, дорогой!

Зашевелились, заголосили туловища и с других столиков:

— И с нами, Марат, и с нами. По рюмочке, дружище.

Все вдруг захотели приобщиться к «другу народа».

Метрдотель красноречивым жестом прервал буйство демократии, в которой, не без основания, подозревал симптомы нравственной деградации, и, оглядев соплеменников взглядом, полным высокой грусти и бесконечного сочувствия, попросил тишины:

— Вы знаете, что на работе я никогда не пью. Если сейчас я изменяю этому правилу, то только потому, что перед вами, — Марат сделал выразительную паузу (я не сомневался, что мысленно он её заполнил словом «животные»), — сидит единственный человек в стране, который говорит *правду*.

Правда, слово «правда» прозвучало почти бестактно среди подпольных аферюг и торговых тузов, но произнёс его Марат, а в мире нелегальной наживы он пользовался огромным авторитетом.

Мажордом буквально на глазах набирал утерянную было духовную высоту. Пока он произносил свою тираду, не звякнула ни одна вилка, не зазвенел ни один бокал — иметь врагом мсье Марата было непозволительной роскошью даже для них.

— Отныне, — заключил, чокнувшись с нами метрдотель, — двери этого ресторана открыты для тебя в любое время, ты — мой самый дорогой гость, Володя! Сегодня у меня — праздник.

Это был уже открытый вызов привычной клиентуре. Кроткая терпимость окончательно покинула Марата, в нём опять забушевал его кровожадный предок по какой-то немыслимой боковой ветви. С каким упоением он отправил бы эти сытые туловища на Гревскую площадь! Сколько пустых голов скатилось бы с эшафота в осклизлую корзину палача! Но не во имя Добродетели, а ради торжества Правды! Его Жан-Жаком Руссо был Владимир Высоцкий!

Володя выслушал Марата без видимого удивления, но с явным удовлетворением: всё это его забавляло. Никогда еще отблески чужой славы не падали от меня так близко, но бесёнок тщеславия пока не подавал голоса: я был всецело поглощён анализом маратовского спича-экспромта. Он меня потряс. Только теперь мне стал раскрываться истинный масштаб фигуры ресторатора. Это казалось невероятным, но случившееся было недвусмысленной победой Слова над Славой. Ведь было очевидно, что под «правдой» подразумевались отнюдь не популярные песенки из «Вертикали», а пропитанные социальным смыслом зонги, в которых персонажи, выпавшие из «сплочённого большинства», пытаются сохранить лицо в тотально обезличенном мире. Поражало даже не столько то, что говорит метрдотель, а где он это говорит — в рассаднике загребущих клешней и мёртвых глазниц!

Мэтр Марат был просто неожиданным и отчасти нелепым вестником востребованности Высоцкого обществом, безошибочным индикатором духовной ситуации времени.

Впоследствии я неоднократно замечал странную закономерность — самые случайные люди в самых забытых Богом уголках знали и ценили его творчество больше, чем отогревшиеся в оттепель

«шестидесятники».

В контексте эпохи спонтанный спич в исполнении инородца-гастронома куда знаменательнее посмертных восторгов «прозревших» Эльдара Рязанова и Григория Чухрая. Парадокс заключался в том, что евангельское «не хлебом единым» эпоха вложила в тот вечер в уста формального апологета этого «хлеба» — кабатчика Марата, хотя он-то в лице Владимира Высоцкого как раз уже обрёл свой «хлеб насущный»...

Между тем лауреату-бенефицианту за соседним столом было обидно признавать своё безоговорочное фиаско. В попытке реванша его подбоченившееся «Я» даже разразилось парой-тройкой неаполитанских канцон, но его заливистое бельканто было не в силах разжалобить неумолимого «друга народа». Гражданин Марат на службе не пил!..

К счастью, Кохановский подъехал уже после Володиного апофеоза. Его широкое заполнившее весь стол «Ego» могло передёрнуться при виде этого реверанса в сторону друга. Он долго и интересно рассказывал о Магадане, о рутине журналистских будней, делился радужными матримониальными прожектами. Казалось, он весь был облит золотым сиянием. Когда он рассказывал о старателях, отблески золотой лихорадки отражались в сетчатке его глаз озорными искрами-бесенятами. Вернувшись в Магадан, он вскоре действительно устроился в старательскую артель.

Я оценил его целеустремлённость и полную независимость от Высоцкого. Было видно, что Кохановский не собирается отогреваться в лучах его славы, а выстраивает собственную линию жизни. Завораживала, но и настораживала эта брызжущая из всех пор его железного организма почти животная жажда жизни и наживы. Но меркантильная романтика такого толка прельщала меня мало. Выросший в пуританской семье, я всегда предпочитал созерцательного Обломова нацеленным на успех Штольцам. И всё-таки мечтательные изгибы моей души были не в силах преодолеть магию слова *Магадан:* резкий размен «златоглавой» на столицу Колымского края не мог не впечатлять, хотя «снимать шляпу» почему-то не хотелось.

Натиск воли, здоровая алчность в сочетании с «Бабьим летом» делали Кохановского фигурой явно неординарной. Тень гумилёвского конквистадора маячила за его спиной. Я живо представил себе Гарика в панцире и латах, потрошащим убогие чумы несчастных чукчей в поисках золотых слитков. Хотя ценимое Высоцким стихотворение Кохановского «Монолог Гарринчи» говорило и о ресурсах отзывчивости.

Как бы то ни было, Татьянина антитеза «Моцарт—Сальери» в контексте их близкой дружбы показалась мне тогда всего лишь безобидной формой мужской состязательности. Я придумал для неё даже термин — «здоровый сальеризм». Последовавшие вскоре события выявили всю меру моей наивности...

Через год, в порядке сверхкомпенсации, Кохановский сделает попытку соблазнить Володину любимую девушку, притом фактически в присутствии самого Володи, находящегося в отключке в соседней комнате. «Зачем тебе эта пьянь? Со мной ты будешь как у Христа за пазухой!» Из ложно понятого благородства, дабы не разрушать длительной дружбы, девушка умолчит о подлинном ходе событий. Хотя какая уж после этого дружба!..

Оказалось, что «сальеризм» и «здоровье» — понятия не сочетаемые, взаимоисключающие, что «сальеризм» — роковая, дотла разъедающая душу, ничем не компенсируемая болезнь. И он, конечно же, не сводится к заурядной зависти — в нём чрезвычайно силён элемент богоборчества. Сальеризм — это Каинова тяжба с произволом Творца от имени и во имя Справедливости, осмысленный и беспощадный бунт против божественного Беспредела. И социальная революция — всего лишь форма «коллективного сальеризма» — «штурм неба», отвергающего Равенство и её молочную сестру Справедливость. Точнее всех

об этом сказал М.Волошин:

«Справедливость» — мотор любой ипостаси сальеризма, её излюбленный лейтмотив, под который, дружно взявшись за руки, уныло плетутся её разлюбезные дочки: Обида, Зависть и Ненависть. Сальеризм — это судьба!

Через несколько лет, выйдя вместе с Володей с «Мосфильма» и собираясь садиться в его «Рено-16», мы увидели в ручке дверцы какую-то свёрнутую брошюру. Выдернув её и взглянув на обложку, Володя изменился в лице и протянул её мне:

— Посмотри-ка. Это он!

Это была тоненькая книжка маленького формата — первый поэтический сборник Кохановского. Я был в недоумении:

— Но какой смысл?

— Он всё время хочет мне что-то доказать. Ведь специально приехал, не поленился.

В голосе Володи не было ни злости, ни возмущения, скорее огорчение, смешанное с чувством какой-то метафизической вины перед бывшим ближайшим другом. Он как бы говорил ему: «Ну что я могу поделать, коли так решили небеса?»

Мне же стало ясно, что сальеризм в своей жажде реванша приводит ещё и к полной потере чувства реальности. Противопоставлять набранный в советской типографии тонюсенький сборничек оглушительной всенародной славе Высоцкого — было явным признаком самоослепления. Но в этом самообмане была своя логика — логика отличника, удостоившегося похвалы учителя. Следуя ей, Кохановский легко убедил себя, что сам факт издания сборника автоматически возводит его в разряд поэтов-профессионалов, оставляя непечатаемого Высоцкого в вечном статусе песенника-любителя. Его отнюдь не смущал крайне убогий критерий оценки поэтического таланта — воля или каприз дрожащего за своё кресло литературного чинуши. Но в России, слава Богу, этот критерий никем никогда серьёзно не воспринимался.

Максимилиан Волошин, например, по поводу «разрешенной» и «не разрешенной» поэзии думал совершенно иначе, чем Гарик Кохановский.

После этого случая я увидел их ещё раз вместе уже на Малой Грузинской, в новой Володиной квартире. Я был там, когда позвонил Гарик, и собрался уходить, чтобы не мешать их разговору, но Володя попросил меня остаться у него на ночь. Кохановский был прекрасно одет и излучал энергию и фарт. От былой дружбы остались одни угольки. Чувствовалось, что им нечего сказать друг другу. Хотя Гарик продолжал обращаться к Володе в прежнем шутливом тоне: «Васёчек», Володя был формален и сдержан. Сюда ещё примешивалась история со старым, невозвращённым долгом. Мне показалось, что Володя тяготится присутствием друга. Кохановский, видимо, почувствовав это, довольно быстро ушел, и Володя спросил:

— Ты заметил, как ему хочется выглядеть левым?

Хотя Володя всегда хвалил стихи Гарика, мне почему-

то казалось, что он их всё же воспринимает через призму дружбы. Однажды, ещё в дни их близости, Володя высказался о творческом методе друга с оттенком моцартовского недоумения:

— Представляешь, когда он садится писать, то обкладывается кучей словарей и справочников, — и, предвосхищая мой вопрос, сам же ответил: — Нет, я целиком завишу от вдохновения. Мне необходим первотолчок, хотя бы одна строчка. Когда она приходит, тогда сажусь за стол.

Воистину, «нет правды на земле», миром правит произвол. И как с этим мириться? Честный трудяга Сальери и баловень небес Моцарт. Разрыв их был предопределён...

А история с Маратом имела продолжение. Попав после того памятного вечера под его юрисдикцию, мы с Володей частенько захаживали к нему на огонёк и вместе, и порознь. Но, видимо, высокий настрой маратовой души не находил должного отклика у его начальства из «Мосресторантреста», и, покинув «Арарат», он по чьей-то протекции очутился в баре Дома кино. Формальное понижение статуса сказалось на нём самым благотворным образом. Теперь в этом приветливом, расторопном бармене никто бы не распознал прежнего угрюмого и надменного метрдотеля «Арарата». Ежедневно общаясь с кумирами толпы, он отныне мог полностью компенсировать и свои духовные запросы, и пробелы в знаменитом альбоме. Но со своим вздорным характером он не смог ужиться даже в этом питомнике отечественных звёзд, и вскоре я встретил его уже в «золотом зале» гостиницы «Интурист». Он вновь трудился в звании старшего мэтра. Увы, и в «Интуристе» он не удержался надолго.

Лет через шесть после смерти Володи я столкнулся с Маратом в дверях ресторана гостиницы «Салют». Вихрь событий промчался над нами. И хотя был разгар антиалкогольной кампании, наш стол ломился от заморского хмельного: приятель-итальянец отмечал день рождения своей московской пассии. Обрадовавшись Марату, я пригласил его за наш стол. Он сильно сдал, пропала былая напыщенность; опростившись, он мог уже позволить себе выпить на работе и с посетителями, и в одиночку. Набрякшие мешки под глазами говорили сами за себя: должно быть, начиналась последняя стадия его духовной эволюции. Мэтр пребывал в каком-то странном состоянии трезвого пьянства: чем больше он пил, тем больше трезвел. По сути, он упивался больше трезвостью, чем алкоголем. Он вёл какую-то невидимую войну с кем-то, и этот скрытый враг не мог его перепить.

— Люди всё переводят в деньги, а сдачу выдаёт только жизнь, — в его туманной сентенции звучала мудрость неспившегося пьяницы.

Благоприобретённая корректность не позволила ему долго оставаться в незнакомой компании. Выпив, не чокаясь, по последней, мы сдержанно распрощались. Как жаль, что мы встретились, как жаль, что никогда не увидимся. Что-то выпало из цепи нашей прошлой жизни...

Уже не было Володи, давно потерял я из виду Татьяну, намертво вросла в парижский асфальт Мишель, и только однажды, на одной из Володиных годовщин, мелькнул Гарик. Мы давно не виделись и обрадовались друг другу: для меня он оставался последней «уцелевшей нитью», протянутой из того незабываемого зимнего вечера на Неглинке...

Остались одни воспоминания и от «Арарата». Старинное здание, в котором он ютился, разворотила в один прекрасный день свора бульдозеров...

Глава шестая.

УЛИЦА БЕГОВАЯ. ЛЮСЯ

С рестораном «Арарат» связано у меня ещё одно грустное воспоминание.

Как-то зимним вечером 1969 года, сидя у меня дома, Володя впервые заговорил о матери своих сыновей — актрисе Люсе Абрамовой. Я был наслышан о ней ещё до знакомства с Высоцким. Татьяна рассказывала о её красоте, уме, начитанности в самых восторженных тонах. За этим проскальзывало чувство невольной вины — с присущей ей прямотой она признавала себя «злой разлучницей»...

После известной сценки у Макса Леона, когда опешившая Марина Влади узнала от самой Татьяны о параллельном романе Володи, всё пошло наперекосяк. Зажатый в тиски двумя любящими женщинами, загнанный в угол неумолимым «или — или», «разоблаченный» Володя заметался.

Всё чаще в наших разговорах с Володей возникает тема самоубийства, всё навязчивее — параллель с Есениным. Возвращаясь к трагической развязке в «Англетере», он не скрывает своего восхищения мужеством поэта.

— Вот он смог, а меня в последний момент что-то удерживает на краю. Ты представь только, ведь в первый раз верёвка оборвалась, и, падая, он ударился о батарею. И всё-таки снова сунул голову в петлю.

В тоскливые дни затяжных запоев всё чаще наведывается к Володе загадочный незнакомец с врубелевской грустью глаз. Всякий истинный поэт вступал с ним в диалог, испытал на себе его чары. Кто из них не терялся перед вескостью его аргументов? Кого не завораживали его вкрадчивые посулы? Именно ему, «Демону самоубийства», посвящено лучшее стихотворение Валерия Брюсова:

Вот в такие «запойные» периоды и полнится Москва слухами об очередном «самоубийстве» Высоцкого. Позже этот временный декаданс души сублимируется в поразительную лирическую исповедь «Конченого человека»:

Трезвым Володя песню эту исполнять не любил, даже в кругу близких друзей. Эту вещь я слышал лишь однажды, и то согласился он её спеть только после длительных уговоров. Объяснял это так:

— Не могу её петь, тяжело. Не получится.

В спорадических попытках Володи уйти от «притяжения земли» было всё-таки нечто трогательно-театральное. Как-то раз он позвонил живущему этажом ниже мужу Антуанет (подруги Мишель) и попросил срочно к нему подняться. Услышав, что Володя только что вскрыл себе вены, тот опрометью кинулся наверх и застал странную картину. Дверь в квартиру была отворена, сам же Володя в трагической позе возлежал в наполненной горячей водой ванне. Явно нуждаясь в простом человеческом сочувствии, он скорбно продемонстрировал соседу чуть-чуть испачканную кровью кисть руки. Увидев неглубокий бритвенный надрез возле самой вены, растерявшийся «спасатель» не знал, как ему быть — смеяться или

плакать.

И всё же подобные «инсценировки» были не просто «театром одного актёра», а говорили прежде всего о неизбывной неприкаянности Высоцкого, о вечном рефрене его биографии: «Нет ребята, всё не так! Всё не так, ребята»...

Между прочим, этому соседу творчество Высоцкого было глубоко чуждо. Даже в «Охоте на волков» он видел одну-единственную приемлемую строчку: «и пятна красные флажков». «А его манера исполнения — чистое подражание Дмитриевичу, — с явным раздражением поучал он меня, — что он такое рядом с Юзом Алешковским? Послушай хотя бы его «Балладу о дочери Сталина» и всё поймёшь». Удобно нахлобучив наушники, я с обречённым видом погрузился в семантические глубины бесконечного речитатива. Я так мучительно пытался уловить подтекст, что проворонил и сам текст. Память сохранила лишь имя героини, впрочем, и так мне уже давно известное.

Этот сосед вполне мог быть причислен к представителям творческой интеллигенции. Профессиональный журналист, он вплоть до своей женитьбы на Антуанет работал в газете «Московский комсомолец». На их свадьбе, кстати, присутствовали и Володя с Мариной, и Юз Алешковский. Беднягу уволили сразу же после регистрации брака. Сие вопиющее деяние — «связь с иностранкой» — усугублялось пресловутым пятым пунктом. Другой представитель этой газеты, также женатый на француженке (и изгнанный по тем же статьям), относил Высоцкого к явлению масскультуры, а подлинным бардом считал Юлия Кима. Однажды, по моей просьбе, он приехал со своей гитарой: Володя находился у нас дома и захотел попеть. Вручая её Володе, журналист с оттенком вызова подчеркнул, что на этой гитаре играл «сам Ким». Меня эта бестактность покоробила, Володя же отнесся к ней на удивление добродушно.

Такое снобистское неприятие Высоцкого в кругу диссиденствующей интеллигенции тех лет было в порядке вещей. Внятность Высоцкого казалась им по недомыслию примитивностью, хотя она-то и была той самой «неслыханной простотой», к которой стремился Пастернак:

...В такие вот грустные дни я впервые услышал от Володи знаменитое чичиковское: «беленькими нас всякий полюбит, полюбите нас чёрненькими». Убийственная мудрость этой жизненной установки восхищала меня не меньше, чем Володю. Будучи большим поклонником пушкинской формулы «гения и толпы», я всячески культивировал в Высоцком дух исключительности. Увы, и Марина, и Татьяна оказались страстными ревнительницами не только гражданского равноправия, но и паритета полов.

Цельность натуры этих женщин фатально контрастировала с раздвоенным духом Высоцкого. Они готовы были любить Володю «чёрненьким», но — *монопольно и врозь.* Никто не хотел уступать...

— А не послать бы мне подальше и ту, и другую и вернуться к Люсе? — В голосе Володи явно чувствовалась внутренняя борьба. — Ты знаешь, какие у неё глаза — огромные, синие. А как она понимает поэзию! Я вас обязательно познакомлю. Сколько рафинированных мальчиков увивалось за нею, а она предпочла им меня. За простоту. Ты сам всё увидишь.

Мне стало ясно, что Таня только повторяла Володины слова. Эти синие глаза, этот дифирамбический тон меня доконали. Я спросил в шутку:

— Да это прямо-таки портрет моего идеала женщины: синие глаза, страсть к поэзии, надмодность. Володя, а ты не боишься, что я в неё влюблюсь?

Ответ Володи только подчеркнул его душевную смуту:

— Я буду очень рад, если у вас что-нибудь получится!

Серьёзного значения его словам я, конечно, не придал.

Ведь такое уже бывало. В схожей ситуации он как-то раз грозился вернуться к своей первой жене: «Чёрт с ними, вернусь к Изе, она честная».

Но через несколько дней Володя позвонил мне от Люси, попросил прихватить зелёный американский трёхтомник (!) Мандельштама и срочно приехать на Беговую. Схватив впопыхах первый том опального поэта, я бросился к машине. Сильнейшая метель и врождённая топографическая тупость помешали мне с первого захода отыскать дом на Беговой. Я вернулся домой, не имея возможности даже извиниться, — телефона Люси у меня, конечно же, не было. Я успокаивал себя тем, что это был не более чем минутный порыв подвыпившего Володи. На следующий день он позвонил опять и, пожурив за вчерашнее, снова настойчиво попросил приехать и — непременно! — с Мандельштамом.

Это уже было серьёзно: записав точный адрес и не желая рисковать (метель не унималась), я взял такси и минут через сорок был на месте. Дверь открыл сам Володя и нетерпеливо повёл меня на кухню — традиционный салон московской интеллигенции той поры. На столе были разбросаны тоненькие книжки — прижизненные издания Гумилёва; перед Володей же красовалась нехитрая снедь и початая бутылка водки. Он был в сильном возбуждении и, казалось, с нетерпением ждал начала нашего диалога-дуэли с Люсей.

Я с трудом улавливал смысл происходящего. Извлекши из сумки вместо цветов толстенный том Мандельштама, я с глупейшим видом выложил его на стол. В этот момент я выглядел сконфуженным провинциалом. Как и Люся, я был трезв, скован и просто не постигал, что от меня требуется. Заметив моё замешательство, Люся искусно перевела разговор в русло поэзии акмеистов. Она была *гумилёвкой,* я — *мандельштамовцем,* и это помогло нам завязать какую-то видимость литературной беседы. Володя в разговоре никакого участия не принимал — казалось, это слишком высокая материя для его мозгов. Он пил водку и время от времени норовил, обнимая бывшую жену, залезть ей по-простецки под кофточку. Люся деликатно отстранялась от его медвежьих объятий и, указывая на прикрытую дверь, просила не шуметь: «Володя, тише, ведь мальчики только что уснули».

Это была какая-то сюрреалистическая сцена. Казалось, в рафинированный дуэт двух интеллектуалов случайно затесался жэковский сантехник, которому мягкотелые хозяева выставили за спорую работу причитающиеся пол-литра.

Парадоксальность ситуации меня завораживала. Если бы в эту минуту какому-нибудь оказавшемуся в Люсиной кухне эксперту-советологу объявили, что «сантехник», лапающий свою половину, является паролем целого поколения, символом его рывка к свободе, он решил бы, что имеет дело с обитателями чеховской палаты №6.

Именно неадекватность поведения Высоцкого поднимала во мне новую волну восхищения. Видимо, вот в такие «моменты истины» мы и начинаем творить себе кумиров. Я прекрасно отдавал себе отчёт, что это возможно только в России. Западная цивилизация давно уже разбита на версальскую геометрию меры и этикета. Здесь же я мог наяву дивиться поразительной проницательности отставного базельского профессора, когда-то изрёкшего: «Россия — единственная страна, которая может ждать, может обещать».

Да, Высоцкий как бы не осмеливался вмешаться в наш «учёный» разговор, но я-то ни на минуту не забывал, что рядом со мной — творец «новых ценностей», уже оставивший потомкам своё потрясающее двойное завещание — «Смерть истребителя» и «Охоту на волков».

Ещё более невероятным было то, что он же — создатель искрящегося, как «Вдова Клико», «Бонапарта» («На стол колоду, господа...») и сюрреалистических «Двух автомобилей».

Перед уходом мы договорились встретиться в ближайшие дни втроём и поужинать в ресторане

«Арарат». Володино приглашение Люся приняла с радостью.

— Ну как? Что скажешь? — стал допытываться Володя, едва за нами захлопнулась дверь.

— Лёд и пламень, — не утруждая себя анализом, брякнул я.

Мне, видите ли, показалось, что Люся относится к «посланцу небес» недостаточно восторженно. Видимую сдержанность, вполне естественную в присутствии незнакомого мужчины, я воспринял как проявление излишней рассудочности. Мне тогда и в голову не пришло, что Люся раньше всех нас оценила Высоцкого. Выйти замуж за выпивающего безработного актёра и родить по своей воле двоих детей — разве это не было доказательством её ума, тонкости, наконец, мужества?! И всё это при её красоте. Ведь все мы восхищались Володей постфактум, уже в зените славы, а Люся полюбила его, когда никто и ломаного гроша не дал бы (и не давал!) за актёра, занятого, если повезёт, в эпизодических ролях...

...Спустя несколько месяцев в продмаге на улице Телевидения к нам подошёл изрядно помятый субъект полуинтеллигентного вида и робко попросил какую-нибудь мелочь «на поправку». К моему удивлению, Володя молча протянул ему целый трояк (столько стоила тогда бутылка водки). Видя моё недоумение, он объяснил мотивы своего широкого жеста:

— Я просто вошёл в его положение. Мне-то хорошо понятно это состояние. Сейчас даже вспоминать стыдно. Это самые чёрные дни моей жизни. Без работы, без денег, я каждое утро бессовестно выклянчивал у Люси целковый на опохмелку. И она мне его выдавала, хотя сама бедствовала. Ей как-то помогали родители.

Через пару дней Володя попросил меня поехать в «Арарат», заказать у Марата столик и дожидаться его с Люсей к восьми вечера. Он должен был заехать за ней из театра.

Я нашёл удобный столик в глубине зала, поодаль от оркестра, с тем чтобы под заунывный мелос Востока всласть наговориться о серебряном веке русской поэзии.

Марата в тот вечер не было, но я предупредил его сменщицу, что жду важных гостей, и мне быстренько сервировали стол с классическим ассортиментом армянских закусок и напитков.

Прошло полчаса, час — супруги явно запаздывали. Зная Володину обязательность, я начал нервничать и всё чаще подбегал к входной двери, хотя швейцар был предупреждён. Часы показывали уже десять, и я терялся в догадках. Тревожился и официант, правда, из чисто меркантильных соображений. Чтобы избежать его осуждающе-недоумевающих взглядов, я ретировался из зала и пристроился рядом с швейцаром. Наконец, в кромешной зимней мгле, перед самой дверью я узрел знакомую фактуру Володиной дублёнки. Я стал искать взглядом Люсю, но женщин в небольшой очереди вообще не было. Швейцар, по моей просьбе, тут же отворил дверь, и только тут я заметил, что Володя не один. Вошедшие вместе с ним двое незнакомцев объяснили мне, что привезли сюда Высоцкого по его просьбе. По их словам, он, толком ничего не объясняя, твердил лишь два слова: «Давид» и «Арарат». В общем, это были «мы сами нездешние» — приехавшие откуда-то альпинисты, заскочившие в театр засвидетельствовать свою любовь «к Володьке». Насколько я понял, они не были раньше лично знакомы (может быть, их связывали какие-то общие приятели). Позже я узнал от Володи, что они заявились в театр с двумя бутылками водки и там же бессовестно его напоили.

Сам Володя ничего объяснять не мог, он буквально не вязал лыка. Сгоряча я машинально хотел провести его в ресторан, но сменщица Марата вежливо, но решительно воспротивилась: «Ну посмотрите, он же еле-еле стоит на ногах, как же я могу его впустить?»

Она была абсолютно права, и надо было что-то решать с заказанным столиком — ведь я держал его более двух часов.

Меня переполняла такая злоба к этим двум скалолазам, что, не церемонясь, я подвёл их к накрытому столу и, объяснив ситуацию, без обиняков предложил им благополучно продолжить пьянку без «Володьки». У меня было такое свирепое выражение лица, что они не осмелились отказаться. Я пожалел об отсутствии Марата. «Друг народа» мигом бы отправил их на приём к доктору Гильотену.

Я же с того зимнего вечера люто возненавидел не только альпинистов, но и геологов, археологов, спелеологов, океанологов, метеорологов — всех без исключения разведчиков прошлого, настоящего и будущего. Меня стал бесить этот бесцеремонный шпионаж за миром Божьим — с его недрами, морскими глубинами и горными вершинами.

На Володю у меня не было и тени обиды. Только сострадание и нежность. Он ведь помнил обо мне и, будучи почти невменяемым, добрался-таки до дверей «Арарата». Пусть с двухчасовым опозданием.

В ту ночь у меня дома он сразу уснул, едва повалившись, не раздеваясь, на свой синий диван.

Впоследствии Володя вспоминал об этом срыве с чувством неловкости. Больше всех ему было неудобно перед Люсей: «Ей так хотелось где-то посидеть с нами, развеяться, она же практически никуда не выходит, всё время — с мальчиками».

Кто знает, куда бы покатилось колесо судьбы, если бы «Арарат—2» состоялся. Володя действительно стоял на распутье. Но — сорвалось: так, видимо, расположились звёзды.

Впрочем...

Спустя какое-то время я поинтересовался у Володи, как живёт Люся. В ответе его прорвалось неприкрытое раздражение.

— Да нашла себе какого-то инженера.

Это звучало прямым обвинением. Мол, «как это после Юпитера можно жить с каким-то простым смертным?» Кроме того, Володю злило, что Люся ни за что не хотела, чтобы Никита и Аркаша общались с привязавшимися к нему сыновьями Марины. Как бы то ни было, эгоцентризм в Володе (мирно уживавшийся, впрочем, с альтруизмом) несомненно присутствовал. Видимо, — как осознание своего избранничества — он присущ всем великим.

Другой эпизод, связанный на сей раз с Изой, лишь подтвердил мои предположения. В августе 1970-го, за неделю до поездки в Гуляйполе, я сидел с приятелем у Володи. Нина Максимовна находилась в соседней комнате. Вдруг зазвонил телефон:

— Ну, подъезжай, — в голосе Володи явственно сквозило удивление.

— Сейчас приедет Иза. Хочет о чём-то поговорить, — сообщил он нам чуть насмешливо и добавил: — но вы оставайтесь здесь, она ненадолго.

Минут через пятнадцать она уже звонила в дверь. Так я впервые увидел Изу. Об этой короткой встрече с Володей она упоминает в своих воспоминаниях. Память изменяет ей только в одном: никаких песен Володя в этот вечер не пел. Зато она абсолютно права, когда говорит о замешательстве, возникшем за кухонным столом из-за нашего затянувшегося присутствия. Видя, как нервничает Иза, я решил ослушаться Володю и, подняв приятеля, перешёл в комнату Нины Максимовны. Конфиденциальная беседа бывших супругов длилась совсем недолго. Таким раздражённым я видел Володю редко. Обычно сдержанный, он дал волю своим эмоциям:

— Чёрт-те что! Пришла просить за своего парня. Устроить на работу. Что же это за мужик такой, который согласен на помощь бывшего мужа своей бабы?!

— А откуда ты знаешь, что он в курсе её инициативы? — попробовал я солидаризироваться с безработным претендентом (кажется, он тоже был актёром).

— Да всё он знает. Она же наверняка с ним приехала. Небось, дожидается внизу. А всё моя мама. Не успела её толком увидеть, а тут же заладила: «Женись, да женись, сыночек, такая чудная девушка!»

Выходило, что на Изе он женился вопреки собственному желанию, лишь уступая натиску матери. В это верилось с трудом. Подобная пассивность Володе была не свойственна даже в годы его юности, о которых мне много рассказывала Нина Максимовна. Да и сам он о первой жене никогда раньше так не высказывался.

Наверняка дело было в другом. Видимо, как и в случае с Люсей, сама попытка как-то наладить свою личную жизнь без его личного одобрения виделась ему актом измены, покушением на свою пожизненную монополию.

Странное впечатление осталось у меня от этой мимолётной сцены. Как часто Володя помогал людям случайным, зачастую вовсе этого не заслуживающим. Здесь же — родная жена (пусть бывшая), юные годы, общие воспоминания. Даже мои азиатские мозги отторгали этот странный максимализм в духе Синей Бороды.

Глава седьмая.

УЛИЦА РЫЛЕЕВА. ОСОБНЯК

Когда у Высоцкого начиналась стадия затяжного запоя, то в первое время он избегал скопления людей, шума и гама столичных ресторанов. Тогда он заходил в облюбованное им тихое уютное кафе «Паланга» у Калужской заставы. Я бывал там с ним несколько раз. Отсутствие музыки компенсировалось скромными букетиками цветов на столиках, а молодая администраторша старалась всячески оградить Володю от назойливого любопытства посетителей. К сожалению, этот начальный мирный период продолжался недолго. Чем больше он пил, тем властнее его влекло к «свидригайловским» местам — с их толчеёй, пестрым людом, калейдоскопом впечатлений.

В Москве брежневского ущерба ночная жизнь замирала уже к полуночи. Возобновить её можно было только в полулегальном «Архангельском» или в аэропортах, где рестораны работали до трёх утра. Туда, преимущественно, и направлял свои нетвёрдые стопы недогулявший контингент ВТО или Дома кино.

Самым популярным был ресторан «Внуково», куда такси от моего дома пробивало ровно три рубля, эквивалентных по курсу чёрного рынка семидесяти центам. Столько же стоила бутылка водки. В самое неурочное время там можно было ненароком столкнуться с самыми респектабельными деятелями отечественного театра и кино: от Нонны Мордюковой и Олега Стриженова до Майи Булгаковой и Анатолия Ромашина. Логика советского абсурда правила свой бал даже на этом общепитовском «Мысе Доброй Надежды». Водка, наша родная «Столичная», была вообще изъята из обращения, а коньяк, в силу какого-то садистского самодурства, отпускался только в графинах, так что если вам вздумывалось прихватить с собой впрок остаток этого живительного зелья, приходилось оплачивать еще и стоимость стеклотары. Ну, а вид графина с коньяком давал бдительному швейцару законный повод заподозрить вас в заурядном хищении социалистической собственности, и только своевременное вмешательство официантки могло отвести занесённый над вами карающий меч пролетарского правосудия. Проще было опохмеляться шампанским...

Разумеется, мы с Высоцким были завсегдатаями этого симпатичного «Стойла богемы», хотя, в отличие от меня, он, уходя в загул, часто ездил туда и один. По-видимому, «Внуково» привлекало его гулом самолётов, сообщениями из эфира, текучестью посетителей, которых он любил щедро угощать, всем тем, что давало иллюзию нарушения размеченного графика жизни, ощущение вечного движения.

Как-то раз, поздней осенью 1969 года, мы с ним, по обоюдному желанию, оказались во «Внуково». Зал ресторана, как обычно в ночное время, был забит до отказа, и знакомая официантка с трудом отыскала нам места за большим столом, осаждённым разношёрстной публикой. Минут через сорок, оживившись после третьей чарки коньяка, Володя неожиданно загорелся желанием улететь... в Ереван.

— Давай махнём на пару дней к твоим. Сменим обстановку.

Будучи совершенно не готов к такому обороту, я что-то невразумительно пролепетал о необходимости предварительных сборов. Но я ещё плохо знал Высоцкого.

— Нет, ты не понял. Какие сборы? Летим прямо сейчас, первым же рейсом. Купим билеты и отсюда же предупредим твоих. Тут есть межгород.

Это был излюбленный приём Высоцкого в загуле — опрометчивое исполнение своей прихоти

наперекор здравому смыслу: теперь душа его рвалась навстречу новым ощущениям, вызывая к барьеру своих заклятых врагов — время и пространство. Всё, выходящее за узаконенные параграфы житейской мудрости, в равной степени манило и меня, а потому, недолго думая, я заверил моего идола в готовности номер один.

Ближайший рейс на Ереван был около восьми утра, так что после закрытия ресторана можно было перекочевать в буфет, работавший круглосуточно, и скоротать там предпосадочное время.

Рядом с Высоцким сидел какой-то довольно небрежно одетый парень с всклокоченными волосами и развязными манерами. Он явно не походил на советского командировочного, торопившегося к месту службы с отчётом о проделанной работе. Весь его расхристанный вид, напротив, говорил о том, что внеплановые каникулы души, которые он сам себе устроил, изрядно затянулись. Очевидно, привыкший быть постоянно в центре внимания, он, не обращая на нас ни малейшего внимания, о чём-то возбуждённо разглагольствовал в кругу случайных собутыльников. Но один из слушателей, видимо, узнал Высоцкого и не преминул сообщить об этом «душе компании». Взъерошенный краснобай сперва недоверчиво покосился на Володю, но уже через мгновение, наклонившись, что-то заговорщицки зашептал ему на ухо. Явно заинтересованный, Володя одобрительно закивал, и вскоре я был приобщён к великой тайне самоуверенного незнакомца.

— Представляешь, это сын Стивенса.

— А кто это такой? — эта английская фамилия мне ничего не говорила.

— Да ты что? — с видимым удивлением продолжал Володя. — Это такая личность! Американский журналист. А это его приёмный сын. Давай поедем, он нас приглашает.

— Ну, а как же Ереван? Ты что, передумал? — я робко попытался сопротивляться.

— Да мы успеем, дурачок. Посидим у них пару часов и вернёмся к рейсу. Времени навалом.

Было очевидно, что Володя уже принял решение и переубеждать его не имело смысла. В попытке переиграть время он был способен и не на такое.

В те годы Высоцкий являлся для меня не только неким путеводителем по Москве, но и по жизни — я готов был с закрытыми глазами следовать за ним хоть на край света. Меня смущал только типаж приёмного сына таинственного американца. Уж больно он расходился с нашим традиционным представлением об отпрысках — даже усыновлённых — иностранцев, аккредитованных в Москве. Вздыбившаяся причёска, помятая кожа лица с нездоровым палевым отливом, замызганная куртка, из-под которой красовалась модная в то время рубашка-газета с нелепыми шапками типа: «ТАСС уполномочен заявить», — всё это весьма настораживало, хотя решимости Володи поколебать не могло.

Чудаковатый юнец оказался тёзкой Высоцкого. Получив наше согласие, он предложил немедленно, не рассиживаясь, тронуться в путь и, с добродушной хамоватостью понукая нас обертонами ненормативной лексики, решительно устремился к выходу, на стоянку такси. Тем же игриво-бесцеремонным тоном водителю было велено держать курс на Москву и ехать на максимальной скорости. Был уже третий час ночи, и Володя поинтересовался у своего тёзки, не спит ли в столь позднее время отец и удобно ли его беспокоить.

— Беспокоить? — искренне удивился тёзка, — да ты чё? Да он и ложиться не будет, пока я не приеду. Он у меня привычный. Сейчас сам увидишь.

Чувство смутной, необъяснимой тревоги ни на минуту не покидало меня в машине. Подозрение, зародившееся ещё в ресторане, только усилилось, когда «американец» велел шефу остановиться на

обочине и панибратски предложил нам выйти «до ветру». Зловещая тишина сумрачного леса только сгущала атмосферу опасности и казалась составной частью предварительного сговора между «тёзкой» и таксистом. Пусть внешне ни тот, ни другой явно не тянули на Джека Потрошителя или Федьку-каторжника, но «всё же, всё же, всё же...»

Ну вот, начинается, — тщетно пытаясь унять предательскую дрожь в коленях, решил я про себя. И тут ни к селу ни к городу, взывая к героике, затрубила боевую тревогу застрявшая в закоулках памяти патетическая патока литературных реминисценций — «на миру и смерть красна», «всё потеряно, кроме чести», «смерть — не сметь!». По горло напичканный книжной романтикой, я уже готовился к эффектной «непоправимой гибели последней» рядом с любимым другом.

Это было то самое реальное столкновение с действительностью, которого так жаждала моя душа, только в пылу книжного экстаза я как-то упустил из виду, что вдохновенные мушкетёрские клинки давно уже заменили прозаические дула наганов...

К моему ужасу, мой беспечный друг, не проявляя ни малейших колебаний, преспокойно последовал за «тёзкой». Озираясь на невозмутимого водителя, поражаясь наивности Володи (отличительное свойство гениев!), с обречённостью смертника я поспешил покинуть салон «Волги». Приблизившись к пристроившемуся у робко белевшей берёзки Володе, я снова покосился на шефа и... облегчённо вздохнул: тот сосредоточенно курил и не обращал на нас ровно никакого внимания.

Между тем раскованность «русского американца» явно переходила в откровенное хамство: поторапливая Высоцкого, он амикошонски похлопывал его по спине: «Володька, ну чё ты телишься... твою мать... давай по-быстрому...» Володя только что-то смущённо пробурчал насчёт правил хорошего тона. Зная взрывную, молниеносную реакцию Высоцкого в схожих обстоятельствах, я только дивился его долготерпению, хотя отчего-то не реагировал и сам. Этот раздухарившийся от фарта и коньяка мальчишка с замашками снисходительного мецената имел над нами какую-то необъяснимую власть. Его обволакивающий монотонный мат успокаивал нервы, парализовывал волю, завораживал, как мотив волшебной флейты Крысолова, завлекающего своих доверчивых спутников в роковую западню. С другой стороны, этот хвастливо-развязный тон «с самим Высоцким» несколько рассеивал мои весьма обоснованные подозрения в его самозванстве. По тому, как он всю дорогу понукал нашего деморализованного шефа, нетрудно было догадаться, как ему не терпится похвастаться перед отчимом (или кем-то ещё) своим великолепным ночным трофеем. И всё же на душе было неспокойно, я ждал какого-нибудь подвоха, хотя мы давно находились в черте города и уже мчались по заспанному Садовому кольцу. Вот остался позади Крымский мост, и, несмотря на скудное освещение, я уже мог различать знакомые очертания старинных зданий. Повеяло старой Москвой, которую я успел неплохо узнать за затянувшиеся годы учения на Остоженке. Мы свернули на улицу Рылеева, и тут наш умолкнувший было вожатый снова подал голос:

— Ну всё, теперь тормози. Вот и моя усадьба.

Наше такси остановилось перед обнесённым оградой старинным московским особняком с садом. Окна первого этажа были освещены.

— Ну, чё я вам говорил? Видите, дожидается, — тоном триумфатора произнёс «американец» и по-купечески небрежно швырнул шефу какую-то ассигнацию.

— Сдачи не надо.

Таксист не пытался погасить душевный порыв юного прожигателя жизни. Особняк говорил сам за себя, хотя его будущий владелец не очень ему соответствовал.

Не успели мы нажать на кнопку звонка, как дверь отворилась — привлечённый шумом нашей

машины и голосом чада, хозяин поспешил к нагрянувшему ночному десанту. На пороге стоял стопроцентный английский джентльмен лет пятидесяти. Его породистое лицо не выражало ни малейших признаков неудовольствия. Напротив, доброжелательная улыбка говорила о том, что нас заждались и рады нашему благополучному возвращению. С первого взгляда было видно «человека с раньшего времени», как говаривал Михаил Паниковский. Да, американский журналист Эдмонд Стивенс, несомненно, мог заседать в Палате лордов елизаветинской Англии. Было очевидно, что импозантный господин с чуть тронутыми сединой висками давно примирился с образом жизни своего ветреного наследника и желал только одного — видеть его живым и здоровым.

Предвкушая неминуемый эффект, наш учтивый спутник небрежно подтолкнул Высоцкого к раскрытой двери.

— Смотри, кого я привёз. Узнаёшь? — в голосе наследника легко угадывались злорадно-торжествующие нотки. Видимо, не все ночные визитёры, заарканенные им «где-то в дебрях ресторана», вызывали безоговорочное одобрение отца, и сегодня, явно смакуя свой долгожданный триумф, сын как бы спрашивал: «Ну, что ты теперь скажешь?!»

Стивенс, по всей видимости, сразу догадался, какого гостя послала ему судьба, но как истинный англосакс остался невозмутимым. Позже я узнал, что в Советской России он живёт с незапамятных времён, любит её «странною любовью», а также питает слабость к диссидентствующей московской богеме, поддерживая её в меру сил.

Ободрённые радушным приёмом, оказанным нам хозяином, мы отважно переступили порог дома и... очутились в другом мире. В отличие от безвкусных номенклатурных квартир на Грановского, в которых мне довелось побывать, здесь всё выглядело иначе, всё было продумано до мелочей, и строгая стилистика особняка не исключала ни уюта, ни комфорта.

Видимо, хорошо изучивший повадки московской богемы, Стивенс с ходу, не тратя времени на европейские церемонии, пригласил нас перекусить, чем Бог послал.

Мы прошли на кухню, размеры которой превосходили площадь всей Володиной малогабаритной квартиры в Черёмушках. Запомнился большой стол светлого дерева, на котором в простой керамической вазе грустили последние георгины, и огромный холодильник, по ёмкости не уступавший корабельному трюму. «Лорд» быстренько извлёк из его прохладного чрева массу деликатесов явно не отечественного происхождения. Среди этого фламандско-грузинского натюрморта единственной компенсацией нашему патриотизму был крупный бисер родной малосольной икры, да и то из «Берёзки». Ни минуты не мешкая, наш любезный хозяин зажёг плиту, ловко метнул на огромную тефлоновую сковороду три расплющенных ломтя мяса, и уже через пару минут мы, давясь от жадности, поглощали эти истекающие кровью, густо посыпанные кайенским перцем раблезианские порции. От французского вина мы единодушно отказались, предпочтя ему неразбавленный английский джин. После простецкой «внуковской» кухни запоздалый ужин у таинственного американца показался нам фрагментом тримальхионова пира.

Я с удовольствием отметил про себя абсолютную раскованность Володи. Он вообще был адекватен всегда и везде. Вот и сейчас без раскачки вписался в атмосферу и в интерьер особняка и уже оживлённо рассказывал Стивенсу о своей блажи — предстоящем полёте в Ереван. Володя так увлёкся, что, к моему ужасу, неожиданно сделал широкий жест — предложил своему тёзке составить нам компанию на борту ИЛ-18. Тот обрадовался, как ребенок. Он уже скинул свою жёваную куртку, и теперь мы могли лицезреть его рубашку во всей её первородной красе. Она напоминала только что открывшийся газетный киоск. До боли знакомые названия отечественных и дружественных нам зарубежных изданий приятно ласкали взор. Если набранные строгим латинским шрифтом «Morning star» и «Humanite» вызывали смутные ассоциации с английским сплином и французской ностальгией, то пышная кириллица «Социалистической индустрии» и

«Работницы» без всяких околичностей призывала к гражданской активности, суля суровые трудовые будни.

Угомонившись от собственных шалостей, обладатель бесценной рубашки спокойно сидел теперь напротив нас, ничем не напоминая хорохорившегося юнца из «Внуково». Я впервые посмотрел на него с симпатией. Володя был сыном русской жены Стивенса от первого брака. Наблюдая, как мирволит американец к приёмному сыну, нетрудно было догадаться о его чувствах к своей русской жене. Как бы ненароком, «лорд» поинтересовался родом моих занятий. Узнав, что я переводчик, он явно обрадовался и на превосходном итальянском спросил, как долго мы пробудем в Ереване.

— Не больше двух дней. Сейчас там золотая осень, сезон фруктов, а Володе необходимо развеяться.

«Лорд» не раздумывал ни минуты: имя Высоцкого и, по-видимому, мой итальянский полностью развеяли его сомнения.

— Я его сейчас соберу. Только прошу вас позвонить мне сразу, как прилетите.

Осведомившись о стоимости билетов, он ненадолго отлучился. Пока Стивенс собирал сына в дорогу, я лихорадочно просчитывал варианты нашего обустройства на исторической Родине: у меня не было абсолютной уверенности, что наше недогулявшее «я» найдёт должное взаимопонимание с устоявшимся бытом провинциальной столицы. Кроме того, Володина импровизация сулила и вереницу нежелательных житейских осложнений. Только заметив на вислоухом воротничке чудо-рубашки слоган «Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания мира», я понял, что это — судьба, и, судорожно ухватившись за народную мудрость «чему быть — того не миновать», окончательно смирился. Я лишь деликатно попросил моего будущего гостя сменить перед вылетом эту судьбоносную рубашку на что-нибудь однотонное и встретил полное послушание.

Между тем возбуждённый Высоцкий горел желанием отблагодарить нашего хлебосольного хозяина и попросил принести гитару. Стивенс, конечно, с нетерпением дожидался этого момента, но, как и подобает истинному джентльмену, даже прожившему долгое время в Советском Союзе, ничем не выдал своих эмоций. Учтиво поблагодарив, он пригласил нас подняться на второй этаж, где располагался его рабочий кабинет. Переступив порог этой мрачноватой комнаты и усевшись на длинный, старомодный диван, мы почувствовали себя рыцарями из романов Вальтера Скотта. Присутствие старорежимного «лорда» только усугубляло эту иллюзию. Правда, его наследник, всё ещё облачённый в газеты, представлял явно другую эпоху, но при желании мог сойти за привидение.

Перед нами на овальном столике лежали разноцветные пачки английских, американских, греческих сигарет и открытая коробка сигар «Ромео и Джульетта». Высоцкий обрезал кончик «гаваны» и раскурил её с такой небрежной невозмутимостью, словно был приучен к этому ещё в Эберсвальде.

— Сейчас я принесу вам гитару, — с таинственным видом произнёс Стивенс и направился к двери.

Чтобы получше разглядеть его хорошо подобранную библиотеку, я приблизился к книжному шкафу. Бросилась в глаза изданная недавно в Англии нашумевшая альбом-монография «The Russian Experiment» — первое серьёзное исследование русского авангарда 10—20-х годов. Я стал её лихорадочно перелистывать, жадно впитывая фамилии, иллюстрации, запах типографской краски. С истовостью заботливого опекуна Родина оберегала наши девственные души от дьявольского наваждения, укрывшегося под псевдонимом «модернизм».

Через несколько минут владелец особняка уже протягивал ничего не подозревающему Володе темно-вишнёвую семиструнную гитару старинной работы. Володя осторожно принял её в руки и... буквально окаменел. Эффект был поразительным. Таким ошеломлённым я его ещё никогда не видел. Так радуются, встретив нечаянно родственную душу.

— Это невероятно, — взволнованно проговорил он, — это же настоящая сумароковская, их в Москве от силы две-три.

Володя с трепетной нежностью, как бы не до конца веря, поглаживал корпус старинного инструмента и о чём-то с ним доверительно шептался. Казалось, он вот-вот расплачется. Он сидел с полуоткрытым ртом, стискивая время от времени зубы. Так Володя, будучи нетрезвым, обычно выражал своё восхищение. В этой хорошо мне знакомой мимике присутствовал, конечно же, элемент лицедейства, но сама «игра» была так трогательно невинна, что не только не раздражала, а, напротив, вызывала острое сочувствие.

— Продайте её мне. Она стоит двести рублей. Я давно о ней мечтаю. Продайте!

Это было что-то новое. Ведь трезвый Высоцкий никогда не позволял себе этого — просить что-нибудь лично для себя.

Наш хозяин прекрасно уловил состояние Володи и тактично попытался его успокоить.

— Вы понимаете, Володя, к сожалению, я не могу принять решение самостоятельно. Эта гитара принадлежит моей жене, и я должен с ней посоветоваться. Но вы не огорчайтесь, ведь мы, я надеюсь, видимся не в последний раз. Приедет моя жена, и мы ещё обязательно вернёмся к этому разговору.

А Володя уже вошёл в состояние творческого экстаза. Нервно пройдясь «говорком» по ладам непривычной гитары, он приготовился к атаке. Рядом, в боевой стойке, застыл большой импортный магнитофон с новенькой бобиной.

Сонную одурь арбатских дворов взорвало тоскующее *furioso*[2] Высоцкого:

Наверное, не случайно Володя начал именно с «Цыганской». Натянутые струны этой старинной гитары как бы связывали две России — Россию Высоцкого с Россией Аполлона Григорьева. Она ещё помнила своих прежних владельцев: касание их рук, движение их душ, и теперь, вручённая по праву наследства Володе, казалась оружием в битве за историческую память.

Атмосфера ли реликтового коттеджа, гитарные ли аккорды, винный ли дурман исподволь уносили меня в прошлое — к фантасмагории русского лихолетья. Откуда-то выплыли читанные когда-то в репринте щемящие строки полузабытого автора:

Как смешны эти заокеанские плачеи — Гертруда Стайн с «потерянным поколением» или Маргарет Митчелл с «унесёнными ветром» — на фоне истребительного торнадо, пронёсшегося однажды над Россией. Омерзительный фарс, срежиссированный кучкой озлобленных российских неудачников, перемоловший во имя Справедливости миллионы человеческих судеб. Сардоническая ухмылка Мефистофеля, услужливо наречённая западными гуманоидами *зарёю новой эры*. Воистину — «Китеж-град ужалил лютый гад...»

В витиеватых узорах вязкого сигарного дыма невнятным фантомом возник бывший владелец особняка. Казалось, «экспроприированный экспроприатор» хотел узнать именно у Высоцкого, как же это так произошло: «Нет державы, нету трона, — жизнь, Россия и законы — всё к чертям!.. Как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать?!»

Куда выплеснул бывшего домовладельца, с его маленьким правом на жизнь, октябрьский вселенский потоп? На праздничные ли тротуары европейских столиц или обледенелые нары ГУЛАГа? Что стало с его

семьёй, друзьями, прислугой?

Я почувствовал себя неуютно в этом выморочном доме. Понимал ли сам Стивенс всю двусмысленность и нелегитимность своего проживания в реквизированном швондерами особняке? Теперь радушное палаццо казалось мне сумрачным английским замком, где по ночам бродят души его бывших владельцев. Отчего-то припомнился леденящий в детстве душу кадр из английского трофейного фильма «Дорога на эшафот» — зловещий проход палача с вывороченной ступнёй и растянутой собачьей улыбкой к своим маленьким жертвам: узникам замка Тауэр.

Всё глуше, всё безнадёжнее звучали аккорды старинной гитары:

Был уже шестой час утра. Надо было торопиться, но Стивенс, сняв телефонную трубку, просил нас не волноваться: «Вас отвезут в аэропорт». Пока мы пили на кухне утренний кофе, «лорд» куда-то отлучился. Вскоре он вернулся с компактным кожаным саквояжем в руке. Там были бритвенные принадлежности и смена белья для сына. Тут же при нас он вручил ему увесистую пачку купюр и присел с нами «на дорожку».

Наследник, уже нарядившийся в симпатичную голубую рубашку, нетерпеливо поглядывал на часы. Он был сама скромность и пригожесть. Да, он не вписывался в европейский дизайн особняка, но именно поэтому показался мне сейчас вырезанным фрагментом из гобелена прошлого. Кто знает, быть может, его показная эпатажность была не более чем формой оппозиции ханжеской нормативной морали социализма. Существовала какая-то, мне самому неясная, связь между этим испорченным комфортом мальчишкой и отменённой в октябре Россией.

Минут через пятнадцать раздался звонок в дверь. На пороге красовался импозантный господин в чёрном рединготе и белоснежных перчатках. Это был личный водитель Эдмонда Стивенса, больше напоминавший дирижёра западного симфонического оркестра, приехавшего на гастроли в Москву. Эти белые перчатки окончательно нас доконали. Лихо закрученная голливудская интрига плавно шла к предсказуемому хеппи-энду.

— Доброе утро! Автомобиль подан! — с едва заметной иронией в голосе доложил водитель-дирижёр. Ловким жестом вышколенного дворецкого он распахнул дверцы лоснящегося самодовольством лимузина, и, переполненные впечатлениями, по-отечески напутствуемые Стивенсом, мы в изнеможении плюхнулись на заднее сиденье.

В машине мои мысли приняли несколько неожиданное направление. Глядя на небрежно покоившиеся на руле белые перчатки, я почему-то задумался о будущем. Что ожидает меня на закате жизни, в возрасте великолепного Стивенса, останься я в России? При самом удачном раскладе в далёкой перспективе маячила жалкая пенсия и бесконечное домино с отставным генералом Манченко. А Володя? Как сложится его судьба?

Можно было только выстраивать умозрительные версии о причинах, подвигнувших нашу лишённую сантиментов власть проявить к американскому журналисту такую избыточную щедрость...

В двух шагах отсюда, в Сивцевом Вражке, проживал другой известнейший журналист — француз Жан Катала, которого упоминает в своих оттепельных мемуарах «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург. Если Стивенс ассоциировался с английской Палатой лордов, то Катала воплощал собою тип чистокровного пэра Франции. Этот блистательный экс-сталинист с манерами маркизов XVIII века был, как и Стивенс, влюблён в Россию, хотя, будучи незаконно интернирован НКВД в аннексированной Эстонии, успел хлебнуть в своё время сталинских лагерей. Полтора года назад я был с Мишель у него в гостях и теперь мог воочию сравнивать степень благоволения соответствующих инстанций к этим двум западным «акулам пера».

На фоне апартаментов Стивенса жилище Катала смотрелось скромным обиталищем номенклатурщика среднего звена. Да что Катала, сам легендарный Ким Филби поселился после своего вынужденного бегства в Москву в типовой советской квартире. Катала поражал не блеском апартаментов, а блеском интеллекта. Именно он — творец закона «диалектики прозелитизма». Речь идёт о непростых взаимоотношениях левой западной интеллигенции с первой Страной Советов. Чем пламеннее любовь к ней на расстоянии, тем болезненнее отрезвление при очной ставке. Это печальное правило не знает ни одного исключения — его неумолимая логика равнодушно гасит трепетный энтузиазм идеалистов всех мастей и рангов: от Андре Жида до Ива Монтана, от Айседоры Дункан до Мишель Кан. Особенно беззащитны перед этим законом женщины.

«В лучшем случае, — утверждал многомудрый француз, — эти разочаровавшиеся неофиты становятся антисоветчиками, в худшем — антикоммунистами». И действительно, сколько нервных потрясений, сколько искалеченных судеб... Один, в пылу прозрения, демонстративно сжигает свой партбилет на балконе служебной московской квартиры, другой — опрометчиво ступает на извилистые стёжки-дорожки профессионального антикоммунизма. Примеров не перечесть...

Задумавшись о странной идентичности судеб этих двух незаурядных журналистов, я невольно вспомнил французских легитимистов былых времен, укрывавшихся от революционных бурь в деспотической России Романовых. Не та же ли аристократическая неприязнь к тоскливому прагматизму общества потребления толкнула и Стивенса, и Катала под сень тоталитарной монархии Сталина? Как знать, может быть, и они, подобно «спятившему» профессору Ницше, не хотели «господства английских трафаретов» в России и были готовы «обменять всё счастье Запада на русский лад быть печальным».

Мы подъезжали к аэропорту. Бессонная ночь, ненормированная смесь коньяка с джином, предутренний концерт «на разрыв аорты», сделали, по-видимому, своё чёрное дело. Володя выглядел погасшим, опустошённым. Недавняя душевная приподнятость сменилась видимым упадком, мысли его были далеко. Налицо были все симптомы тяжкого похмелья. И тем не менее, отпустив лимузин, мы вошли в здание аэровокзала. Световое табло обещало вылет по расписанию; дело было за билетами. Я вопросительно посмотрел на Володю, и тут он, немного поколебавшись, неожиданно сказал: «Давид, может, поедем в другой раз, когда я буду в порядке? Ну как я там в таком виде появлюсь? Неудобно».

Самым огорчённым выглядел наш новоиспечённый путешественник: сладостный мираж коньячных бочек, палевых персиков и одических здравиц таял буквально на глазах. Но держался он стоически — обуревавшая его сложная гамма чувств решительно не поддавалась расшифровке. Опустив повинные головы, мы, не сговариваясь, нетвёрдой походкой побрели к выходу...

Спустя двадцать лет судьба ещё раз забросила меня на улицу Рылеева. Арендовав кооперативное кафе «Мастер и Маргарита», мой друг художник-реставратор Серёжа Богословский шумно отмечал в кругу сподвижников важную веху своей бурной биографии — 50-летие земного пути. Один из бессменных лидеров московской богемы (конечно же, коротко знавший Высоцкого), он был единственным на моей памяти, кто в своё время мужественно отказался оставить автограф в знаменитом альбоме Марата.

В разгар юбилея моё внимание привлёк вошедший в залу импозантный, чуть сутулящийся мужчина пожилого возраста. Бережно поддерживаемый Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером, он медленно, опираясь на палку, продвигался к свободному, ожидавшему его столику. Я поинтересовался у сидящего рядом приятеля, кто этот представительный старец. «Ты что, не знаешь Стивенса?» — искренне удивился тот. Я промолчал: трудно было признать его сразу, но даже спустя двадцать лет он не потерял врождённой элегантности. Ещё через десять лет богемная почта принесла последние новости. Эдмонд Стивенс умер в 1992 году. Его сын Володя давно уже живёт в Америке. Лишь приватизированный особняк

остался на прежнем месте, только теперь это Гагаринский переулок...

Глава восьмая.

ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ К ХРУЩЁВУ!

Зимой 1969—70 года мы переписывались с жившей тогда в Ереване поэтессой Аллой Тер-Акопян. Сохранилось её ответное письмо, где она высказывает любопытную точку зрения на наш с Володей визит к Хрущёву. Такая реакция была характерной для того времени — особыми симпатиями своих бывших подданных Никита Сергеевич не пользовался.

Вот что она писала: «Очень позабавил меня эпизод с Хрущёвым, но не увлекайся такими эффектными «штучками-дрючками», Давидка. По сути своей они очень дёшевы. Пришли песню Высоцкого».

Судя по почтовому штемпелю, письмо отправлено 16 марта 1970 года; получается, мы побывали в Петрово-Дальнем в первой декаде марта.

Эти годы (1969—1970) были, пожалуй, самыми драматическими в жизни Володи. Он жил тогда в постоянном напряжении, в состоянии загнанности, затравленности. Ему препятствовали петь на публике, сниматься в кино, он понимал, что может лишиться даже Театра.

Хотя, с другой стороны, уже и Марина появилась в его жизни, и надвигались важные изменения в их отношениях, но — всё у них ещё было зыбко и неопределённо. В мае 1970-го я возил Марину в больницу на Каширке, где в то время лежал Володя; на обратном пути она несколько раз повторила одну и ту же мысль в разных вариациях: «Одно не пойму — зачем мне *всё это* нужно?!»

Порой у Володи бывала беспросветная тоска, причины которой он не мог объяснить.

Я иногда спрашивал:

— В чем дело?! Посмотри — ведь всё у тебя есть! Всё! И Марина, и слава, и друзья...

— Не знаю. Тоска какая-то внутри — неизбывная.

Алогично это с точки зрения здравого смысла: человек имеет *всё* и — он несчастен!

В то мартовское утро Володя приехал ко мне немножко навеселе. Мы никуда не спешили, сидели, говорили на разные темы за рюмкой коньяка. Володя вспоминал о юности, о первых опытах, как нуждался тогда в моральной поддержке, как пел Утёсову, ходил в семью Вертинского...

Попутно замечу, что никогда Володя не рассказывал мне о своей встрече с Анной Андреевной Ахматовой, тогда как в некоторых мемуарах встречаются упоминания о таком событии. Уверен, что, если бы такая встреча была, не упомянуть о ней он просто не мог.

Володя был в состоянии какого-то странного возбуждения. Никогда в жизни мне не приходилось слышать столько комплиментов в свой адрес, как в тот утренний час. Хотя мы давно уже считались близкими друзьями, от некоторых его фраз у меня шла голова кругом. А у кого она не закружится от такого странного тоста: «Ты больше русский, чем все мы. Спасибо тебе...» — и ещё всякие лестные для меня слова. И это произносит человек, который для тебя — *всё.*

Вдруг, в состоянии какого-то душевного порыва, он попросил у меня лист бумаги: «Хочешь, я напишу

тебе сейчас стихи?» Под рукой у меня лежал блокнот, в который я записывал малоизвестные стихи поэтов Серебряного века, и я протянул его Володе.

За какие-нибудь семь—десять минут, почти без поправок, Володя написал экспромт. Эти стихи — ключ к душевному состоянию Высоцкого в те мартовские дни.

И далее:

Но главный сюрприз ожидал меня впереди.

— Хочешь, поедем сейчас к Хрущёву? — ошарашил меня немного погодя Володя.

Каюсь, я не придал его словам серьёзного значения. Я не догадывался тогда, что Володя обладает такими фантастическими возможностями, что он стойкий приверженец жизненного кредо Ивана-царевича русских сказок: «Хотеть — значит мочь». Много позже я понял, что какой-либо глубокой подоплёки за его предложением не стояло — не собирался он в это утро ехать к Хрущёву «советоваться, как ему жить дальше», как утверждают многие мемуаристы, — просто хотел сделать мне что-то приятное.

Не раздумывая, я ответил:

— Конечно, хочу, но как?

— Сейчас увидишь, — сказал Володя, взял трубку и набрал номер Юлии, внучки Хрущёва. Поразительно всё это у него получалось.

Юлия:

— Нет, Володя, сегодня это невозможно.

Я слышу, *как* она отвечает, — ясно, что ей сейчас не до него. У Юлии, видимо, свои планы на сегодняшний день, свои резоны (позже я узнал, что её муж был тогда тяжело, фактически безнадёжно, болен). Да и не так, наверное, просто организовать эту встречу: нужно предварительно предупредить Хрущёва, договориться с ним; ведь хозяйка в доме — Нина Петровна. И сам Хрущёв может иметь собственные планы на сегодня или плохо себя чувствовать. К тому же там охрана...

Но Володя уже принял решение: он должен сегодня туда поехать! Тем более что он уже пообещал эту поездку мне. Минут десять он уговаривал Юлию, приводил какие-то доводы, в конце концов она сказала что-то вроде: приезжай, поговорим. Я чувствовал себя неловко, но, как говорится, меня не спрашивали, — да и перечить Володе в этом настроении было бесполезно.

Поехали к Юлии. Она жила на Кутузовском проспекте, в довольно скромной двух- или трехкомнатной квартире. Юлия в некоторой растерянности. А её муж, интеллигентного вида человек, болезненно худой, спрашивает:

— Володя, а вы что — хотите с *вашим другом* туда поехать?

Интонация в его словах была такая: одному, мол, ещё куда ни шло, но вдвоем!.. Надо же и совесть иметь! Может быть, определённые подозрения у него вызывала и моя кавказская внешность.

Но — и это удивительная черта характера Володи, — решившись на что-то, он действовал с таким напором и убеждённостью, что просто *вынуждал* всех поступать по-своему.

— Да-да, это мой близкий друг, мы поедем с ним! Юля, ну ты позвони — мне обязательно нужно с

Никитой Сергеичем поговорить!

Наконец Юлия сдалась.

Звонит Хрущёву:

— Дедушка, можно я к тебе сейчас приеду с двумя актерами «Современника»? Они хотят посоветоваться с тобой. Помнишь, ты у них был на спектакле?

Юлия, видимо, не смогла придумать лучшего предлога для поездки. Хрущёв действительно недавно был в «Современнике» на спектакле «Большевики» по пьесе Шатрова, и она решила этим поводом воспользоваться. Потому что, как вскоре выяснилось, Хрущёв Высоцкого знать не знал и слыхом не слыхивал. Никакого понятия о Высоцком он не имел!

Нам повезло, что дома не было Нины Петровны, которая, по словам Юлии, всячески ограждала мужа от нежданных визитёров.

Никита Сергеевич сразу согласился:

— Ну, приезжайте.

Володя — Юлии:

— Вот видишь, как просто!

А та отвечает устало:

— Ну, и напор у тебя, Володя!

Быстро собрались, уже выходим из квартиры, — и вдруг Володя стал объяснять мужу Юлии (по-моему, тот был журналистом), что его другу, Гарику Кохановскому, нужно помочь опубликовать подборку стихов и надо пробить это дело как можно скорее. Муж неуверенно отнекивался, но Володя не отступал: «Ты должен сделать это для моего друга!» Мне показалось, они уже говорили об этом раньше, и Володя просто напоминал об уже данном обещании, — отсюда его настойчивость.

И это тоже — характерная черта Володи: в такой момент он помнил о Гарике! Он вообще постоянно помнил о своих друзьях, которым часто помогал без всяких просьб с их стороны. Это был, если угодно, один из основных его жизненных постулатов: *Если хочешь дружить со мной, помогай моим друзьям.* Я не раз становился очевидцем таких разговоров...

И вот мы едем к Хрущёву, на его дачу в Петрово-Дальнем. По дороге обсудили, о чём, собственно, мы собираемся с Никитой Сергеичем говорить. Юлия немного успокоилась. Приехали. Ворота со смотровым окошком. Юлия звонит охраннику: «Это я, Юра». Тот смотрит на нас с недоумением: приехали какие-то подозрительные личности. Но сделать он ничего не может — мы с Юлией. Пропустил нас молча, и мы направились к дому.

Никита Сергеевич ждал нас в своей комнате в мансарде. Из того, что там было, мне запомнились нечастый в то время японский транзисторный радиоприёмник, книга «Пчеловодство», которая лежала на столе раскрытой, обложкой вверх, и симпатичная собачонка Тайга. Я не слишком доволен своей зрительной памятью: больше запоминаю слова, а предметы и лица — не очень. Поэтому лучше помню, о чем мы говорили с Хрущёвым, чем какие-то внешние детали.

Представляя нас деду, Юлия снова назвала нас актерами «Современника» — так оно и оставалось до конца разговора. Она сказала, что Володя известный актёр, пишет хорошие песни и сам их поёт, но у него есть профессиональные трудности: его «затирают», не дают выступать, и он хочет посоветоваться, как ему быть. Остальное время Юлия преимущественно молчала: она как бы ввела разговор в нужное русло, а

потом просто сидела и слушала нашу беседу, показывая своим видом: вы хотели видеть деда — вот и говорите с ним о чём угодно.

В Хрущёве была заметна вполне понятная настороженность, но в целом он вёл себя раскованно. Володя при знакомстве что-то рассказал о себе; я, по-моему, тоже сказал несколько слов о своём отце, вместе с которым в детстве видел Хрущёва в Сочи, в санатории Совмина, — в общем, попытался как-то примкнуть к разговору. Хрущёв говорил что-то о пьесе Шатрова, о том, как в ней отражены Брестский мир, личности Ленина и его оппонентов.

Через несколько минут он предложил нам продолжить беседу на свежем воздухе — прогуляться, пока будет готов обед. День был прекрасный, солнечный; небо — мартовская лазурь. Гуляли вчетвером, плюс Тайга.

Почти сразу речь зашла о Володиных проблемах. Выяснилось, что песен Высоцкого Хрущёв не слышал, и поэтому какого-то детального разговора на эту тему быть не могло. Тогда Володя в очень простых словах обрисовал Хрущёву свое положение. Общий смысл был такой:

— Песни мои ругают, выступать не дают, на каждом шагу ставят палки в колёса. А люди хотят слушать... К кому из руководства мне лучше обратиться? Вы ведь там всех знаете.

Хрущёв довольно долго не мог никого назвать, думал, перебирал:

— Даже не знаю, кого вам посоветовать. Лучше, наверное, идти к Демичеву: он более-менее молодой, прогрессивный, выдвигался при мне, лучше остальных в таких вещах разбирается...

Но особенной уверенности, что Демичев что-то сделает, в голосе Хрущёва не чувствовалось. Кажется, он им всем знал цену.

(Никита Сергеевич как в воду смотрел: через несколько лет именно Демичев будет заниматься вопросами выпуска первой большой пластинки Высоцкого и Марины Влади. О том, как он «помогал», можно узнать из её мемуаров.)

Каким-то образом зашёл разговор и о хрущёвских пятиэтажках. Хрущёв сильно обижался по этому поводу:

— Вот, меня сейчас все ругают, дома эти называют «хрущобами», а не говорят, что мы тогда *вытащили* людей из подвалов, где и сортиров не было, дали им благоустроенное жильё — правда, маленькое, с низкими потолками, но жить-то можно. Ведь при Сталине жилых домов почти не строили, а я из-за этих «хрущоб» с армией поругался.

Конечно, он не догадывался, что один из его нежданных гостей проживает именно в такой «хрущобе» и может непосредственно судить о плюсах и минусах ударных новостроек. Лично я был совершенно согласен с Хрущёвым — у людей короткая память... Видимо, «бессмысленный народ» больше устраивали сталинские коммуналки с трехметровыми потолками, лоджиями и гарантированным террором...

Я смотрел на Хрущёва во все глаза, ещё не веря, что передо мной человек, от которого совсем недавно зависели судьбы мира.

...Так близко я видел Никиту Сергеевича третий раз в жизни. Последний раз это произошло за девять лет до этого, летом 1961 года.

После окончания второго курса факультета немецкого языка я подрабатывал гидом-переводчиком, сопровождая молодёжные группы из Восточной Германии. В один из июльских дней, знакомясь с достопримечательностями столицы, мы забрели на Соборную площадь Кремля. Только я начал излагать

вызубренный текст о превратностях судьбы Царь-колокола, как запнулся на полуфразе: из Большого Кремлёвского дворца повзводно выходили руководители партии и правительства во главе с Хрущёвым. Застигнутая врасплох юная немка из моей группы стиснула мне локоть и, теряя сознание, простонала: «Mein Gott, Krustschev!»

По её реакции, по восторгу, охватившему опешившую площадь, забитую преимущественно иностранными туристами, нетрудно было понять, какие надежды связывал Запад с этим человеком. Только спустя двадцать пять лет подобная популярность настигнет М.С. Горбачёва. Но первым всё-таки был Хрущёв.

Сосредоточенно уставившись в пылающий асфальт, наши небожители почему-то не осмеливались взглянуть на «единый с ними» народ. Моментально вспомнилось хрестоматийное ленинское «страшно далеки они от народа». Физиономии у них были такие мрачные, словно это дефилировали не вершители судеб одной шестой суши, а рядовые рецидивисты, этапируемые к очередному месту заключения. Ярко светило солнце, и в память почему-то врезались отливающие купоросом, крашеные в радикальный чёрный цвет волосы и усы Анастаса Микояна...

Единственным отрадным исключением в этом скорбном кортеже «хладных скопцов» был Хрущёв. Он поднял голову, увидел тысячи устремлённых на него глаз и, улыбнувшись, приветственно помахал рукой...

Видя сейчас перед собой высохшее старческое лицо, я мысленно перенёсся в тот знойный июльский день. Его не могли не убрать — слишком уж часто и безрассудно нарушал он негласные аппаратные «правила игры»...

Прогулка длилась минут пятнадцать-двадцать, а когда мы вернулись, стол уже был накрыт. Сели вчетвером: Никита Сергеевич, Юлия, Володя и я. Тайга пристроилась у ног хозяина. Скромный обед (или поздний завтрак): яичница с беконом, масло, овощной салат, кофе с молоком. Прислуживала горничная-кухарка, симпатичная женщина средних лет. Только уселись за столом, как вдруг Володя спросил:

— Никита Сергеич, а у вас не найдётся чего-нибудь выпить?

И спросил таким тоном, словно они с хозяином друзья-приятели и только вчера расстались. Я оцепенел: как отнесётся Хрущёв к подобной просьбе со стороны молодёжи? Возмутится, будет скандал?..

Но он отреагировал на удивление спокойно:

— Вообще-то есть, — и достал из кухонного шкафа початую бутылку «Московской особой».

Володя сразу налил мне и себе, а хозяин отказался:

— Мне врачи запретили, я не пью.

Всё же было заметно, что он сильно удивлён таким поведением гостей...

После этого эпизода (по ходу обеда бутылку мы с Володей постепенно прикончили) беседа пошла свободнее. Мы накинулись на хозяина с вопросами. Спрашивали обо всём: о Сталине и Берии, о том, как мог Хрущёв не догадаться о заговоре...

Впоследствии я читал в мемуарах сына Хрущёва, что Высоцкий при этой встрече советовался с его отцом только о своих личных проблемах. Но на самом деле мы говорили с Хрущёвым о многом. Помню, я спросил:

— Правда ли, что в процессе десталинизации участвовал и Берия?

Ответ был неожиданно чистосердечным:

— Мы оба начинали, но независимо друг от друга.

То есть он подтвердил, что в либеральных реформах Берия тоже участвовал. Для меня в то время это было важнейшим признанием.

Очень много разговоров в своё время было об осетинском происхождении Сталина. Кроме Мандельштама, об этом писал и Троцкий, объясняя некоторые преступления Сталина мстительностью осетин и их приверженностью обычаям «кровавой мести». Когда я задал этот вопрос Хрущёву, Юлия улыбнулась:

— Вы это у Мандельштама прочли?

Увы, меня ждало разочарование: Никита Сергеевич об этом ничего не знал.

Спрашивали, как вели себя члены Политбюро по отношению к Сталину. Хрущёв рассказывал, что Сталин всех опасался, никому не доверял — даже себе самому. Про это Хрущёв, видимо, говорил и другим: эти слова прочно вошли в обиход исторической литературы о Сталине. Нам же Никита Сергеевич точно рассказал, *где* именно и когда он их услышал впервые:

— Как-то после войны приглашает Сталин нас с Анастасом Иванычем на обед — это было, кажется, в его резиденции на озере Рица. Никого больше из Политбюро не было. И тут он, к нашему великому удивлению, разоткровенничался: «Я никому не верю, даже самому себе».

Очень тепло Хрущёв говорил о Микояне, называл его по имени-отчеству. Всех прочих — по фамилии!

Много рассказывал про Берию:

— Провокатор! Подходил ко всем нам поочерёдно, отводил в угол и заводил такие разговоры: «Сталин — тиран, давайте соединимся, а то он нас всех уничтожит». Мы боялись, что он потом пойдет к Сталину и донесёт. Страшный был человек.

Рассказывая о Берии, рисуя его психологический портрет, Хрущёв коснулся и драматической сцены финального расставания «учеников с Учителем» на Ближней даче. (Его рассказ, кстати сказать, почти полностью совпадал с содержанием известной газетной публикации в аджубеевской «Неделе» периода оттепели, бывшей, по-видимому, литературной обработкой именно этого свидетельства.) Вот что мы от него услышали:

— Все мы, члены Политбюро, стояли недалеко от дивана, на котором лежал умирающий. Когда у него закрылись глаза, мы решили, что это конец, он скончался. Первым отреагировал Берия. Торжествующим голосом он вскрикнул: «Тиран умер!»

Мы пребывали в молчании: каждый был погружён в свои мысли. Но спустя мгновение у Сталина, к нашему изумлению, начали медленно приподниматься веки. Нас охватил ужас, а Берия, подскочив к дивану, рухнул на колени, схватил руку Сталина, стал её целовать и, вышибая слезу, прошептал: «Я здесь, Иосиф Виссарионович».

Но вот вежды вождя вновь сомкнулись. Берия вскочил и снова закричал: «Тиран и убийца мёртв!»

Через несколько минут глаза Сталина приоткрылись и ещё раз уставились на нас. Мы окаменели. Берия же, один к одному, снова исполнил тот же номер. Эта комедия повторилась три-четыре раза, пока Сталин окончательно не смежил очи, на этот раз бесповоротно. Вот он какой был, Берия!.. Что рядом с ним этот, как его, — у Шекспира — ну как же его?

— Яго? Ричард Третий? Клавдий? — Все трое мы дружно устремились ему на помощь.

— Да нет, — мучительно ворошил в слабеющей памяти вереницу шекспировских злодеев Никита Сергеевич, — нет, этот, — ну как же его?.. Макбет! Так вот, перед Берией он — мальчишка!

По словам Хрущёва, единственным человеком, который мог открыто сказать Берии правду в лицо, даже в присутствии Сталина, был Молотов: «Ну, этот всё может».

На такой высокой литературной ноте и закончился этот рассказ о коварном экс-соратнике.

Помню Володин *политический* вопрос:

— Никита Сергеевич, неужели вы не догадывались, что Сталин сам санкционирует репрессии 1937 года?

Хрущёв в ответ рассказал большую историю о том, как он, в годы работы на Украине, по настоянию Сталина, скрепя сердце отпустил «на повышение» в Москву своего товарища и ближайшего сотрудника. И тот вскоре пропал из его поля зрения. А при очередной встрече в Москве Сталин, опережая вопрос Хрущёва и изобразив скорбную мину, сказал: «Представляешь, Никита, эти *мерзавцы* забрали его. Такого работника! Поздно узнал, ничего не смог сделать».

— И я поверил ему. Мы все тогда думали, что всё зло — от НКВД, что его главари обманывают Сталина и партию. Там было всё не так просто: ведь Сталин сам разоблачил Ягоду и Ежова и расправился с ними. Мы верили в их заговор против ленинского ЦК — такими были наивными. И потом — Сталин умел убеждать, умел нравиться, привлекать на свою сторону.

Мы слушали Хрущёва, можно сказать, открыв рот. Спрашивали наперебой, как это он проморгал октябрьский переворот? Ответа дословно не помню, но суть его слов была примерно такой: «Да вот этот, — здесь он мимикой и жестами очень похоже изобразил брови Брежнева, — предателем оказался. И о Суслове меня тоже мои люди предупреждали, советовали его убрать, но я не послушался».

После чего Володя спросил:

— А почему, Никита Сергеич?

— Да потому что дураком был.

Чем дольше мы с ним говорили, тем больше он теплел. Чувствовалось, ему приятно говорить с молодыми людьми. Мы уверяли его, что не забываем, сколько полезного сделал он для народа. Сказали, что вот, — мы так ждали реформ, так надеялись на перемены, а теперь страдаем, можно сказать, из-за его доверчивости.

Ближе к концу застолья Володя спросил, есть ли в доме гитара. Но гитары не оказалось, на что он весело сказал:

— Ну, в таком случае разрешите приехать ещё раз, попеть для вас.

Хрущёв ответил, что да, конечно, и больше мы к этой теме не возвращались.

Помню, уже выходя из дома, Высоцкий спросил:

— Никита Сергеич, столько вы всего знаете, столько прошло через вас событий, почему не напишете мемуары? Люди, молодежь — ждут.

— А вы мне можете назвать издательство, которое бы их напечатало?

(Позже, когда мы вернулись ко мне домой, Володя сказал, что в этот момент он подумал: «А сам-то ты как в свое время к таким вещам относился?» А потом добавил: «Они прозревают только тогда, когда это их лично коснётся».)

Никита Сергеевич вызвался нас провожать, Тайга увязалась за нами, и мы ещё с полчаса

разговаривали, гуляя по дачному участку. И тут он стал говорить об антисталинской компании: как он её начинал, как она проходила. Возможно, кое о чём он не решился упоминать за столом, опасаясь прослушивания. Один эпизод из рассказанных особенно врезался в память, по памяти я его здесь и привожу.

«Меня фактически вынудили проводить эту кампанию. Сразу же после смерти Сталина в ЦК КПСС стали приходить кучи писем от западных компартий — из Чехословакии, Венгрии и других мест. Ведь в числе репрессированных в тридцать седьмом и в более поздние годы было много деятелей западных коммунистических и рабочих партий. Писали их жёны и дети: «Что же там такое у вас произошло? Давайте разбирайтесь». Надо было принимать какое-то решение.

Я собираю Политбюро, спрашиваю: «Что мы им будем отвечать? Врагов мы наказали или невиновные погибли?» К тому же многие репрессированные коминтерновцы проходили по разным уклонам: левые, правые, троцкисты, — и если мы будем их оправдывать, то надо нам и у себя решать, как быть с Зиновьевым, Каменевым, Бухариным... Мы уже решили реабилитировать Тухачевского, Яки-ра, Постышева, но надо же что-то и с этими решать. Я им (членам Политбюро) говорю: «Ну какой же Зиновьев враг народа, если Ленин его называл Гришей? Ведь Ленин в Разливе вместе с этим Гришей в одном шалаше скрывался».

Помню, я тогда удивился: все они больше склонялись оправдать «правых» уклонистов — Бухарина и Рыкова, — а Зиновьева и Каменева, связанных с троцкистами, люто ненавидели. И вообще колебались: «Нет, к этому мы не готовы. Это грозит устоям нашего общества. Этим тоже надо заниматься, но — постепенно». В общем, коллективное руководство меня не поддержало. Кроме Микояна, — остальные или мялись, или были решительно против. Приходилось считаться и с репутацией лидеров братских компартий, в своё время полностью одобривших сталинские чистки.

А я им сказал: «Тогда давайте сделаем так, чтобы совесть у нас была чиста. Давайте напишем *Завещание для потомков* от имени всего нашего коллективного руководства. С условием: вскрыть после нашей смерти. И в этом *Завещании* подпишемся, что ни Бухарин, ни Зиновьев, ни Рыков, все эти правые и левые уклонисты, — не были врагами народа. Что мы их реабилитируем и таким образом восстанавливаем историческую правду».

Не приняли! И я ничего не мог с этим поделать — коллективное руководство»...

Провожая нас, Хрущёв вышел за ворота. Местные жители снисходительно-уважительно с ним здоровались: «Здрасьте, Никита Сергеич».

Запомнилось, что на нём был габардиновый плащ: старый плащ серо-стального цвета, какие в те годы носили все наши руководители. На левой стороне было небольшое масляное пятно, и ещё — не хватало одной пуговицы, на её месте болтались обрывки ниток. Все эти мелочи остались в памяти только потому, что Володя тогда же сказал мне вполголоса: «Что ж это Нина Петровна — не может, что ли, ему пуговицу пришить?»

Вот так это всё тогда и происходило...

Рассказ об этой нашей поездке не раз появлялся в печати. Но было в нём так много ерунды и откровенной неправды, что порой мне просто неловко было всё это читать. Небылицы появлялись даже в мелочах. Так, некий «биограф» Высоцкого в своём объёмистом опусе убеждает читателей, что водку тот закусывал солёными рыжиками. Дешевый журналистский приём в расчёте на отсутствие свидетелей. Не было никаких рыжиков.

И песен Хрущёву Высоцкий не пел, и разговора о выставке художников-абстракционистов в Манеже

не было; не приносил нам Хрущёв и старых газет, в которых говорилось бы о его заслугах в борьбе с культом личности, и уж тем более не декламировал Володиных стихов. Не было и «пидорасов»...

Но, может быть, не только мемуаристы, в том числе и Марина Влади, виноваты в таком количестве неточностей и неправды. Володя был прекрасным рассказчиком и мог, скажем так, приврать для красоты. Даже не то чтобы приврать, а прихвастнуть, разукрасить свой рассказ — вполне простительная для профессионального артиста слабость. Описывая тот или иной эпизод своей жизни, он, особенно если было много слушателей, меньше всего заботился об абсолютной достоверности. Для него это были своеобразные моноспектакли, в которых полёт фантазии — их неотъемлемая часть. Другое дело, когда разговор шёл тет-а-тет. Тогда пропорция правда—выдумка резко менялась.

И ещё раз подчеркну: Володя в этот день не собирался специально ехать к Хрущёву, чтобы посоветоваться с ним о своих проблемах (как следует из всех интерпретаций этой поездки). Могу с абсолютной уверенностью утверждать, что это была поездка-экспромт, такой вот подарок мне при соответствующем Володином настроении.

Незабываемым для меня стал и общий настрой той беседы. Володя вёл себя так, как будто рядом с ним сидел не бывший руководитель страны, а обыкновенный пенсионер. Он не испытывал какого-то пиетета или трепета по отношению к Хрущёву, скорее — снисходительность. Было видно, что Высоцкий отдаёт ему должное, но в то же время за его словами как бы стояло: «Как же это вы прозевали, и мы опять в это дерьмо окунулись?!»

Мне показалось, что Никита Сергеевич уже был как бы в *отключке* от общественной ситуации, у него было совершенно другое состояние — что-то типа прострации. Нужно учесть и его возраст — ему было тогда 76 лет: он выглядел окончательно разуверившимся в «предустановленной гармонии», одряхлевшим Кандидом, который на склоне лет принялся «возделывать свой сад». О событиях своей жизни он говорил без сопереживания, как о чем-то фатальном. Живая обида чувствовалась только в его словах относительно «хрущоб»: «Я же пытался сделать людям лучше... где же благодарность людская?.. Подняли их из дерьма, и они же ещё обзывают». И, пожалуй, в его рассказе о «заговоре» тоже звучало живое недоумение по поводу собственной близорукости.

Для Володи беседа с Хрущёвым не была таким событием, как для меня, — по крайней мере, так мне показалось. Просто ещё одним доказательством собственных неограниченных возможностей. Впрочем, в течение нескольких месяцев Володя всем взахлёб рассказывал об этой встрече, — значит, и для него она была важной.

...Как-то в разговоре Андрей Тарковский огорошил меня экстравагантным сравнением Хрущёва со Стенькой Разиным. Поначалу эта параллель показалась мне не более чем эффектным парадоксом, но, поразмыслив, я, кажется, понял, что он имел в виду. Он наверняка сближал их по принципу душевного родства — вечно мечущейся между светом и тенью опасной широты русской натуры.

Вспомним амплитуду колебаний «великого десятилетия»: XX съезд и Будапешт, «ворота в Кремле» и бойня в Тбилиси, отмена колхозно-крепостного права и Новочеркасск, «Иван Денисович» и «Доктор Живаго», народные новостройки и политические психушки, разинский расстрел валютчиков и сочинская встреча с ворюгой-рецидивистом, разинский же порыв к воле и партийная зашоренность (при счастливой неспособности к методическому злодейству в стиле Ленина—Сталина).

И уж чистой воды разинщиной, дикой обструкцией западной цивилизации, был его «башмачный бунт» в цитадели Этикета — здании ООН.

Такие фигуры изначально обречены на политическое фиаско... Сумбурный либерализм хрущёвского

толка «Святая Русь» принципиально отторгает. Не снесли головы Пётр Третий и Лжедимитрий, бесславно ушли Керенский и Горбачёв.

Чем криминальнее режим, чем нестерпимее гнёт, тем он любезнее народу. Мощь государства оправдывает все жертвы. Подумаешь, — индивидуальная судьба! «Жила бы страна родная, и нету других забот» — как поётся в песне. Идеалы патриотизма низов и верхов полностью совпадают. Ни садизм, ни изуверство сами по себе ещё не отменяют патриотизма. Патриотом был Иван Грозный. Им был и Иосиф Сталин. Они-то и остались в памяти народной. Об Александре Втором песен не распевают.

Неспроста Константин Леонтьев утверждал, что русскому народу «хороший генерал» понятнее и даже приятнее английской конституции. «Обскуранту» Леонтьеву вторил архиреволюционер Горький: «Я убеждён, что русский народ болен отвратительной болезнью, требующей немедленного, сложного и длительного лечения... А если этот народ духовно здоров, — тогда что же? Тогда можно сказать лишь одно: он заслужил все свои страдания в настоящем, заслуживает их в будущем».

Глава девятая.

МИНСК — ЯЛТА. К ТУРОВУ!

Вскоре после нашего визита к Хрущёву Володя предложил мне махнуть на денёк-другой в Минск.

— Хочу познакомить тебя с моим другом Виктором Туровым. Он нас ждёт.

Об этом человеке я был уже наслышан. Володя всегда говорил о нём с чувством признательности. Ведь именно в фильме Турова «Я родом из детства» впервые прозвучали песни Высоцкого. Во время своих концертов Володя упоминал об этом неизменно.

Поезд наш отходил ночью, и надо было где-то скоротать оставшееся время. Решили зайти в ресторан ВТО, благо находился он недалеко от Белорусского вокзала, на нынешней Тверской.

В руках у Володи был целлофановый пакет из «Берёзки» с бутылкой «Московской». Прихватив на всякий случай мою электробритву, мы поспешили к стоянке такси возле нашего дома, у универмага «Москва».

Мне была уже хорошо знакома определённая цикличность Володиных загулов. Начало их было мирным и не очень маятным, если не считать бурунов и завертей пикантных ситуаций, вечно возникавших вокруг Высоцкого. Он стремился доказать скептикам и, прежде всего, самому себе, что может собственными силами выбраться из запоя, когда сам того пожелает. Он жаждал преодолеть болезнь волевым усилием, наперекор диагнозу и судьбе.

Отсюда этот лихой предотъездный настрой, этот наигранный кураж поручика лейб-гвардии гусарского полка, которому море по колено. Словом: «По коням, господа!», «Отдать швартовы!», «Экипаж, взлетаем!» То была странная мальчишеская игра, мало общего имеющая с реальным Высоцким, с глубокой серьёзностью его натуры.

Не успели мы занять столик, как Володя, заметив вошедшую в зал незнакомку цыганской наружности, одним прыжком очутился около неё. Неуклюже обняв растерявшуюся красотку, он влепил ей театрально-знойный поцелуй и вернулся на место. Сразу повеяло олеандрами и Андалузией. Залётная Карменсита казалась скорее польщённой, нежели оскорблённой.

Трогательная нарочитость имитации разгула страсти бросалась в глаза. Эта мимолётная миниатюра была публичным утверждением собственной полноценности, а сымпровизированный им Дон Жуан — метафорой физического здоровья.

В ретроспективе эта сценка выглядит актёрской пробой Высоцкого на роль Дон Гуана в фильме «Каменный гость». И экранный Дон Гуан не убедительнее ресторанного. Та же аффектация, то же позёрство. Не выручает и актриса, играющая Донну Анну. Слабо веришь в этот бурный кладбищенский роман, в это родство душ овечки и волка. Экранная Командорша, хоть и чертовски пикантна, больше напоминает не борющуюся с искушением католическую вдову, а согрешившую московскую школьницу, для коей отцовский ремень пострашнее Божьей кары. Вины актёров тут нет. Трудно играть пустоту, ещё труднее — полюбить её.

Сколько сказано об идентичности Дон Гуана и Высоцкого, о том, что в «Каменном госте» он сыграл самого себя. Трудно придумать что-либо более нелепое. Хотя возможно. Если согласиться, например, что Статуя Командора в том же фильме олицетворяет Советское правосудие. Сближают их ещё по признаку профессиональному: дескать, оба и стишками баловались, и на гитаре бренчали. Но что общего у творца панорамы эпохи с куплетистом-полуночником? У универсальности — со специализацией? У Волги с Гвадалквивиром? У правды с ложью, наконец?

Высоцкий — это великое отплытие к «великим морям», Дон Гуан же — вороватый ночной маршрут: ограда — балкон—альков.

Хронологически Дон Гуан — первый в Европе идеолог женской эмансипации. Первый антирыцарь. Объявив Женщине войну без правил, он как бы поставил под сомнение её природное право на льготы и привилегии. Польщённые внезапным повышением своего биологического и социального ранга, бедняжки дружными косяками тут же потянулись в объятия этого альковного паучищи.

Дон Гуан — прямой предтеча Грядущего Хама. Всю его суть можно целиком втиснуть в народное резюме: «На грош амуниции, на миллион амбиции». Или — в горестное причитание Ахмадулиной:

Для низменных душ чужие страдания всегда фиеста, особенно когда причиной их — они сами. Так они самоутверждаются.

Дезертировать из настежь распахнутой в героику эпохи в дамский будуар — удел Нарцисса. Сами по себе дон гуаны лишены индивидуальности. Они существуют, пока воспринимаемы женщиной, пока любопытны ей. Реквизиты мужества — шпага, плащ, усы — лишь ловко маскируют фатальную женственность их натуры. Они — суть объекты, чья единственная забота — выглядеть значительными в глазах своих будущих жертв. Только шуршание женских юбок даёт им иллюзию собственной состоятельности. Записные кокетки, вечно охорашивающиеся перед кривым зеркалом тщеславия. Как смешны они вне розовой оправы будуара, без ореола и антуража. Остаётся одно — топиться. И это — не драма тоскующей души, а прощальный аккорд серенады «Окаянные ночи». Что ж:

У Дон Гуана женственно даже его незатухающее любострастие. Ну не должен мужчина быть пожизненным заложником Эроса — его ждёт Дело.

Отчаянно мужественен воюющий с ветряными мельницами, внешне нелепый рыцарь из Ламанчи. Дон Кихот — путь, выбор на распутье, Дон Гуан — беспутье и беспутство. Что с того, что чудачество вечно не в чести, что Инезы и Дульцинеи всех эпох беспечными бабочками слетаются к дон гуанам. Они фатально путают мужественность с мужской потенцией, силу духа — с силой физической.

Первый признак мужественности — великодушие. Для благородного любовь — не «тот поединок роковой», а дар небес; до истинной сути женщины ему нет никакого дела. Он — сама благодарность и снисходительность. Идеализация Женщины от избытка великодушия — вот психология рыцарства.

Утащив Дон Гуана в тартарары, Командор поступил как настоящий идальго. Но интерьер преисподней слишком величественен для этого мелкого пакостника. Куда больше подходит ему раззолоченный гарем — этот царственный будуар Азии. Оскопленный щёголь, вкусно сплетничающий с «подружками», — вот итоговая жанровая сценка, достойная этого «богоборца».

Для Высоцкого женщина прежде всего была «отдыхом воина», привалом между «трудами и днями». Замкнутой монадой, живущей по собственным законам, вернее, собственному произволу. Он видел в ней существо иного разряда, иных миров, неподвластное мужской логике, мужскому суду. Но всякую проповедь житейских истин, всякую попытку заземлить себя он воспринимал как вторжение в запретную зону духа. Высоцкий хотел понимания, а не опеки, покоя, а не нравоучения, субординации, а не эмансипации. И всепрощения! Словом, он нуждался не в «женщине—полемике», а в «женщине—поэме».

Оттого, видно, и не складывалась у него нормальная семейная жизнь. Как ни ценил Володя в женщине красоту, скромность, опрятность, ещё выше ставил он сдержанность, способность промолчать, перетерпеть. В этой тенденции улавливались отзвуки Большого Каретного. Разве не утверждал, смущённо улыбаясь, Тарковский, что «жена, в сущности, нужна для уюта»? Хорошо была мне знакома и жестковатая, мягко говоря, «Философия неравенства» Артура Макарова, главного идеолога Большого Каретного.

По тем временам это выглядело революционным вызовом лицемерной доктрине «советского неоматриархата».

Природная ревнивость мирно уживалась в Володе со снисходительностью, жёсткость — с великодушием. Русский самородок, не гнушавшийся здоровым матом, он ни за что не позволял себе похабщины в отношении женщин, пусть даже достойных осуждения.

Как ново это было для меня, уроженца Кавказа! Ведь наша хамская логика с ходу зачисляла в разряд «продажных тварей» дерзнувшую нас отвергнуть вчерашнюю «даму сердца». И не только оную. Подобная участь грозила и любой миловидной незнакомке, рискнувшей завести себе кавалера, не догадавшись дождаться нас — единственных и неповторимых. Невинное женское нетерпение приравнивалось к несмываемому личному оскорблению. Только уроки Высоцкого помогли мне преодолеть эту пещерную мегаломанию.

Не успела официантка принести графинчик с коньяком, как к нам подошёл знакомый завсегдатай ВТО.

— Ребята, не оборачивайтесь сразу. Там две девицы не спускают с вас глаз. Кажется, цыганки. Не теряйте времени!

Цыганский романсеро продолжался. Володя, не выдержав, тут же обернулся и... затрепетал:

— Давай возьмём их с собой!

И впрямь, обе были чудо как хороши. Наверняка «ромэновки». Видимо, они сразу узнали Высоцкого и жаждали знакомства с ним. Мысленно подсчитав наличные финансы, я с прискорбием охладил его пыл:

— На туда и обратно не хватит. Не покупать же им билеты самим? Давай договоримся с ними на послезавтра, здесь же.

Пока мы обсуждали сложившуюся ситуацию, к нам подсадили смутного возраста даму из театральных кругов, хотя свободных мест хватало. Обычно ресторан заполнялся к десяти, после окончания спектаклей. Непонятно, какая муха укусила нашу незваную гостью, но, увидев перед собой Высоцкого во плоти, она прямо-таки заклокотала праведным гражданским гневом:

— Надоели эти бесконечные слухи о вашей персоне. То вы вешаетесь, то режете себе вены, но почему-то до сих пор живы. Когда вы угомонитесь? Почему всё должно вращаться вокруг вас? Вот я живу в Ленинграде. Не успела приехать, а уже приглашена в компанию, где обещают показать Высоцкого. Прямо аттракцион какой-то. Чего вы добиваетесь? Дайте людям спокойно жить!

Володя выслушал гостью на удивление спокойно. Он добродушно ухмылялся — казалось, весь этот ушат обвинений был вылит не на его голову. Мысли его были далеко. Но почему-то безмолвствовал и я, давно уже по-манихейски разделивший население страны на ревнителей и хулителей Высоцкого. Первые воплощали для меня свет, вторые — тьму. Не я ли обвинял их в намеренном саботаже Высоцкого, в блокировке самосознания нации с целью удержать его на уровне примитивного мифотворчества?

И тем не менее я продолжал тупо молчать: что-то мешало мне возмутиться. Сама интонация голоса отражала сложную внутреннюю борьбу. Обличительный пафос звучал в моих ушах завуалированным объяснением в любви. Должно быть, её привлекал советский актёр Высоцкий, но отпугивал хоронящийся в нём недобитый поручик Брусенцов. Он-то, вражина, и спаивает его, и нашёптывает ему все эти томящие душу, куда-то зовущие крамольные песни. И разве не он вложил в уста стойкого подпольщика из «Интервенции» декадентские «Деревянные костюмы»?

Не дождавшись реакции Высоцкого, дама обратилась ко мне:

— А вы, конечно, за своего друга горой?

И снова почудился мне в этом голосе не вызов, а смутное желание поступиться голыми принципами в угоду голосу плоти. При моём содействии. Но при виде возмутительного безразличия Володи к страданиям незнакомки мне расхотелось углубляться в дебри психоанализа. Тем более что всё это могло оказаться плодом моей пылкой восточной фантазии, и нашей соседкой была отнюдь не страждущая пациентка, а заурядная дура. Что бурный её монолог — вовсе не вспышка либидо, а вскрик бдительности. Не приватное: «Я вас люблю», а гражданское: «Куда только власти смотрят!»

Скандальная слава Высоцкого шокировала многих. Особенно негодовали дружно сбившиеся в элитные стаи члены «творческих союзов». Неудивительно. «Творимая легенда» этой «беззаконной кометы» ещё резче оттеняла их ликующий конформизм. Рвущиеся к нормированным льготам, они никак не желали мириться с «дантовской» привилегией Высоцкого следовать своим путём.

И разве не та же тоска по равенству сквозила в унылом рефрене его коллег по театру: «А почему ему можно всё?»

...Надо было что-то отвечать гостье, и я посоветовал ей впредь быть разборчивее в выборе знакомых.

— Вы жертва дезинформации. Судите сами. Никакого Высоцкого вы сегодня больше не увидите.

Через несколько часов мы уезжаем в Минск. Такие вот «знакомые» и распространяют всякие небылицы и сплетни. При чём здесь сам Высоцкий?

Сконфуженная дама молча уткнулась в остывший бифштекс...

А на следующее утро мы уже бодро шествовали по минскому перрону. Тут же сели в такси и поехали прямо к Турову, на его новую квартиру.

Дверь нам открыл сам Виктор и... не сдержал удивления. И вот почему. Вот как он рассказал о нашем приезде 26 лет спустя: «Итак, Карапетян согласился ехать с Высоцким ко мне. Но прежде Высоцкий позвонил мне домой. Не застал... Набрал телефон «Беларусьфильма». Там тоже меня не оказалось. Тем не менее он попросил кого-то на студии передать мне, чтоб я его ждал, так как утром он будет «как штык» с другом в Минске. Я подумал: ну какой друг? Несомненно, Марина. Я жил тогда в ещё не очень обустроенной квартире, недалеко от киностудии, поэтому на всякий случай забронировал два места в гостинице «Минск».

На следующее утро — звонок в дверь. Открываю. Стоит улыбающийся Володя с гитарой через плечо, сзади какой-то человек, похожий на армянина. Так я впервые увидел Давида Карапетяна. В руках у него большая авоська с мандаринами и бутылкой хорошей водки из магазина «Берёзка»...»

Мандарины мы, видимо, прикупили накануне в ВТО. Вместо авоськи отчётливо помню пластиковый пакет из валютки с трафаретной матрёшкой. А вот гитары не было — здесь у Виктора явный сбой памяти.

Не мешкая, удобно устроились на московский лад на кухне: сидели, пили валютную водку, говорили «за жизнь». Но наш разговор мало походил на кухонные сходки столичного андерграунда. Здесь нельзя было услышать ни таких мудреных словечек, как «некоммуникабельность», ни таких громких имён, как Пруст или Дали. И уж тем более никакого пафоса «абличительства».

От Турова исходила надёжность и самодостаточность. Подкупала и его абсолютная естественность. Ничего «киношного», никакой бомондной эксклюзивности... Тяжким катком проехалась война по мальчишеской судьбе Виктора — оккупация, сиротство, германская неволя...

Постепенно стали появляться незнакомые люди — приятели и коллеги Турова. И не с пустыми руками. Их сменяли другие. Угрожающе росла батарея пустых бутылок. Герой дня — естественно, бывший в ударе Высоцкий с его сенсационным рассказом о встрече с Хрущёвым. Войдя в роль, он превосходно имитировал мимику и интонации бывшего первого секретаря, на ходу присочиняя разные забавные детали.

Между тем застолье набирало обороты, и этот славянский безудерж не мог меня не тревожить. Дело в том, что водку я не любил принципиально. И не только потому, что, в отличие от коньяка или виски, мой организм чутко реагировал на малейшее превышение нормы. Я прозревал какую-то мистическую связь между судьбами России и её монопольной отравой. Неспроста в соседней Финляндии она фактически запрещена. Ведь любой очистки косушка уже превращает нас в «анархистов-безмотивников»: хочется или врезать кому-нибудь в ухо, или «пострадать за правду». Где уж тут о нормальной жизни подумать?

Я не сомневался, что русская водка лишь усугубляет русскую иррациональность.

Начавший, пусть безалаберно, антиводочную кампанию Горбачёв кажется сегодня подлинным чудом российской истории. Это же надо: задуматься о человеке вопреки традиции и бюджету!

Вообще-то Володя, подобно мне, предпочитал этому зелью коньяк или джин, но мы жили в Советской России, и с этим фактом приходилось считаться. Увы, лояльная Белоруссия целиком разделяла алкогольные пристрастия своей старшей сестры.

Чтобы не оскандалиться, я решил прибегнуть к маленькой хитрости. Под предлогом скверно проведённой ночи я периодически отваливал в гостиную подремать на Туровском диване. Возвращаясь, видел неизменную картину — дым коромыслом, осипшие голоса, покрасневшие глаза. И — стоическая решимость держаться до конца. Уловка же моя удалась на славу. Позже я узнал от Володи, что удостоился похвалы Турова: «А друг-то твой — молодец, наравне с нами пил!»

С наступлением сумерек решили перебраться в город, поближе к вокзалу. Посидели в каком-то артистическом кафе типа московского ВТО. Добавили ещё и там, а потом всей честной компанией двинулись провожать нас на поезд. Не надо было быть тонким психологом, Чтобы понять, что следующая посткуражная стадия Высоцкого не за горами. Сутки упрямого пития уже вывели его на ту опасную черту, с которой он неизбежно должен был сорваться в мёртвую петлю депрессии. Долгую и мучительную.

И на обратном перегоне Минск—Москва предсказуемый кризис наступил. Забравшись в ботинках на верхнюю полку, Володя принялся смолить одну сигарету за другой, не обращая ни на что и ни на кого ни малейшего внимания.

Задыхающиеся в задраенном купе от дыма и негодования соседи, не выдержав, возроптали, и мне пришлось нести какую-то околесицу насчёт астмы и лечебных сигарет, без коих, мол, моему товарищу — хана. А почему от молодого астматика так вопиюще разит перегаром, я предпочёл не уточнять.

— Но ведь для этого имеется тамбур. Если товарищу так плохо, давайте ему поможем. Может, вызвать врача? — живо откликнулась молодая сердобольная попутчица.

Кое-как удалось вывести Володю в тамбур. И тут началось:

— Давид, миленький, найди что-нибудь выпить!

— Где я сейчас найду? Ночь ведь...

— Ну, достань у кого-нибудь!

Пришлось делать вид, что пошёл переговорить с проводником. Вернувшись, объясняю:

— Проводник — женщина. У неё нет. Потерпи до утра, прошу.

В ту ночь глаз мы почти не сомкнули. Володя то засыпал тревожным коротеньким сном, то просыпался и жадно хватался за сигареты. Ранним утром, за несколько часов до Москвы, он снова заканючил:

— Ты же обещал. Уже утро.

— А ты знаешь, что кончились деньги? Даже на сто грамм не хватает. Продержись до Москвы, осталось совсем ничего.

Вторым нашим соседом по купе (девушка уже где-то сошла) оказался некий экземпляр из разряда командированных. Не то из Владимира, не то из Вологды. Нечто кругленькое, гладенькое, мучнисто-белое. Вылитый прототип «попутчика» из известной Володиной песни.

За неимением выбора, Володя снова стал меня теребить:

— Ну, объясни ситуацию. Попроси в долг.

Скрепя сердце, подступаю к попутчику. Хоть и не по душе мне всё это, непривычно и унизительно, но...

— Это актёр Высоцкий. Видите, ему худо. Одолжите десятку и оставьте адрес. Вышлем сегодня же телеграфом.

Тот ни в какую. На лице — недоумение и недоверие. Да, с такой постной физиономией трудно быть

поклонником Высоцкого. Но Володя уже завёлся:

— Продай электробритву!

Этот эвфемизм допускал единственное толкование: «Подари ему свой «филипсшейв», а он нам выставит пол-литра. Чего уж там!»

Я с сомнением глянул на спутника. Вряд ли когда-нибудь какой-нибудь бритвенный прибор покушался на заповедную гладь этих щёк. Ну, ни за что не хотелось делать такой царский подарок этому вологодскому евнуху.

Но разве не я уверял самого себя, что «ради Высоцкого готов на всё»? И вот представляется великолепный шанс доказать это на деле. Без свидетелей. Немедленно.

И тут же загалдели, заголосили в унисон «тени забытых предков» — лабазники по бабкиной линии. Всполошился, взбрыкнулся и невесть откуда взявшийся дед-мироед, владевший до революции мельницей. Короткая борьба — и робкие ростки романтизма были размолоты мельничными жерновами генетики.

Надеясь на триумф здравого смысла, я молча раскрыл солидный чёрный футляр, приглашая гипотетического покупателя восхититься утопленным в горделивом муаре дефицитом.

— Это «филипс», почти новый. Возьмите за полтинник. Это же даром!

От такой наглости бедняга едва не потерял дар речи. Торг в сложившейся ситуации казался ему явно неуместным.

Увидев моё не принесшее дивидендов моральное падение, Володя пустил в ход последний, но весьма веский аргумент — прекрасную пыжиковую шапку. Вещь остродефицитную, в те времена — предел вожделений мужской половины Страны Советов. Против такого искушения наш стойкий попутчик не устоял, хотя размер соблазна явно расходился с его собственным и не только налезал на глаза, но и целиком закрывал уши.

Так был добыт искомый червонец. Но Володя уже был в том состоянии, когда и крест нательный отдают.

— Шапка? Да плевать я хотел.

А вот другой эпизод. 1973-й год. Загудевший Высоцкий рвётся в Магадан. Уговаривает меня лететь с ним. Короткий диалог в его БМВ.

Я, рассудительно:

— Но где мы оставим машину? В аэропорту — угонят.

Володя, тоскливо-равнодушно:

— Ну и плевать.

Люди, окружавшие Володю в периоды запоев, бессовестно пользовались таким его состоянием.

Он дарил им вещи — и они брали, хотя было очевидно, что даритель — человек нездоровый. Потом Марина горько сетовала: «Опять он раздарил всё, что я ему привезла». Хотя больше следовало возмущаться поведением «знакомых», роем слетавшихся к такому Высоцкому.

Это иррациональное русское начало пробивалось в нём именно в такие тяжкие запойные периоды, в минуты отчаяннейшей тоски, когда ему, по его же словам, было «изнутри холодно»... Эти сомнительные «поклонники» не только принимали подарки. Зачастую пропадали кассеты, фотографии, книги. Помню, как-то Володя, живший тогда на Матвеевской, хватился книжки Андрея Синявского с дарственной

надписью. Перерыли с Ниной Максимовной весь дом — тщетно.

Никаких иллюзий насчёт морального облика этих людей он не строил, хотя, уходя «в штопор», необъяснимым образом тянулся именно к ним. За два-три года до своей смерти он мне как-то попенял:

— Ну, душа пропащая, ты хоть, когда я в развязке, появляйся. Если бы ты видел, кто тогда меня окружает. Сиди себе, читай. Смотри, сколько книг! А телефон выключишь. Ты же знаешь, каково мне одному.

Вечером, по приезде в Москву, Володю опять понесло в ВТО. Как мы там оказались, припоминаю смутно. Наверное, с вокзала заехали спервa за деньгами — или к нему на Телевидения, или ко мне на Ленинский.

В ресторане сидели с какими-то ребятами из актёрской среды, шапочными знакомцами Володи. Наискосок от нас в большой шумной компании гулял Евтушенко. Володя тут же подсел к нему, но пробыл там недолго. И не стал ничего пить! Он чётко следовал принципу — сидеть с теми, с кем пришёл. Даже в подпитии, — если только был не один, — он не любил гулять по столам, хотя в нашем кругу это было в порядке вещей.

Один из сидевших за нашим столом праздновал рождение первенца и прямо-таки лучился родительским счастьем. Будучи в изрядном подпитии, он назойливо демонстрировал разные фоторакурсы крохотного комочка плоти, приглашая нас разделить свой отцовский экстаз.

Казалось, ребята просто не замечают душевного состояния Володи, для них он — всего лишь свой в доску автор «отпадных песен», Володька Высоцкий.

Как трагически неуместен он был среди этой неугомонности будней, как должна была его корёжить эта заигранная пластинка бытия!

Вскоре он не выдержал:

— Поехали к тебе!

И тут случилось непредвиденное. Едва выйдя из ВТО, Володя, повернувшись к фасаду здания, слегка пригнулся и испустил короткий отчаянный крик: «А-а-а-а-а!»

Шёл двенадцатый час, запоздалый прохожий, передёрнувшись от ужаса, торопливо засеменил от нас прочь. Я оцепенел. Так кричат на дыбе, корчась от боли и предчувствия небытия.

Хотя, что смерть? Плевать ты на неё хотел! Чёт—нечет. Орлянка. Погибель ходила за тобой по пятам. То исподтишка, то в открытую заглядывало её безносое рыльце в твои бесшабашные дни. Жизнь. Смерть. Ты был накоротке с обеими. Не расшаркивался перед жизнью, не лебезил перед смертью. Кто ещё так безоглядно любил жизнь, кто ещё так бесстрашно врезался в её упоительную круговерть?

Спустя годы я снова услышу этот Володин крик с экрана, в финальной сцене «Каменного гостя». Но для меня он прозвучит лишь неумелой имитацией, слабым эхом того мартовского, поистине мунковского[3] отчаяния.

Ко мне на Ленинский поехали на первой подвернувшейся попутке. В дороге не проронили ни слова — в таком состоянии Володя более всего нуждался в молчаливом понимании.

Дома нас ждали горячий чай и сердобольная Мишель, тут же постелившая Володе на его любимом синем диване. Сколько дней и ночей трезвым и «под хмельком» провёл он на этом раздвижном ложе под портретом Мандельштама, осеняемый сбоку иконой Божьей Матери!

Не без труда удалось уговорить намаявшегося Володю раздеться и накрыться одеялом. Пристроив у изголовья пепельницу, он садил сигарету за сигаретой — сделав пару затяжек, хватался за новую.

Получив долгожданную передышку, мы выключили свет и спешно ретировались в нашу крохотную спальню. В квартире воцарилась благостная тишина, нарушаемая лишь беспокойным постаныванием Володи. Но вот наконец всё стихло. Угомонился даже всеобщий любимец — сиамский кот Азазелло. «Ну, теперь-то я высплюсь», — размечтался я, погружаясь в сладостное забытьё.

Но не тут-то было. Спустя пару часов, уже ближе к рассвету, мне почудилось, что кто-то меня окликает. С трудом приоткрыв осоловелые вежды, я узрел перед собой смутный силуэт растерянного Володи. В белой майке и цветастых сатиновых трусах до колен, он походил не то на «поплывшего» после нокдауна боксёра, не то на снятого с дистанции стайера. Он мучительно пытался что-то объяснить:

— Там... ребята... матрац...

В спаленку задумчиво вплывали сизые космы дыма. Явственно пахло гарью. Ещё ничего не соображая, мы с Мишель метнулись в гостиную и... окончательно проснулись. Печальное зрелище разворошенного комфорта исторгло у домовитой Мишель сакраментальное: «Какой ужас!!!»

И впрямь было чему ужаснуться. Разлюбезный наш синий диван буквально горел синим пламенем. По обивке расползалась неприглядная чёрная дыра, окаймлённая алыми бусинками наспех сбитого огня. Смятое шерстяное одеяло с простынями сползло на пол, а широченный двуспальный матрац бесследно исчез.

Выяснилось, что Володя просто уснул с зажжённой сигаретой в руках. Он был в такой отключке, что даже не сразу проснулся от сильной боли: огонь тлеющей сигареты насквозь прожёг матрац и перекинулся на обивку дивана. На память об этой ночи у Володи остался след глубокого ожога на пояснице — позже Мишель смазала его какой-то пахучей французской гадостью. Спросонья Володя попытался залить тлеющее ложе, таская воду из кухни в ладошках, умудрившись не заметить в запарке ни кастрюль, ни чайника, ни огромных пивных кружек. Потерпев неудачу, он в отчаянии поволок горящий матрац к зашторенному окну. Оторопь, видимо, утроила его силы, но окончательно лишила разума. Вместо того чтобы отворить стеклянную дверь на балкон, он принялся запихивать широченный матрац в узенькую боковую створку окна. Каким-то чудом Володе удалось-таки преуспеть в этом, и спустя мгновение выдворенная с седьмого этажа перина плюхнулась полосатым тентом на озябшие верхушки мартовских тополей.

Хотя Володю штормит почти весь март, мощный организм позволяет ему сохранить дееспособность. Он отыграл несколько спектаклей, дал концерт в каком-то НИИ. Но у театра свои трудности — вечные нелады с высокими инстанциями. Закрыт спектакль «Берегите ваши лица» с доведшей зал до исступления «Охотой на волков». С «Гамлетом» пока тоже никакой ясности.

Всё наперекосяк и на личном фронте. После серьёзной ссоры, не выдержав, уезжает в начале марта Марина, ещё втайне надеясь, что Володя опомнится и возьмётся за ум. Не встречает он взаимопонимания и у Татьяны. Вчерашняя бесспорная фаворитка не собирается быть запасной гаванью для этой непредсказуемой субмарины. Натура своенравная и самолюбивая, она ставит Высоцкого перед прозаической альтернативой: «Или она — или я». Но перед такой дилеммой он пасует. Ну никак не вытанцовывается у него всепоглощающая любовь до гробовой доски. Неспроста сетует он так часто на судьбу: «Я постоянно между двух огней». И как раз в марте я снова услышу от Высоцкого знаменитое чичиковское: «Полюбите нас чёрненькими, беленькими нас всякий полюбит». В устах Володи эта розовая мечта незадачливого таможенника звучала постулатом неофита. Не понаслышке знакома была ему и

аксиома «от себя не убежишь», но смиряться с ней он не собирался нипочём.

И вот он уже у меня дома — этот Летучий Голландец семидесятых, в отчаянном кураже набирающий команду для очередного плавания. Я завербован, не успев даже пикнуть. Отплытие — немедленно. Курс: зюйд-зюйд-вест. Цель-горизонт. Уточняю порт назначения:

— Куда летим?

Но капитан сохраняет интригу:

— К морю! Там решим, во Внуково.

И, как всегда у Высоцкого, от слов к делу у него — воробьиный шажок. Пачка ассигнаций — гонорар за концерт (или его остаток) — перекочёвывает в карман моей рубашки.

— *Наши* денюшки.

Теперь — вперёд! Такси — Внуково — самолёт. Регистрация на рейс Москва—Симферополь. Решение созрело ещё в такси:

— Поедем сперва в Ялту. Там должен быть сейчас Туров. Попробуем его разыскать. А оттуда — в Одессу!

Да, выходит, дело было не в одном морском променаде; крепко притягивал его к себе Туров, как притягивает к себе усталую перелётную птицу надёжный утёс среди морской зыби.

Из Симферополя в Ялту добирались на такси. В машине Володя тут же впал в свой эпатажный, увы, присущий ему именно в хмельном мареве «купеческий» тон:

— В «Ореанду»! Я — Высоцкий!

На что наделённый повышенным чувством собственного достоинства водитель нелюбезно буркнул:

— Ну и что, а я, скажем, Петров.

И, хоть психологическая подоплёка этого мальчишества лежала отнюдь не в «звёздной болезни», а в собственной неуверенности, этот вызывающий «стиль» изрядно смущал скромную российскую провинцию. Чувство неловкости испытывал, конечно, и я: ведь не станешь же объяснять первому встречному побудительные мотивы столь нестандартного поведения Высоцкого.

Позже, когда Володя пришёл в относительную норму, я всё же спросил у него:

— Зачем ты так себя вёл тогда? Помнишь, в такси: «Я — Высоцкий»? Ведь трезвый — ты совсем другой.

Он не стал юлить:

— Да просто, когда выпьешь, всё то дерьмо, которое в нас так глубоко сидит, выплывает наружу.

Позже он внесёт это в трактовку Гамлета:

— Хочу показать его живым, сложным человеком. Ведь в нём перемешано и высокое, и низменное. А ты сам, каким его видишь ты?

— Да примерно таким же. Иначе откуда бы взяться штабелям трупов вокруг этого эльсинорского идеалиста?

При поселении в «Ореанду» возникла заминка. У Володи не оказалось с собой паспорта, что, впрочем, не было случайностью или забывчивостью. Он не брал его принципиально. Ещё одна завуалированная попытка самоутверждения под видом ребяческой дури. Сколько житейских неудобств создавала она, в особенности за пределами столицы!

Но Высоцкого меньше всего интересовали правила регистрации в советских гостиницах, ему необходим был Виктор Туров:

— Разыщи его, он должен быть здесь.

Разузнав через администраторшу номер комнаты Виктора, вприпрыжку устремляюсь наверх. Стучу. Слава Богу, Туров у себя! Увидев на пороге своего обиталища мою несколько сконфуженную физиономию, Виктор растерялся.

— Давид, ты?

— Я не один. Володя внизу и требует тебя. Только прилетели.

— Ему плохо?

Увы, мне пришлось подтвердить худшие предположения Виктора. Был он тоже не один, а с любимой женой — актрисой Ольгой Лысенко. Ребята просто отдыхали, может быть, что-то писали, работали. Словом, почувствовал я себя тем пресловутым типом, который, как известно, «хуже татарина», да ещё и с прицепом в виде Высоцкого в «глубоком пике».

Туров тут же рванул со мной вниз, крепко обнялся с мгновенно ожившим Володей и без труда устроил нам номер по моему паспорту. Ну, а дальше всё повторилось по минскому сценарию в интерьерах ялтинской гостиницы. Безвылазно торчали в Витином номере, пили шампанское (преимущественно), разговаривали обо всём понемногу. И так трое суток. Ни тебе морских променадов, ни обещанного «морского воздуха». Стоило нам с Виктором увлечься каким-нибудь серьёзным разговором, как Володя просил нас тоном обиженного, обойдённого взрослыми ребёнка:

— Ребята, ну дайте же и мне сказать.

Силы его были, конечно, не беспредельны. Как-то в нашем номере, совсем расслабившись от шампанского, Володя неожиданно стиснул мне локоть:

— Смотри, есть, есть ещё силушка.

Это было для него самым страшным — потерять жизненную силу.

Запомнился ещё такой эпизод. В один из вечеров, решив, видимо, хоть на время избавить Виктора и Ольгу от нашего настырного присутствия, мы спустились в гостиничный ресторан. Оркестр в это время играл неувядаемый альпийский шлягер Высоцкого «Если друг оказался вдруг». Володя тут же сорвался с места и засеменил к эстраде. Встав к ней вполоборота, он замер с приоткрытым ртом, словно хотел убедиться, что исполняют именно его песню. В этот момент ко мне подошёл кинооператор Павел Лебешев и, не скрывая раздражения, бросил:

— Он с тобой, что ли? Убери его! Неудобно!

То был взгляд со стороны абсолютно трезвого человека, обеспокоенного, видимо, «имиджем» Володи, и пренебречь им было нельзя. И впрямь, что-то неловкое, даже нелепое, было в этом зрелище. В позе Володи, в выражении его лица словно читалось: «Неужели всё это — не сон, и я — это явь?»

Как же он был неуверен в себе, как жаждал самоутвердиться! Он был явно не готов к столь внезапно обрушившейся на него славе. Слишком долго его не принимали всерьёз. Что с того, что у него армия поклонников? Что его ценят друзья? И что ему мои дифирамбы? Если он был Моцартом, то я не тянул не только на мастеровитого Сальери, но и на завалящегося Легара, и моё дилетантское мнение не могло заменить оценку экспертов. Те же упорно отмалчивались или брезгливо морщились, вроде Соловьёва-Седого.

Однажды он получит из Коктебеля полную восторгов телеграмму, подписанную «Женя Евтушенко и

буфетчица Надя». Судя по тексту и стилю телеграммы, её составители прослушивали Володины записи или под струи «Массандры», или под брызги «Абрау Дюрсо». Выше всех оценивалась «Песня об истребителе», хоть и отмечалась в одной из строф неудачная рифма. Володя выглядел расстроенным:

— Хоть и комплимент с виду, а всё равно без капли дёгтя не обошлось. То говорили: «где твоя лирика?» — а теперь вот: «рифма глагольная». Ничего, всё равно я докажу им, что я лирик.

Володю, видимо, покоробила и шутливо-фамильярная «буфетчица Надя», хотя сам Евтушенко наверняка видел в ней олицетворение «гласа народного».

Мне же телеграмма показалась многозначительной. Она говорила не столько о зависти, сколько о невольном признании мэтром окольных путей поэзии, на которых «выучка» пасует перед темпераментом, а наитие одолевает «школу». Но переубедить Володю мне не удалось. Видимо, подобные оговорки коллег-профессионалов обесценивали в его глазах саму похвалу.

В таком хмельном угаре пролетели три дня и три ночи. Володе становилось всё хуже и хуже. Шампанское взбадривало его ненадолго. Каждые пять минут он просил освежить фужер, переживая и жалуясь, совсем как малое дитя: «Кайф уходит, ребята!»

«Короче, Высоцкий был в той антиформе, в которой через десять лет его настигла смерть», — вспоминала спустя двадцать семь лет Ольга Лысенко.

Стало ясно, что запланированная Одесса отпадает, что надо возвращаться в Москву. Да и деньги были уже на исходе. Под стать настроению — и погода. Хотя стоял конец марта, Ялта была окутана тоскливой московской хмарью. Дождь вперемешку со снегом и сплошная пелена тумана.

Туров проводил нас на такси до аэропорта и с сознанием выполненного долга вернулся в Ялту. И тут объявляют задержку рейса по метеоусловиям. Сидим, ждём: час, второй, третий. Уже наступает вечер, а туман всё не спадает. Вылет самолёта переносится на неопределённое время, но сидеть и покорно ждать у моря погоды — не в характере Володи.

— Давай вернёмся. Не торчать же нам здесь всю ночь!

Наш новый налёт на «Ореанду» явился для деликатных супругов настоящим стихийным бедствием. Но как было не войти в положение «незадачливых ребят» — безвинных жертв «погодных условий»? Эту ночь, конечно же, мы скоротали в хорошо знакомом номере с ещё неубранными бутылками.

Отправив нас на следующий день в аэропорт, измученный Туров остался на сей раз в гостинице: «Сижу в номере и с ужасом думаю: какой ещё фортель выкинет мой непутёвый друг?»

И, кажется, из-за проклятого тумана мы вынуждены были возвратиться ещё раз. Во всяком случае, именно эту версию отстаивает Туров в своём интервью...

Наконец дают «добро» на взлёт, и, пошатываясь от шампанского и бессонницы, мы понуро бредём по лётному полю. Туман постепенно расходится, но на душе и в небе — пасмурно и угрюмо. А как ярко светило солнце в день нашего приезда!..

Глава десятая.

СОЧИ. ЕРЕВАНСКИЕ ГАСТРОЛИ

Казалось, после почти месячного загула Володя наконец угомонится. Разве может нормальный человек выдерживать такие перегрузки? Но у Высоцкого всё не по-людски. Непостижимым образом удаётся ему извлечь из своего насквозь обезвоженного организма дополнительные ресурсы и пойти по второму кругу.

Ещё и недели не прошло после Ялты, а Володе уже опять не сидится на месте — подавай ему новизну и — непременно — в динамике. Предложенный им «морской» маршрут на сей раз оригинальностью не блещет: неизменное Чёрное море, только вместо тихони Ялты — выскочка Сочи. Я сразу же соглашаюсь, зная, в какие закоулки может ненароком занести Володю, останься он без присмотра. Да и самому тошно на душе, и такие экспромты вполне в моём духе. Чувствую, кроме того, что Володя сам нуждается в какой-то узде. Ведь, зовя меня с собой, он косвенно намекает на желательное ограничение собственной постылой свободы.

Седьмого апреля мы благополучно приземлились в адлерском аэропорту и, добравшись на такси до Сочи, без проблем устроились в какой-то интуристовской гостинице. Всесоюзная здравница располагала к тихому, размеренному образу жизни.

После утреннего шампанского Володя, как и подобает образцовому курортнику, тут же увлекал меня на безлюдный пляж, где мы и совершали свой ежедневный морской моцион.

Перед отъездом из Москвы Володя сменил дублёнку на роскошную кожаную куртку — подарок Марины. Кстати, всё что она ему привозила, приобреталось исключительно в дорогих парижских бутиках. Куртка шла ему потрясающе. Её классический крой выгодно подчёркивал пружинистую пластику Высоцкого — пластику рвущегося на ринг боксёра или готовой огрызнуться рыси.

Уже во время первого нашего променада Володя предложил:

— Давай просто ляжем и подышим воздухом. Сразу полегчает.

И, недолго думая, мы распластались на холодной гальке вымершего пляжа. Володя — в коричневой, до колен, куртке, я — в короткой бежевой дублёнке. Под шум прибоя и несусветный гвалт чаек, овеваемые свежим бризом, мы провалялись в бодрящей полудрёме несколько часов кряду.

Увы, эта пляжная идиллия длилась недолго. На третий день мы с изумлением обнаружили, что сидим на мели. Было, конечно, досадно, не успев позволить себе ничего лишнего, остаться так глупо на бобах.

Этот невдохновляющий факт Володя воспринял с присущим ему хладнокровием. Казалось, он даже взбодрил его, внеся нужную остроту в пресноватую поступь будней. В подобных тупиковых ситуациях он чувствовал себя как рыба в воде. Это был его «Большой стиль» — загнать себя в угол, чтобы в энный раз проверить благосклонность фортуны, отстоять своё право на исключительность. Уж он-то выкарабкается из любого переплёта, уж он-то сумеет подтвердить действенность придуманного мною девиза: «Высоцкий выше обстоятельств!» В этом эксцентричном эгоцентризме не было ничего отталкивающего — он был целиком замешан на романтике вызова и риска.

Было в Володе что-то от ирреальных героев Александра Грина. Особенно это бросалось в глаза здесь, на берегу Чёрного моря. Близость и географическая достоверность Зурбагана и Лисса только усиливали это сходство...

...Первым порывом Володи было немедленно расстаться с курткой:

— Её можно продать рублей за двести.

Я решительно воспротивился:

— А что мы скажем Марине? Она же с меня семь шкур спустит. Это же подарок! Идём звонить Мишель.

Но мой незатейливый план добычи денег Володю не вдохновил: видимо, показался слишком пресным.

— Не надо никуда звонить. Пойдём! Сейчас ты увидишь, что такое море, что такое флот. Будут денюшки!

И он увлёк меня по пустынному пляжу на поиски кораблей. Первой на нашем пути оказалась неказистая посудина с забавной претензией на оригинальность. На ее борту в такт волнам смачно покачивались две ядреные девицы, по всей видимости, совмещающие функции и обслуги, и вахтенных, и юнг. Выяснив, что капитаном этого занятного гибрида катера связи и контрабандистской фелюги является некий грек, Володя назвал себя и напросился на аудиенцию. Девицы заулыбались и, попросив обождать, отправились рапортовать о ЧП. От обеих исходило такое буйное кипение плоти, что хотелось схватить их в охапку и стартовать в новую жизнь. Или — сигануть с ними же за борт. Лишь бы никогда уже не разлучаться.

Внутренний голос почему-то подсказывал мне, что путь в капитанскую каюту нам заказан. Ну на кой ляд греку, пусть даже обрусевшему, — Высоцкий, да ещё и не один? Володя же выглядел гораздо увереннее. Он резонно рассчитывал не только на магию своей фамилии, но и на эффект своих связей в Черноморском пароходстве. Ну кто бы посмел отказать ему, другу знаменитого капитана дальнего плаванья Гарагули? Но появившиеся вскоре девицы несколько сконфуженно объяснили нам, что капитан в данный момент отдыхает и никого не принимает. Наверняка хитрющий потомок аргонавтов или перестраховался, или попросту не поверил. Пришлось спешно покинуть неприветливое плавсредство. И хотя самолюбие Володи было, безусловно, задето, неудача только подзадорила его:

— Ничего. Ещё не вечер. Пошли!

Мы целеустремлённо двинулись дальше. И вдруг, совсем как в феериях Грина, дымчатую завесу тумана вспарывает белоснежный контур стоявшего на рейде красавца-лайнера. Характерным жестом оправив куртку, Володя решительно устремляется к трапу. Я остаюсь на суше. Ждать пришлось минут десять. И вот уже раздаётся весёлый голос Высоцкого:

— Давид! Давай сюда, к трапу!

«Память сердца» навсегда запечатлела похожий на морской мираж стоп-кадр: палуба сказочного корабля, радостный Володя в кругу матросов и призывный взмах его руки. Эта фотовспышка — квинтэссенция «моего» Высоцкого тех лет: надежда и надёжность.

Ждавший нас в своей просторной каюте капитан, видимо, уже предупреждённый о нашей духовной жажде, тут же выставил непочатую бутылку рома, под который и завязался оживлённый разговор. Хотя очно они не были знакомы, но наслышаны друг о друге предостаточно. Впоследствии Володя с Мариной на этом самом теплоходе совершат многодневный круиз. Чуть больше года спустя Марина мне рассказывала:

— Мы вспоминали с капитаном тот ваш внезапный приход. И вернули ему ваш долг.

Речь идёт о теплоходе «Шота Руставели» и его бессменном капитане Александре Назаренко. Он нас действительно тогда выручил, запросто одолжив Володе, не оговаривая сроков возврата, сорок рублей.

Постепенно стало понятно, что капитан не является горячим поклонником творчества Высоцкого. Если бы он знал, что не пройдёт и года, как тот посвятит экипажу теплохода и лично ему одну из своих морских песен:

А мог ли сам Володя предположить, что и ему доведётся, благодаря Марине, не единожды побывать на этом благословенном острове? Кажется, первым из советских граждан не-моряков.

...Назаренко признался, что его сын сильно увлечён песнями Володи, и тактично поинтересовался, почему в них так много грусти. Было заметно, что капитана серьёзно беспокоит умонастроение сына. И, как оказалось, не зря. По странной прихоти судьбы в середине восьмидесятых я несколько раз встречал его у нашего общего знакомого поэта Геннадия Айги. Саша-младший не скрывал ни своей оппозиционности, ни своего горячего желания эмигрировать в Америку. Вскоре он в этом преуспел. Последовал за сыном и сам капитан. Александр Назаренко покинул Россию в 1989-м и обосновался в Канаде...

А уже на следующий день мы были в адлерском аэропорту, где долго решали, куда нам двигаться дальше: до Москвы не хватало денег, с Одессой тоже что-то не получалось. И тогда Володя спросил:

— Ты можешь организовать мне концерт в Ереване?

— Конечно!

— Пойдём звонить.

Было уже шесть или семь вечера. Сначала я позвонил Алле Тер-Акопян, спросил у неё, сможет ли она в ближайшие дни устроить выступление Высоцкого в Ереване.

Она ответила:

— Смогу! В Малом зале филармонии. Директор — моя приятельница.

— Тогда мы немедленно вылетаем.

На всякий случай я подстраховался — позвонил кинорежиссёру Баграту Оганесяну, мужу Вари, моей средней сестры. Предупредил, что мы остановимся у них, и попросил его организовать выступление Высоцкого в Ереване через Союз кинематографистов. Он с готовностью ответил:

— Сделаю!

Во время разговоров Володя временами вырывал у меня трубку и уточнял детали весьма требовательным тоном. Надо сказать, что и с Аллой, и с Багратом я был в то время в ссоре, но, узнав, что я еду с Высоцким, оба капитулировали.

Ещё я позвонил своему двоюродному брату Ревику. Попросил его встретить нас в аэропорту, поскольку мы с Володей остались без копейки.

Пошли брать билеты. Возникли какие-то проблемы, но нам помогла девушка из зала для интуристов, с которой мы успели познакомиться, скитаясь по аэропорту. До вылета оставалось время, и та же девушка помогла нам проникнуть в столовую для лётного состава. Денег хватило лишь на макароны по-флотски и компот, алкогольных напитков в этой столовой не полагалось. Но Володя вскочил из-за стола, кинулся

коршуном к какому-то юному пилоту, напряжённо смотревшему в нашу сторону, и сказал ему довольно-таки бесцеремонно:

— Ну что, узнал? Хочешь пообщаться?

И мы поехали в какой-то ресторан, пригласив с собой всё ту же девушку. Пробыли там недолго. Володя немного выпил, потом подошёл к оркестру и спел «Охоту на волков» — для наших новых знакомых. Юный пилот (помнится, он был из Новосибирска) был настолько ошарашен происходящим, что попросил у Володи автограф: иначе, говорит, мне никто не поверит. Он же посадил нас в самолёт и, очевидно, дал какие-то пояснения экипажу, потому что не успели мы занять свои места, как к Володе подлетела стюардесса:

— Вас приглашает Александр Пономарёв.

Оказалось, что этим же рейсом в Ереван возвращалась футбольная команда «Арарат», тренером которой был тогда Александр Пономарёв, легендарный центрфорвард московского «Торпедо» (он и в Армении был популярным человеком: «Арарат» при нём добился значительных успехов).

Володя пересел к нему, о чём-то они поговорили, Пономарёв оставил Володе свой телефон и попросил непременно позвонить ему в Ереване.

Из-за нелётной погоды рейс основательно задержали, поэтому в Ереван мы прилетели под утро, часа в четыре. Мой родной город встретил нас радушно. На аэродроме нас ждали Баграт и Ревик. Алла и её подруга, директор Малого зала филармонии, тоже приходили нас встречать, но не выдержали долгого ожидания и ушли домой. Ревик приехал на машине товарища, а вторую машину — свою служебную — прислал мой отец.

Из аэропорта поехали к Варе и Баграту, в их трёхкомнатную квартиру на Киевской улице. (Год или два назад в этой же квартире останавливался Андрей Тарковский, и к нему туда приходили Лёва Кочарян и Артур Макаров.) По приезде сразу же сели перекусить. За столом разговор зашел об общих знакомых — Макарове и Тарковском; Баграт обвинял Артура в интриганстве (чему я ничуть не удивился), Володя же его защищал. Варя как восточная женщина в мужской разговор не вмешивалась, но я знал, что чисто интуитивно она Макарову не верит, видя в нём человека с криминальными наклонностями. Много лет спустя её диагноз полностью подтвердится: Артур трагически погибнет от рук своих подельников из грузинского уголовного мира. Символический финал! Апологет жестокости, этакий «пахан» от интеллигенции, он был заколот собственным кинжалом на собственной «хазе».

Созвонились с администратором местного отделения Союза кинематографистов. Он принял меня за импресарио Высоцкого и разговаривал со мной крайне уважительно: ещё бы — такого гостя я ему привёз! Казалось бы, деловой человек в первую голову должен думать о собственной выгоде, — но, будучи искренним почитателем таланта Володи, он выразился очень определённо: «Для этого человека я готов на что угодно». Оказалось, что он уже договорился о трёх концертах Высоцкого и все они должны состояться сегодня: первый — в четыре часа в клубе какого-то завода на окраине города, два других — в центре, в клубе КГБ, в семь и в девять вечера. (Рассказывая впоследствии о нашей поездке в Москве, Володя непременно отмечал сам этот занимательный факт, что его концерты в Ереване по иронии судьбы состоялись не где-нибудь, а в *клубе КГБ*.)

Все финансовые и организационные проблемы администратор взял на себя, обещал сделать и киноролик — кадры из фильмов с участием Высоцкого, как было принято в те годы при выступлениях киноартистов на эстраде. Мало того — он посулил по сто рублей за концерт, что было много выше официальных расценок.

К такому обороту событий мы с Володей, честно говоря, не были готовы. Рассчитывали, что сегодня

немного отдохнём, придём в себя. Но отказываться неудобно: мы же сами просили Баграта побыстрей всё организовать. Были у меня сомнения — хватит ли сил у Володи на три концерта, и я сказал о них нашему благодетелю. На что тот даже несколько обиделся: «Я же всё это для вас делаю, чтобы вы больше заработали!»

Обсудили с Володей ситуацию — он с утра был в хорошей форме, известие о предстоящих концертах подняло ему тонус. В общем, мы согласились и быстро оговорили детали. Относительно репертуара администратор дал нам полный карт-бланш: пусть Высоцкий поёт что хочет. Сказал, что будет ждать нас в клубе завода в три часа пополудни.

Мы несколько засуетились. Гитары у нас с собой не было — сразу же отправили Ревика на поиски. В конце концов он нашёл подходящий инструмент у кого-то из своих друзей. Взял он на себя и организационные дела: возить нас на машине, обеспечивать всем необходимым, обзванивать знакомых. Баграт собирался уезжать в Москву, но тоже принимал посильное участие в происходящем. Помню, как, привыкая к гитаре, Володя пел Варе на кухне «Гололёд» — в то время он часто пел эту песню. Потом он прилёг отдохнуть, а Варя сказала мне:

— Да, видимо, всё-таки самая сладкая слава — подпольная.

Варя (Володя, как до этого Тарковский, звал её на русский лад Варенькой) выросла на русской культуре, любила Блока и Маяковского и чем-то походила на героинь Чехова. От неё первой я услышал (и навсегда запомнил) оценку отношения Высоцкого к женщине: «Он очень чистый, даже в помыслах».

Все дни, что мы с Володей там жили, гостей в доме не было. Варя всячески старалась оградить Володю от лишнего беспокойства.

При обсуждении программы концерта у нас с Володей возникли если не споры, то некоторые разногласия. Я был настроен, мягко говоря, несколько авантюрно: настаивал на том, чтобы Володя спел в Ереване самые острые свои песни — «Охоту на волков», «Баньку», «Джона Ланкастера». То есть я его как бы провоцировал, а он отбивался и оборонялся, говорил, например, что слов «Нинки» он уже не помнит (а я обещал, что буду подсказывать ему из зала)... Какой-то мальчишеский бунтарский настрой охватил меня. Но я не предполагал, что всё будет происходить так официально — ролики, афиши, билеты, — думал, что Володя просто выйдет на сцену с гитарой и споёт десятка полтора песен. А главное — я понятия не имел, что ему в то время было вообще запрещено выступать. Правда, довольно скоро я понял, как легко быть смельчаком за чужой счёт... Володя же был настроен более серьёзно: он приехал в Ереван *на работу*. И кроме того (это я тоже понял позднее) — он старался не подвести меня и Баграта.

В конце концов Володя определил свой репертуар без моих советов и написал на листочке список песен, которые собирался петь. Чувство ответственности его не покидало. Не стал он петь ни «Охоту», ни что-либо подобное. И даже почему-то не спел «Нейтральную полосу», хотя в клубе КГБ это было бы вполне уместно.

В общем, перед первым концертом состояние у Володи было бодрое — всё идёт так, как ему нравится, жизнь кипит, обстановка постоянно меняется, динамики хоть отбавляй. К тому же он словно бы вернулся в свой *привычный круг:* Кочарян, Макаров, Тарковский — по крайней мере, в разговорах с Багратом и Варей.

Примерно в три часа вышли из дома. Какие-то мальчишки в нашем дворе фотографировали Володю, когда мы садились в машину: в это время в Ереване шли «Опасные гастроли», и Высоцкого узнавали в лицо.

Приехали. Клуб благоустроенный, образцовый для тех времён, с залом мест на шестьсот, не меньше. Познакомились с администратором — молодой мужчина среднего роста, очень любезный. Короткий

деловой разговор: он предложил мне произнести какое-нибудь вступительное слово перед концертом, я отказался. Вид у Володи был *не очень,* и администратор тихо спросил:

— Справится?

— Сказал, что справится...

Я заглянул в зал — есть свободные места: видимо, не успели толком оповестить людей, к тому же — новый район Еревана, в отдалении от центра.

С Володей договорились, что я буду сидеть в зале.

Концерт выглядел весьма солидно. Администратор сказал несколько стандартных фраз: «У нас сегодня в гостях...» и так далее. Показали ролик минут на десять, — и на сцену в чёрной водолазке и изрядно помятых брюках вышел Володя. Особых восторгов в зале не помню, но принимали его тепло. Он прочитал монолог Хлопуши из «Пугачёва» — в полную силу и мощь, весь из себя выходил. Сильное впечатление. Запомнилась реакция Баграта, который до этого видел Володю только в «Павших и живых», в комической роли. Его поразил Володин напор: «убийственный» — так, помнится, он сказал. И добавил:

— Какая всё-таки Россия великая страна!

Песенную часть Володя начал с «Братских могил». Потом были «Поездка в город», «Сентиментальный боксёр», «Жираф», «Сыновья уходят в бой», «Слухи», «Мы в очереди первые стояли...». Общая реакция публики — доброжелательная, но спокойная. По-моему, в зале большей частью находились работники завода — простые люди, не русскоязычные интеллигенты и не люди искусства. Чувствовалось, что для многих из них песни Высоцкого — всё же чужая культура, им трудно улавливать подтекст.

Не помню толком, как закончился этот первый концерт, — значит, всё прошло нормально. Был я крайне усталым: не привык к такому режиму, не та у меня энергетика, а тут — с корабля на бал... С нетерпением ждал антракта, чтобы чего-нибудь выпить и как-то продержаться.

Вернулись домой. Стало заметно, что утренний «заряд» у Володи ушёл. Отдыхать он отказался, а перед отъездом в клуб КГБ сказал мне:

— Давай на всякий случай возьмём бутылку коньяку — тяжело будет петь два концерта подряд.

По дороге заскочили домой к отцу — у мачехи всегда были большие запасы этого напитка.

Отец с мачехой на концерт не пошли, да я их и не приглашал: мнение отца о Володиных песнях мне было известно. Он слышал его песни во время моих приездов в Ереван — я постоянно крутил дома записи. Однажды отец даже спросил:

— Ты не устал?

— От этого не устаю.

— Странно он всё-таки поёт — как *белогвардеец*...

То есть сам голос Высоцкого вызывал у него подозрение — какой-то *несоветский* голос.

Приехали в клуб, осмотрелись. Договорились с Володей, что я и здесь буду сидеть в зале, у него перед глазами: мало ли что может случиться. Мне показалось, что Володя не готов к двум концертам подряд: выглядел он неважно. Помню, мелькнула у меня мысль: как бы не оскандалиться по-крупному. Мелкого скандала я даже хотел — чтобы он спел что-нибудь *этакое*. Снова спросил его, будет ли он петь «Охоту на волков», но Володя уже всё для себя решил — не надо «дразнить гусей».

Клуб размещался в административном здании КГБ в центре города. У входа висела афиша, сделанная от руки: «Концерты Владимира Высоцкого, актёра театра и кино. Только сегодня» — что-то в этом роде. Зал

узковатый и меньше по ёмкости, чем заводской. Обычно в этот клуб ходили жёны и дети чекистов (посторонних, как правило, туда не пускали — помню с детства), но на этот раз публика совсем другая, интеллигентная, можно сказать, элитная публика для Еревана тех лет. Люди уже успели по своим каналам передать друг другу весть о приезде Высоцкого.

Баграт сказал, что он тоже известил своих коллег по «Арменфильму» о предстоящих концертах. Точно помню, что он называл Фрунзе Довлатяна, у которого Володя когда-то снимался в «Карьере Димы Горина». Тот, по словам Баграта, растерялся и в ответ что-то неуверенно пробормотал. Но на концерт не пришёл. Все прочие тоже. Говорю об этом только для того, чтобы лишний раз показать, каким было в ту пору отношение к Высоцкому со стороны его «собратьев по цеху».

Концерты в клубе КГБ шли по той же схеме: киноролик, монолог Хлопуши, «На братских могилах»... Помню шквал аплодисментов при выходе Володи на сцену и напряжённую тишину в зале — без шороха и перешёптываний. Он постепенно разошёлся, спел и «Слухи», и «Мы в очереди первые стояли» с большой прозаической вставкой в припеве — речитатив скороговоркой: «Ну как же так, ёлки-палки, ну сколько можно, ведь пятьдесят лет советской власти...» — что вызвало взрыв смеха и аплодисменты в зале. Я ликовал...

Перерыв между концертами был совсем небольшой: время следующего концерта оговорено, публика в зале. Было видно, что Володя устал, — пропала энергетика, какой-то *смурной* он стал. Я спросил:

— Как себя чувствуешь? Может, сократим программу?

— Тяжеловато. Налей немного.

Открыли бутылку, выпили по чуть-чуть и разошлись по местам: я — в зал, Высоцкий — на сцену.

Начался третий концерт. Было видно, что Володя старается изо всех сил, но отяжелел он как-то, выдохся. После очередной песни подошёл к столику, на котором стояли графин и стакан с водой, сказал в зал что-то шутливое, вроде: «Вот сейчас выпью и — пойдём дальше», — и характерным жестом поднял стакан: «Ваше здоровье!»

В зале засмеялись: зрители всё поняли правильно, как шутку: пересохло горло — обычное дело для выступающего. Я тоже не придал этому жесту никакого значения. И напрасно, как потом оказалось.

Концерт уже близился к концу, когда Володя в перерыве между песнями взглядом нашёл меня в зале, положил руку на горло и сделал беспомощный жест: «Петь не могу, как быть?!» Я поднял вверх два пальца: «Если можешь, ещё пару песен». Зрители заметили наш «разговор»: я ловил на себе удивлённые взгляды. Усилием воли Володя спел эти две песни... Всё!

(Через тридцать лет отсутствовавшая на концертах Алла Тер-Акопян «вспомнит», как Володя «после каждой песни выходил за кулисы, чтобы глотнуть «огненной воды». Ложь! Несусветная и бессовестная. Расчет на дурачка-обывателя. Высоцкий на сцене — в любом состоянии был трижды герой долга, воли, труда!)

Вошли в комнату отдыха. Володя рухнул в кресло, беспомощно разбросав руки и ноги, и тяжело дышал — не хватало воздуха. В это время к нам стали заглядывать зрители — поблагодарить артиста после концерта. Помню нескольких сердобольных армянок лет сорока, их восхищённые глаза, их искреннее сострадание. Одна из женщин достала духи из сумочки и протянула Володе — понюхать, подбодрить его. Другая протянула билет с просьбой об автографе, и Володя написал ей: «Будьте хоть вы счастливы!» Кто-то предлагал позвать врача. А я, хорошо зная на вид его *алгоритмы*, подумал, что на этот раз всё, похоже, кончится больницей.

Минут через десять толпа схлынула. Было около десяти вечера. Поговорили с администратором, он

обещал завтра рассчитаться с нами, проведя деньги через бухгалтерию. Володя немного пришёл в себя. Все были в хорошем настроении, администратор даже сказал:

— Если вам ещё будут нужны концерты — только скажите.

На выходе к Высоцкому подошли двое ребят. Я не слышал толком, о чём они с ним говорили, но заметил, что Володя им как-то по-доброму заулыбался: мне кажется, они упоминали Лёву Кочаряна. Приглашали нас съездить с ними на озеро Севан, точнее, в ресторан у озера, и я оставил им наш телефон.

Вернулись домой. Сели ужинать. Ни о каких дополнительных концертах мы, конечно, не думали: дело сделано, завтра съездим на Севан, и пора возвращаться в Москву. Я сидел обессиленный: до смерти хотелось спать. И вдруг Володя вспомнил:

— А где Алла?

— Завтра позвоним.

Но не тут-то было. Через минуту он начал меня теребить:

— Поехали к Алле!

Это тоже характерная деталь: только что он почти умирал, глотал воздух, как рыба, но вот чуть-чуть отпустило, и — ему уже нужны новые впечатления. Воистину, талантом оживать Высоцкий был наделён от природы.

Скрепя сердце, я позвонил Алле (то, что она упустила фантастический шанс дождаться в аэропорту Высоцкого, лишь подтверждало ее уездную близорукость):

— Ты знаешь, у нас сегодня было три концерта!

— Как так?!

— Извини, как-то неожиданно всё получилось, — слукавил я, — даже не успели позвонить. Знаешь, Володя собирается ехать к тебе.

Алла, конечно, в ужасе: двенадцатый час, она уже легла.

— Сегодня я никак не могу. Давайте завтра.

Но Володя вырвал у меня трубку и обрушил на неё весь свой напор. В конце концов Алла сдалась. Я совершенно озверел: нет у меня сил для такой жизни! Однако делать нечего — поехали.

Приехали — это совсем рядом, минут десять на машине. Алла привела себя в порядок, но было видно, что чувствует она себя неловко. А Володя — как рыба в воде. Удобно устроился на диване, сразу же перешёл с ней «на ты», хотя до сих пор они друг друга даже не видели. Алла предложила нам компот, но при его виде Володя скривился и потребовал коньяку, которого не оказалось.

Завязалась беседа, и Володя, к моему удивлению, сразу же разоткровенничался с хозяйкой о своих семейных неладах:

— Марина откуда-то узнала, что я ей изменил, и тут же улетела. Сейчас она под Парижем, у сестры. У вас не должно быть так. Я приехал, чтобы помирить вас.

Но Тер-Акопян вновь не оценила уникальности момента и тоном комсомольской активистки принялась нудно перечислять список собственных добродетелей в противовес моим врождённым порокам. Ничего нового я для себя не услышал: сразу же пришла на память поэтическая версия её обличений нашей школьной поры:

Но Высоцкий воспринял эту словесную атаку как личное оскорбление и отреагировал молниеносно:

— Что ты несёшь? Перестань выёбываться!

Шокированная моралистка так смешалась, что, заметив это, Володя смилостивился:

— Это такой морской термин.

Бедной Алле было невдомёк, что для Высоцкого дружба — святая святых, что друг для него, будь он хоть тысячекратно неправ, — всегда прав. Неудивительно, что в заскорузлые обывательские мозги эта «абсурдная» аксиома никак не вмещалась.

Пробыли мы у Аллы довольно долго. По моей просьбе она читала свои стихи — мне очень хотелось, чтобы Володя их услышал и оценил. И надо сказать, Володя был удивлён, послушав армянскую поэтессу, которая пишет совершенно свободно, не подделываясь под требования официоза. Темы её стихов были во многом близки ему — вплоть до прямой переклички. У Володи: «Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята», — у Аллы: «Вокруг — такое бессобачье, что остаётся только — выть». Правда у неё эта нечеловечья тоска вложена в уста бродячей собаки.

В своё время Алла первой из известных мне профессиональных литераторов оценила Высоцкого не как барда и «блатаря», а именно как поэта. На мой прямой вопрос (осенью 1969 года): поэт ли Высоцкий, — она, не раздумывая, ответила:

— Конечно, поэт. Просто он пишет крупными мазками.

Все её собственные попытки издаться в Москве наталкивались на вежливый, но решительный отказ редакций с характерной мотивировкой: «несозвучно эпохе» и «какое-то общеахмадулинское бормотание». Не меньшую бдительность проявляли и республиканские цензоры. Алла рассказывала, как однажды в ереванское издательство пришло эпистолярное восхищение её стихами от одного очень старенького астраханского краеведа. Он позволил себе в письме такую фразу: «На меня пахнуло родным духом Зинаиды Гиппиус». Для редакторов-перестраховщиков эта фамилия явилась сигналом идеологической опасности, и набор следующего сборника Аллы, выход которого вот-вот ожидался, был незамедлительно рассыпан.

В тот наш с Володей приезд в Ереван мы несколько раз встречались с Аллой, и всякий раз она читала свои стихи. И однажды внимание Высоцкого зацепила строчка:

(Это стихотворение потом вошло в её сборник «Орнамент», вышедший в Ереване в 1973 году, который я тогда же подарил Володе.)

Володя усмехнулся своей характерной ухмылкой: «Надо же!» — и медленно повторил строку...

А несколько лет спустя я прочёл в его стихах:

Не берусь утверждать, что здесь имеется какая-то взаимосвязь, но то, что Володя выделил тогда у Аллы эту строчку и повторил её вслух, помню отчётливо. Через четыре года мы с Володей неожиданно встретимся с Тер-Акопян в Доме кино на премьере фильма Баграта «Терпкий виноград». Представив Марине Аллу, он скажет: «Твоя книжка лежит у меня на столе. Мы с Мариной читаем её вечерами».

Кстати, ещё один схожий случай. Как-то я зашёл к Володе — он тогда снимал квартиру в Матвеевском,

это было в 1974 году — и застал его с раскрытой «Конармией» Бабеля.

— Перечитываешь? Правда, замечательно?

— Гениально! Представляешь — чёрт-те что! Читаю и вдруг натыкаюсь на эту строчку: «...*с гибельным восторгом* сказал командир». Я ведь совершенно бессознательно вставил эти слова в свою песню, — видимо, они у меня с юности в голове засели...

Под утро мы вернулись от Аллы к Баграту. Все уже спали. Володе постелили в столовой — самой большой комнате в квартире, но спать в эту ночь никому не пришлось. Володе было плохо. Он кричал, метался, просил пить.

Уже в Москве я у него спрашивал: «Неужели тебе на самом деле было настолько физически больно, что ты так кричал?» — «Да нет, это я так, хотелось *пофулюганить*». Мне кажется, что ему просто хотелось внимания, тепла человеческого, чтобы заглушить чувство одиночества. Как бы то ни было, вид у моих домочадцев перед выходом на службу был ещё тот: такой ночной режим в непьющей республике их явно шокировал. Помощь пришла в лице отца Баграта, работавшего мастером на ереванской табачной фабрике. Он оказался обладателем где-то, неизвестно для каких целей, припрятанной большой бутыли рафинированного спирта. Всякий раз, когда Володе становилось совсем невмоготу, перед ним добрым ночным призраком возникал дед со стаканчиком сильно разбавленного спирта. И, хотя по-русски он не мог связать и двух слов, они с Володей подружились. Специально для Володи он таскал с фабрики какие-то особые сигареты из отборных сортов армянского табака. Только благодаря деду нам с Варей удавалось хоть чуточку поспать.

Каждого гостя, впервые приехавшего в Ереван, непременно возят на озеро Севан и в Эчмиадзин. Не избежал этого маршрута и Володя.

Поездку на Севан организовал Ревик; с нами были два-три его приятеля и Баграт Оганесян. Приехали, походили по берегу. Высокогорное озеро Володе очень понравилось, — он буквально впитывал его «морской» воздух. До сих пор жалею, что в поездке у нас не оказалось фотоаппарата и никто не снял Володю на фоне монастыря: горы, снег, христианская церквушка...

Потом зашли в местный ресторан на берегу, который славится севанской форелью, — её здесь как-то по-особому готовят. Было часов пять-шесть. Сидим, дегустируем форель, Володя пьёт коньяк (я слежу, чтобы — понемногу), оркестр играет... За соседним столом расположилась большая мужская компания. Один из них подошёл к нашему столу и о чём-то по-армянски негромко спросил Ре-вика; разговор, как я понял, у них был такой:

— Это Высоцкий с вами сидит?

- Да.

— Вы не против, если мы к вам сядем?

Мы были не против. Они приставили свой стол к нашему и очень тактично себя вели. Я сначала не понял, кто они такие, — но Ревик шепнул мне, что это *известные люди*. У нас их называют «люди с именами» — по-русски это означает «авторитеты» (а более точно — «воры в законе»). «Джентльмены удачи» больше напоминали законопослушных совслужащих: с разговорами к Володе не приставали, сидели скромно, молча. Потом один из них поднял тост за Высоцкого. Я не помню дословно, но это был очень уважительный тост — без блатных вывертов и излишнего кавказского красноречия. И смотрели они на него крайне почтительно: может быть, думали, что Володя сам «из блатных», что он уже своё отсидел,

— в те времена много таких легенд о нём ходило.

А Володя — в таком настроении! Он готов для компании на что угодно:

— Хотите, я для вас спою?

— Конечно!!! — все в полном восторге.

И Володя пошёл к оркестру. Зал забит народом — ресторан этот очень популярен. В это время тамошний солист, вышибая слезу из пёстрой аудитории, допевал затасканный шлягер о «доверчивой чайке», чья чистота дерзко уподоблялась автором морской пене:

Зал содрогнулся от катарсиса. Разомлевший от собственных рулад тенор, ещё скорбя по инерции об угодившей в сети любви птице, галантно, но явно неохотно, уступил микрофон московскому гостю. Тот о чём-то пошептался с оркестром, и спустя мгновение в приторную негу приозёрного ресторана вторглась неприкаянность эмигрантского кабака:

Нет, классовая бдительность не подвела моего отца: так мог действительно петь только белогвардеец, утративший всё — Родину, близких, веру. Как неуместен был этот срыв сердца среди благодушного комфорта Востока с его назойливой фамильярностью и вязкой вереницей здравиц! Словно вспорхнувшая с кустарного коврика пошловатая чайка явно не вписывалась в сумрачный лесной пейзаж с «бабами-ягами», «плахой» и «топорами». Так шокировало бы соседство копеечной морской олеографии с подлинником Тёрнера.

Растерянной выглядела не только публика. Даже нежащиеся на блюдах бледно-розовые форели пучили свои печальные бельма на дерзкого нарушителя статус-кво. Разрядить атмосферу помог счастливый случай в обличье некоей пьяной в дымину местной достопримечательности, оказавшейся бывшим капитаном ереванского «Арарата» Седвальдом Бабаяном. Услышав знакомую мелодию, экс-по лузащитник подходит к эстраде, вырывает из рук Володи микрофон и, невзирая на полное отсутствие слуха и вокальных данных, пытается воспроизвести «Цыганочку».

Друзья его оттаскивают — тот не понимает, в чём дело: «Он поёт, и я тоже хочу петь!» Володя не уступает — вот так они поочерёдно рвут микрофон друг у друга и поют нестройным дуэтом. В конце концов «капитана» оттащили и, видимо, объяснили ситуацию, а Володя допел песню и вернулся к столу.

В Эчмиадзин нас вызвался отвезти муж подруги моей младшей сестры Долли, падкий на знаменитостей человек. Он только что познакомился с Андреем Вознесенским — тот как раз в это время жил в Доме отдыха композиторов в Дилижане (узнав об этом, Володя буквально рвался туда поехать, и мне с трудом удалось его отговорить: «Вряд ли он обрадуется, увидев тебя в таком состоянии»). Теперь этот муж подруги жаждал встречи с Высоцким.

Володя попросил Аллу Тер-Акопян поехать с нами, и она была у нас в роли гида, — насколько я помню, даже водила нас в запасники. Помню, что на Володю большое впечатление произвели внутреннее убранство древнего храма и особенно — дары армянской диаспоры католикосу, выставленные на всеобщее обозрение: он часто потом рассказывал о них в Москве.

Именно эту поездку описывает Марина Влади в своей книге. Должен признаться, мне было как-то

неловко читать то, что она написала: ведь на самом деле никаких ящиков с разбитыми бутылками коньяка не было и в помине, на коленях Володя в храме не ползал и лбом об пол не бился. Стоял грустный, спокойный. Тихо сказал мне:

— Давай свечки поставим...

И мы поставили две свечи, которые нам дала Алла.

Хочу сказать, что каким угодно — но смешным в этой поездке Высоцкий не был ни минуты. А макет-сувенир Эчмиадзинского собора, который Алла подарила ему, провожая нас в Москву, долго стоял дома у Нины Максимовны.

Ещё в день приезда нас с Володей пригласили на обед к моему отцу, но из-за обилия дел договорились перенести встречу на день-два. После поездки на Севан я позвонил отцу.

— Мы вас ждём, приезжайте.

Приехали часов в семь. Расцеловались при встрече (Володя и отец были хорошо знакомы по Москве). Отец при параде — в костюме и галстуке, чему я немало удивился: на него это непохоже. Володя вёл себя абсолютно раскованно, сразу же начал рассказывать о нашей поездке к Хрущёву.

Помню, отец спросил:

— И что вы делали у этого клоуна?

Как и многие руководители сталинской школы, он не любил Никиту Сергеевича, считал, что тот развалил весь уклад государства. Володин рассказ он слушал насмешливо (но в меру, чтобы не обидеть гостя). Обедали вчетвером, обед был чисто домашним: напоказ в нашей семье не работали, гостей «на Высоцкого» не приглашали. Володя говорил о театральных делах, очень звал отца, когда тот в очередной раз будет в Москве, на спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Я подивился его прозорливости: отец театралом никогда не был и в театре более всего ценил, кажется, буфет с качественным пивом. Галилей, стоящий на голове, ему бы, пожалуй, не понравился, а вот спектакль с революционными матросами и ленинскими ходоками подходил по всем показателям.

Наверное, с полчаса прошло. Отец стал расспрашивать о концерте — что там и как у нас происходило; я чувствую, держится он натянуто, что-то его тревожит... Не выражало особой радости и лицо его супруги Октябрины. (В то время она работала инструктором по образованию в ЦК КП Армении и всегда была в курсе местных событий.)

Выбрав подходящий момент, Окта вызвала меня на кухню. Вид у неё был встревоженный.

— Ты знаешь, что произошло?

И рассказала, что сегодня с ней был *разговор* — и весьма серьёзный — от имени Первого секретаря ЦК КП Армении Кочиняна. Антон Ервандович Кочинян (в народе его называли Антон Бриллиантович) считался человеком Брежнева, он очень долго пробыл на этом посту, прекрасно знал отца и всю нашу семью.

Выяснилось, что на концертах в клубе КГБ присутствовал какой-то чиновник из идеологического отдела ЦК, который записывал всё, что происходило на сцене. Утром он подал официальный рапорт секретарю ЦК по идеологии «либеральному» Роберту Хачатряну (а тот, в свою очередь, настучал Кочиняну) о том, что сын Саака Карповича привёз в Ереван полуподпольного Высоцкого, а режиссёр Оганесян устраивает Высоцкому официальные концерты, на которых тот поёт антисоветские песни и пьёт водку на сцене (вот так «аукнулся» Володе тот стакан с водой).

Впоследствии, вспоминая обо всём этом в Москве, Володя каждый раз особенно напирал на то, что,

по версии отдела ЦК, «приехал сын Саака Карповича с контрой, — то есть, значит, не я приехал с Давидом, а он со мной...»

В общем, Окте сказали, что в КГБ на нас завели дело, сотрудники отслеживают каждый наш шаг, и вообще — положение серьёзное.

— Скажи Давиду, пусть они с Высоцким срочно уезжают из Еревана. По этому делу ничего им не будет, никуда сообщать не станут, только нужно им спокойненько уехать.

Такое вот к нам было проявлено великодушие.

А у меня была совершенно другая реакция — я полез в бутылку: кто он такой, этот Кочинян, по сравнению с Высоцким?!

— Кто будет вашего Кочиняна помнить через десять лет? А знакомством с Высоцким вы всю жизнь будете гордиться, — попомните мои слова!

Но и родственников моих тоже можно было понять: конечно, Окта волновалась за свою карьеру, за моего отца. И не без оснований. На другой день мне позвонил наш администратор:

— Давид, понимаешь, — то, что я вам обещал, я сделать не могу. Я могу заплатить вам только восемьдесят рублей, по госрасценкам.

Оказалось, что его уже успели снять с работы — только за то, что он организовал концерты Высоцкого. Надо сказать, он держался хладнокровно, — по-моему, даже немного гордился тем, что довелось ему пострадать из-за привязанности к Высоцкому. Правда, непонятно, зачем он связался с клубом КГБ, — видимо, с чувством юмора у него было всё в порядке.

(Кстати, Володя ни разу не вспомнил впоследствии о судьбе этого человека. Это не чёрствость — это входило в его понимание правил игры: такие жертвы со стороны посторонних он воспринимал как должное. Да, Высоцкий не любил *человечество*, он любил друзей.)

Первой реакцией Володи было:

— Давай продадим куртку.

Я глянул на него с недоумением.

Много позже отец рассказывал мне, что как-то в том самом ресторане на озере Севан он стал невольным свидетелем разговора оперативников, сидевших за соседним столиком. Они говорили о «несоветском человеке» Высоцком, о его передвижениях по Еревану; говорили, что из-за него «были скомпрометированы» уважаемые люди. Выходило, что органы фиксировали тогда каждый наш с Володей шаг, и, не будь отмашки Кочиняна, нас бы охотно водворили в подвалы местного Чека. Отец в то время абсолютно не понимал, кто такой Высоцкий, но по-человечески тепло к нему относился. И сообщал всем своим оппонентам про «колдунью», которая собиралась теперь замуж за «белогвардейца» — это действовало неотразимо на всех!

Володя был ужасно расстроен этой историей с КГБ. Именно в то время он хотел каким-то образом встретиться с Брежневым и попытаться с его помощью решить свои проблемы (кто-то обещал ему устроить встречу с дочерью Брежнева). Он не раз говорил мне: «Я должен быть совершенно чистым перед этим разговором»...

В общем, мы ещё на несколько дней остались в Ереване. Ведь нельзя же было так: *нам приказали — и мы уехали*. К тому же мне хотелось, чтобы Володя перед возвращением в Москву пришёл хоть в относительную норму по части здоровья. Но нам уже звонили из Москвы — волновались. Беспокоился Любимов, и Тарковский упрекал Баграта, вернувшегося в Москву: «Вы с ума сошли! Какие концерты! Разве

Дэви не знает, что Володе запрещено выступать?!»

В Ереване оказалось много молодых ребят, которые занимались авторской песней. Приезд Высоцкого стал для них огромным событием. Каким-то образом они узнали, где он остановился, и раздобыли наш телефон. В один из дней нам позвонили, и незнакомый голос произнёс:

— Мы бы хотели спеть Высоцкому свои песни, чтобы он послушал и оценил их.

Володя заинтересовался и согласился на встречу. Приехали. Молодые симпатичные ребята, армяне — студенты и их подруги. Не ереванцы — снимают квартиру. Скромный стол — картошка, вино. Песни ребята писали на русском и армянском языках, но пели Володе только на русском. И общались с ним так, что видно было: он для них — *мэтр*.

Володю эта встреча поразила: такое — и на Кавказе! Совсем иная культура — и такое отношение к нему, чужеязычному барду!

Хочу сказать, что такой популярности в Ереване не было даже у Окуджавы. Кажется, в шестьдесят девятом он приезжал в Ереван, дал несколько концертов в Большом зале филармонии, выступал по телевидению (даже рассказывал о своей матери-армянке). Никакого ажиотажа! Несопоставимо с приездом Высоцкого.

Ещё пример. Заходим утром в соседнее кафе поесть (обычный завтрак Высоцкого в Ереване: острые армянские (или арабские?) лепёшки «лакмаджу» с шампанским). Подходит мальчик-поварёнок:

— Это кто с вами? Высоцкий?

- Да.

— Можно, я к вам подсяду?

Оказалось, что он немного играет на гитаре и для него огромное событие — видеть живого Высоцкого. Володя был поражён:

— Откуда у вас такое?! Поварёнок — и столько моих песен знает!

Мальчик тут же добровольно стал его оруженосцем — сопровождал нас повсюду и проявлял невероятную преданность. В благодарность Володя показал ему несколько аккордов на гитаре и даже, что бывало очень редко, дал свой московский телефон, заметив при этом:

— Больно хороший малый.

Правда, поварёнок тогда же тихонько сказал мне, что звонить не будет: не осмелится... и добавил: «Я же понимаю, что в Москве он будет не такой».

Володя, отмечу кстати, трудно шёл на новые знакомства. Могу утверждать, что зачастую он себя от них удерживал. Вот его подлинные слова:

— Ты знаешь, мне иногда такие интересные письма приходят, так и подмывает ответить, но не могу — завязну в переписке. Или всем отвечать, или никому.

Дня через два после концерта Алла пригласила нас в гости к своим поклонникам, студентам и аспирантам физфака университета. Сказала, что будет небольшая компания, два-три человека. Никакого вина, только чай.

Привезла нас в какой-то дом. За очень скромно накрытым столом — несколько человек: молодые ребята и мать одного из них. Но минут через двадцать стали появляться совершенно другие люди — солидные, в очках, совсем другого возраста. Почти все они, как оказалось, работали в Институте физики, которым в те годы руководил академик Алиханян. Молодые поочерёдно подводят их к Высоцкому,

знакомят: «Мой шеф». Второй, третий — то же самое: «Мой шеф...», «мой шеф...» Видимо, планы у ребят изменились, и они решили совместить приятное с полезным: показать Высоцкого своим научным руководителям и по этому поводу устроить настоящее застолье.

А Володя — доволен. Атмосфера дома его вполне устраивает. И учёные-физики, и Алла со своими стихами.

Ладно, если бы они просто пригласили своих «боссов»: в конце концов, вполне понятное кавказское тщеславие — когда ещё представится такой фантастический случай. Но меня больше всего взбесило, что каждый из них считал своим долгом лично подойти к Высоцкому и чокнуться с ним «за талант». И в совершенно дурацком положении оказываюсь я: ясно, что одним бокалом дело не ограничится, что Володя сейчас заведётся. И запретить нельзя, не унижая его при этом.

Началось застолье, сначала скромное. Попросили Володю спеть (и гитара у них оказалась, заготовленная впрок). Володя сразу согласился и начал с «Охоты», подчеркнув при этом:

— Алла, Давид, для вас пою!

Само собой возникло своеобразное творческое соревнование: Алла читает стихи, а Володя в ответ поёт. Поочерёдно. Гости — в восторге.

Ещё до начала широкого застолья я обратился к Алле, сидевшей рядом с Володей:

— Кстати, Алла, раз уж так получилось... Спроси-ка у этих людей — всё-таки Институт физики, организация независимая, и Алиханян не робкого десятка человек, — может, они сделают в своем институте неофициальный концерт Высоцкого? Только без широкой огласки, нам уже передали приказ убираться из Еревана, а денег на билеты нет.

Институт Алиханяна всегда считался в Ереване оплотом либерализма, государством в государстве. Даже в самые глухие времена там демонстрировались фильмы Чаплина, проводились диспуты на разные темы.

И Алла тут же переговорила с гостями. Те сказали: «Да-да, сейчас мы всё устроим!» Стали звонить кому-то, объяснять ситуацию. И выяснилось, что *там* не решаются. Видимо, самому Алиханяну они не звонили, но... В общем, там перепугались.

А люди уже не умещаются в комнатах, толпятся где-то в подъезде. Услышав голос Высоцкого, в квартиру хлынули не только соседи, но буквально весь двор. В конце концов что-то громоздкое падает с большим грохотом — похоже, что где-то выдавили дверь. Полный аншлаг, самый настоящий бесплатный концерт...

(«Помнишь, как дверь вышибли?» — с гордостью не раз потом вспоминал Володя.)

Застолье тем временем набирает обороты. Гости поочерёдно подходят к Володе с полными рюмками, говорят ему замечательные слова. А молодые постоянно наполняют его рюмку. Ничего себе, думаю, «чай на четверых»! Я, конечно, понимаю, что все они относятся к Володе с восхищением и любовью. Для них это невероятная удача, можно сказать, подарок судьбы: выпить в компании с Высоцким. А рядом ещё и Алла Тер-Акопян, местная знаменитость, — и все они ценители её таланта.

Позже, отводя мои упрёки, Алла пыталась меня уверить, что была введена в заблуждение своими юными друзьями. Но, судя по её застольному облику, жертвой обмана в тот вечер она отнюдь не выглядела. Скорее, счастливой именинницей. Наверняка, всё было с ней заранее согласовано. Уязвлённая тем, что её не позвали на официальное выступление Высоцкого, Алла устроила ему бесплатный домашний гала-концерт в кругу абсолютно случайных людей. Реванш удался на славу. Сидя теперь рядом с человеком из легенды, она как бы сама становилась её составной частью. По крайней мере, в глазах своих

почитателей. Наблюдая за этой провинциальной «ярмаркой тщеславия», я невольно углубился в философские дебри, полные причудливых ассоциаций.

В те годы в советской торговле процветала стабильная система так называемых «нагрузок». Раскошелившись, к примеру, на какой-нибудь некондиционный отечественный ширпотреб типа панталон неходовой расцветки, вы могли стать обладателем дефицитных финских или югославских сапожек. «Не тот же ли коммерческий трюк, — думалось мне, — использует и сам Аполлон при выборе избранных: в нагрузку к Божьему дару впаривая его обладателю, смеха ради, какой-нибудь залежалый земной артикул?» Лживость, Тщеславие, Глупость... С этим-то лихом и приходится вековать век разнесчастному таланту...

В общем, я не сдержался, сказал им несколько весьма резких, даже оскорбительных слов и выскочил на улицу. Сижу на скамейке, переживаю. Проходит десять минут, пятнадцать... Володи всё нет. Потом оказалось, что хозяева сознательно не сказали ему о моём уходе, — иначе он, конечно, прекратил бы петь. Наконец он выпил вместе с Аллой, искал меня. Мы обнялись, словно не виделись годы.

(Именно в такие минуты я в полной мере ощущал всю силу моей болезненной привязанности к этому человеку. Чем хуже ему было, тем больше я любил его, тем сильнее было это чувство, замешанное на сострадании. А дороже всего он мне был в стандартной больничной пижаме...)

— Что случилось, почему ты ушёл?

Я коротко изложил ему своё мнение о происходящем. Володя вздохнул с облегчением:

— А я-то думал — ты на меня обиделся...

Стали выходить испуганные студенты; я им сказал на прощание:

— Что ж это вы, ребята? Обещали, что будет интимное чаепитие, а устроили целый концерт! Ему же нельзя выступать, нельзя пить!

— Мы не знали... Нас не предупредили... Мы так его любим!..

Побывали мы и у Александра Пономарёва, в его квартире на улице Саят-Нова. Помнится, с нами был оруженосец-поварёнок. На встрече присутствовали сам Пономарёв, гостивший у него брат из Донецка и врач команды. Я сразу же предупредил Пономарёва, что Высоцкому пить нельзя (коньяк уже стоял на столе). Магнитофон тоже был наготове, и Пономарёв прямо сказал:

— Володя, я очень хотел бы тебя записать!

Володя согласился и — чётко помню этот момент — начал с «Охоты на волков». Перед песней сказал:

— Посвящаю эту песню кумиру моей юности Александру Пономарёву.

А по окончании добавил:

— Когда ваша команда будет проигрывать, ставьте эту запись для игроков, чтобы их подбодрить.

Запомнился вопрос удивлённого врача:

— Так он что же, выходит, как наш Саят-Нова?

Не желая его сильно расстраивать, я по-армянски же шепнул ему:

— Только чуток повыше.

Пробыли мы там часа полтора-два. Володя много пел, в том числе из Вертинского. По-моему, Пономарёв записал целую бобину. Можно считать этот вечер пятым концертом Высоцкого в Ереване.

Ещё запомнилось, что Володе нужна была медицинская справка для театра, и я спрашивал врача команды, сможет ли он ему в этом помочь. Что-то у них не получилось, — эту справку потом ему сделал муж моей старшей сестры Лиды.

Из квартиры Пономарёва мы позвонили Алле и снова встретились с ней у Вари на Киевской. Помню, что в этот вечер Володя так стиснул колено Аллы, что та вскрикнула: «Володя, мне же больно!» — этот жест Володи я понимал так: пойми же, как мне плохо...

Чтобы хоть как-то убить время, я предложил Володе заехать на пару часов к моей младшей сестре Долли, отмечавшей день своего рождения. Не желая, видимо, быть заподозренной в тщеславии, она нас к себе не пригласила. Долли была почти нашей ровесницей, и мне казалось, что общение с её привлекательными подругами поможет хоть на время развеять Володину хандру. И с Долли, и с её мужем Володя был уже знаком по Москве. Жили они с двумя малолетними сыновьями в однокомнатной квартирке-конуре в непрестижнейшем районе «ереванских Черёмушек».

Поздравив сестру, Володя шепнул ей, что у него тоже двое мальчиков. Едва сев за стол, он попросил гитару, чтобы в виде подарка ко дню рождения спеть несколько песен. И это после записи целой катушки у Александра Пономарёва! Гостей было немного: две-три Доллины подруги и отец. Гитара быстренько нашлась у соседей, и Володя с ходу врубил во всю мощь «Цыганочку». Перепуганные дети тут же проснулись, подруги же выглядели ошеломлёнными этим неурочным натиском боли и отчаяния. У них хватило такта остановить принявшегося из вежливости аплодировать отца: «Так не принято». Но более всего удивил меня Саак Карпович своей идеологической чуткостью. Нет, видно не зря ел он при Сталине свой хлеб на посту секретаря ЦК по агитации и пропаганде. Внимательно вслушиваясь в текст «Цыганочки», он, видимо, пытался уловить и её подтекст. Вопрос, заданный им исполнителю по окончании песни, говорил о том, что в этом он преуспел вполне:

— Значит, ты считаешь, что всё не так, Володя?

Володя только устало кивнул головой и потянулся к рюмке.

И всё-же отец явно сочувствовал Высоцкому. Сполна испытав в своё время все прелести травли по-советски, он научился входить в положение гонимых. Отнюдь не случайно этот бывший приверженец Сталина, Лысенко и Николая Вавилова (!!!) с чисто армянской скромностью считал себя таким же мучеником науки, как Джордано Бруно. После фиаско Лысенко отец стал усиленно заниматься вопросами генетики и в данный момент, наверняка пытался выяснить, на каком этапе эволюции наш родовой ген в моём лице дал слабину.

По просьбе оживившегося Володи заказали Париж, но Марины дома не оказалось, и разговор перенесли на утро. Пришлось ночевать у Долли. Не раздеваясь, улеглись рядышком на большом матраце, постеленном прямо на полу — ничего другого нам предложить не могли. Успев уже кое-как приспособиться к внедрённому Высоцким бивачному быту, я опочил мгновенно. После сочинской гальки ереванский матрац показался мне набитой гагачьим пухом периной.

Завтракать дома Володя не захотел, пожелав сделать это в каком-нибудь другом месте. Почему-то по пути заскочили к нашему поварёнку, который, кажется и пригласил нас в престижное кафе «Интурист» в центре города.

Едва заказали коньяк, как увидели тех двоих ребят, которые звали нас в день приезда на Севан. Выглядели они, конечно, обиженными, но вели себя вполне достойно:

— А сейчас вы свободны?

— Полностью. А что?

— Давайте поедем в одну деревеньку за парным мясом. Дома приготовим шашлык. Кроме того, у нас ещё остался почти полный казан хаша. Вам он сейчас просто необходим.

Я не раздумывал ни секунды. Араратская долина, домик в деревне, свежий воздух и, главное, весьма ценимый Володей спасительный хаш — чего ещё можно было желать?

Судя по тому, что в самый разгар рабочего дня ребята завтракали в дорогом кафе, а отовариваться собирались за городом, нетрудно было догадаться, что жили они не на трудовые доходы. У одного из них вместо ступни был протез, но именно он уселся за руль и вёл машину, надо сказать, весьма ловко. Второй выглядел повальяжнее, да и по-русски он говорил куда лучше инвалида. На Высоцкого он смотрел с восхищением и, как потом стало ясно, ценил в нём прежде всего барда, а не актёра.

Водитель включил зажигание, автомобиль тронулся с места и взял курс на юг, в сторону государственной границы, за которой начиналась Турция с армянской горой. Весь горизонт был целиком заполнен белой громадой Арарата. На Володю его изысканные пропорции произвели сильнейшее впечатление. Уже в деревне, в крестьянском доме, бонвиван попросил Володю что-то написать про Арарат. Принесли ручку, бумагу, но состояние у Володи было явно не творческим. Он смог нацарапать только одну беспомощную строчку, в которой, правда, фигурировало название горы. Увы, даже вид вечной горы не смог умиротворить Володину душу, он лишь чуть-чуть отсрочил очередной приступ меланхолии. Сидели мы на балконе, ждали, пока освежуют несчастного барана. И тут Володя потребовал бритву: «Дайте бритву, я должен это сделать». Элемент игры здесь, бесспорно, присутствовал и бонвиван сразу это почувствовал, объяснив по-армянски инвалиду, что Володя играет, потому что он — актёр. И добавил: «Золотая голова. После Вертинского он — второй». Актёрство актерством, а Володе было действительно худо, о бритве ведь просто так не вспоминают, а что у него творится в душе — он и сам, наверное, не смог бы объяснить.

Вернулись в город, поехали на квартиру одного из наших спутников. Калека пошёл готовить шашлык, а мы принялись за горячий хаш. Володя поедал его с удовольствием, — как принято, руками, обжигаясь. Пропустил несколько рюмок водки и... воскрес. Бонвиван словно ждал этого момента — тут же попросил спеть хоть одну песню на память, чтобы записать на магнитофон.

— А какую бы ты хотел?

— «Про Ниночку» споешь?

— Ладно.

С трудом вспоминая слова, Володя спел им про Нинку-наводчицу, но, к моему изумлению, на этом не остановился. Тут же последовала... «Охота на волков»! Мудрый бонвиван с видом эксперта тут же объяснил опешившему от Володиной энергетики инвалиду:

— Это он о себе.

Чуть раньше в квартире появился еще один поклонник Высоцкого — получив от меня добро, его вызвали по телефону. И манера поведения, и лексика выдавали в нём если не блатного, то уж точно приблатнённого. На Володю он смотрел во все глаза, а чуть позже, движимый лучшими побуждениями, предложил достать «травки».

— Какая «травка», он не употребляет.

— А разве он не сидел?

— Ни единого дня.

Доброхот выглядел явно разочарованным. Оставались мы в этой блатной, но вполне корректной компании, недолго: Володе быстро всё приедалось. Нужны были новые впечатления. И вот он уже

набирает телефон Аллы:

— Алла, ты жди, я сейчас приеду.

Но к Алле мы в тот раз не попали. В такси Володе стало плохо. Видимо, снова открылась язва — появилась кровавая пена, какая-то желчь. Таксист недовольно обернулся, пробурчал что-то нелицеприятно, но узнав от поварёнка, кого он везёт, сразу же смягчился. И всё-таки для Еревана вразнос пьяный пассажир — событие экстраординарное. Показывать в таком виде Высоцкого домочадцам и соседям Аллы было опрометчиво, и мы поехали к себе на Киевскую. Володя был так плох, что с трудом волочил ноги и его, кряхтя и даже ругаясь, тащил на себе по лестнице адъютант-поварёнок. Я, как мог, помогал ему. Дома мы пытались уложить Володю на диван, но он заупрямился и, вырвавшись из наших объятий, растянулся прямо на покрытом линялом ковром полу. И его я пойму только год спустя, в Москве, когда приступ отчаяния распластает и меня не на удобный диван, а на жесткое ковровое изделие...

По странному совпадению почти одновременно с нашим приездом в Ереване анонсировался фильм «Сюжет для небольшого рассказа», и на стене дома Баграта висела киноафиша с Мариной Влади на первом плане. Впервые увидев афишу, Володя прикрыл глаза и всем телом потянулся вперёд: «Мариночка...»

В то время они с Мариной находились в размолвке, если не в ссоре. Володя знал, что Марина злится на него за новый срыв, за его отъезд из Москвы, и, по-моему, боялся ей звонить. Потом всё же позвонил от Долли. Утром Марину соединили с Ереваном, но нас она уже не застала. И только вечером Володя дозвонился до квартиры Баграта. Я хотел выйти из комнаты, но Володя жестом попросил меня остаться, и я невольно слышал начало их разговора. Хорошо его помню, потому что Володя заговорил буквально поэтическим текстом, ритмизованной прозой. Как он с ней говорил! Настоящая поэма, блестящая импровизация, без единой банальной фразы. Сидел спокойный, умиротворённый. Видимо, Марина спрашивала, ждёт ли он её, потому что отвечал Володя примерно так:

— Я жду тебя, как на дальнем Севере ждут появления солнца...

Общались они не меньше сорока минут (я всё-таки вышел вскоре из комнаты) и после этого разговора помирились.

Володе достаточно было пять минут с ней поговорить, чтобы она растаяла... Так было не только с ней. Устоять перед его обаянием, перед тембром его голоса было невозможно — даже на расстоянии.

Дома у Лиды, моей старшей сестры, собрались её старые друзья, интеллигентные люди — врачи, учёные, композиторы... Все они были наслышаны о Высоцком и с нетерпением ждали обещанной встречи с ним. Но Володе там стало плохо, пришлось вызывать «скорую». Врач, замотанная вызовами тётка, не узнала Высоцкого и решила, что он имитирует страдание, чтобы получить дозу морфия. Помню, как друг сестры, Юрий Ходжамирян, будущий зампредсовмина Армении и уже тогда «большая шишка», стоял рядом и приговаривал: «Ну что вы, что вы, это такой талантливый человек, ему нужно помочь»...

После укола Володе полегчало, и мы вернулись домой. На следующий день позвонила Лида и рассказала, что после нашего отъезда её друзья долго обсуждали случившееся и решили, что Володе просто необходимо лечь в больницу. Они предлагали устроить его в элитную спецбольницу закрытого типа (естественно, в отдельную палату). Я долго и безуспешно уговаривал Володю согласиться, даже предлагал лечь туда вдвоём, чтобы ему было веселее, но он и слышать об этом не хотел. Отказался наотрез.

После вечера у Лиды стало ясно и мне, и всем остальным, что собственными силами Володе из болезни не выбраться, а значит, надо возвращаться в Москву. Прощальный день в Ереване провели дома у Вари — Володя приходил в себя. В этот день к нам зашёл мой отец — поговорить и попрощаться.

Посоветовал не брать деньги — причитающиеся нам за концерты восемьдесят рублей — и с избытком возместил эту сумму. (Мудрость этого жеста Володя впоследствии оценил в полной мере. «Отец твой, конечно, молодец, правильно сделал», — таким примерно был рефрен его воспоминаний.)

Следующим утром отцовская машина отвезла нас в аэропорт. Когда проезжали мимо рынка, Володя попросил:

— Давай зайдём. Надо детям хоть фруктов привезти из Еревана.

И нам наложили целую корзину — рынок в Ереване замечательный.

Почему-то (а точнее, по обыкновению) мы не взяли билетов заранее. Приехали в аэропорт — билетов нет. Кассирши нам ничем помочь не смогли, посоветовали обратиться к экипажу. Вышли на лётное поле к самолёту. У трапа стоят двое пилотов: главный — молчаливый мрачный армянин лет сорока пяти, и второй пилот — русский и помоложе. Я вступил в переговоры — номер не проходит: «Не можем, нельзя, машина перегружена». Я тайком от Володи говорю русскому пилоту:

— Это Высоцкий, ему срочно нужно в Москву.

Ноль внимания.

Моему возмущению не было предела. Я-то считал, что Высоцкого должны не только незамедлительно посадить в самолёт, но ещё и не брать с него ни копейки. А тут такой облом, и от кого? От русского!..

И тут, как в хорошо срежиссированном спектакле, появляется молодой армянин, как оказалось — сотрудник Аэрофлота. И на повышенных тонах говорит с главным пилотом по-армянски примерно так: «Как же так можно, ты что, не понимаешь, кто он такой?! Это же Высоцкий!» Главный — так же бесстрастно и монотонно:

— Нельзя. Перегруз.

Потеряв терпение, молодой закричал:

— А Саят-Нова ты бы тоже не посадил?!

Главный несколько оживился и глянул на собеседника уже вопросительно. Тот понял вопрос:

— Да, да! *Он у них* как Саят-Нова *у нас!*

Это подействовало. После долгой паузы главный пилот сказал что-то девушке у трапа, и нас взяли на борт. Поднимаясь мимо него по ступенькам, Володя спросил:

— Скажите, а дети у вас есть?

— Сын и дочь, — отвечал тот.

— Сейчас я напишу текст одной моей песни — про военный самолёт — и прошу вас передать его детям — они поймут!

И вот мы в самолёте. Стюардессы разместили нас в кухне, покормили, открыли бутылку вина, которую дали «на дорожку» провожавшие нас барды-студенты, принесли стаканы и — по просьбе Володи — клочок бумаги. На нём он записал полный текст песни «Смерть истребителя». Потом спросил у стюардессы фамилию лётчика и добавил какую-то надпись. У девушек в самолёте оказалась гитара, и по собственной инициативе под грохот моторов Володя спел им «Москва — Одесса», весьма подходящую случаю песню о пространстве и времени.

Всё это очень было на него похоже: важной чертой характера Высоцкого было — не оставаться в долгу.

А через три часа он уже ел, обжигаясь, домашний куриный бульон, по своему обыкновению — с закрытыми глазами, без хлеба, доставая куски курицы руками. «Ешь, сыночек, ешь», — приговаривала Нина Максимовна, сидя рядом с Люсей напротив него и не сводя с него заботливых глаз.

Глава одиннадцатая

ГУЛЯЙПОЛЕ. К МАХНО!

Весной 1970 года я был целиком поглощён сумасбродной, казалось бы, идеей. В то время я много читал о Махно и его эпохе; догадывался, что он был совсем не таким, каким его изображали в книжках и кино, — бесноватым злобным гномом, больше смахивающим на фюрера германской нации, чем на крестьянского предводителя. Все наши сведения о проклятом атамане складывались из трёх классических источников: «Дума про Опанаса», «Хождение по мукам», «Александр Пархоменко». А кто из нас не зубрил в школе бравурного Маяковского:

На фоне этого бойкого лубка даже не отягощённый интеллектом Илья Сельвинский выглядел заматеревшим роденовским мыслителем, трактующим пресловутого батьку как реальность «третьего пути»:

«Героя и гения от тачанки, сделавшей её осью своего таинственной и лукавой стратегии», видел в Махно Исаак Бабель.

Сложилась своя, больше интуитивная, версия мятежного атамана и у меня. Творец «третьей, социальной революции», он мог стать генералом и у гетмана, и у Петлю-ры, и у Деникина с Врангелем. Кавалер ордена Красного Знамени (четвёртый!), мог он получить большой чин и у красных, — но «мирному врастанию в социализм» Нестор Махно предпочёл последовательную борьбу со всеми режимами и медленную агонию в эмиграции. Раздавленный «детерминизмом», он, не колеблясь, променял улицу Грановского на рю Дидро4. Мне он виделся не «кулацким скорпионом», а героем античных трагедий, бросающим вызов Року. Меня восхищала не его идеология, а его нонконформизм.

Сама махновщина казалась мне не спасительным рецептом кооперативного счастья, а призывом стряхнуть с себя холопство и вновь зажить «по своей воле и правде», вне эдиктов и рескриптов партийных прохвостов. Бегством от надзора государства под опеку Природы, счастливым совпадением бунта личности с разгулом украинской стихии, дерзновенной попыткой выговориться перед Историей. Оставалось лишь впрячь этот опрометчивый анархо-идеализм в пулемётную тачанку — эту огненную колесницу Фаэтона, на всём скаку под чёрным стягом Свободы ворвавшуюся в кровавую сумятицу Гражданской войны, испепелив в ней и себя, и своего демонического возницу. Но из этой горстки пепла расцвёл поэтичнейший из мифов русской революции — эпопея махновщины. Тоска о несбыточном Ладомире, где наконец-то осуществится хлебниковское: «Я вижу конские свободы и равноправие коров».

...В итоге всех этих мучительных раздумий я задумал написать сценарий о махновской вольнице и уговорить Тарковского сделать по нему фильм. Мало того, мне страстно хотелось, чтобы Нестора Махно в фильме играл Владимир Высоцкий и чтобы в финальной сцене (после перехода жалких остатков махновской армии через Днестр) Володя спел «Охоту на волков». Не больше и не меньше. Какой кадр! Румынская погранзастава, Высоцкий—Махно и — «Но остались ни с чем егеря»...

Я понимал, что это неосуществимо, но опьяняла сама идея — создать тандем из двух гениев и примкнуть к ним этаким армянским Шепиловым. Такая вот была мечта.

В общем, весной 1970 года я всерьёз собирал материал и мечтал о поездке по махновским местам. К тому же мне в то время всё осточертело — гниение развитого социализма, победные реляции, замешанные на бесстыдстве и лжи, эти рожи по телевизору... Воплощением повального маразма являлись для меня отнюдь не скорбные лики агонизирующих олигархов, а спортивный комментатор Николай Озеров. Отчего-то именно его хрюкающее упоение собственным холопством, ловко маскируемое под патриотизм, вызывало у меня смешанное чувство гадливости и злорадства. Интуиция подсказывала: власть потеряла бдительность. Великолепное сталинское трио — Юрий Левитан, Галина Уланова, Вадим Синявский — цементировало Империю во сто крат надёжнее любого ГУЛАГа. Сталин холил и лелеял свою *Державу*, эти же — свою чахлую плоть. Смышлёный «пятачок» Озерова на телеэкранах означал только одно: имперские куранты начали описывать свой прощальный круг.

До чёртиков хотелось уехать куда-нибудь из Москвы — либо в Гуляйполе, либо в Запорожскую Сечь — туда, где когда-то и началось это отчаянное противостояние Государства и Воли, где взаимовыручка ценилась больше самой жизни, а конская сбруя выше трофейной турчанки.

Одному ехать не хотелось, о Высоцком как о возможном спутнике я тогда не думал и о своей навязчивой идее ему не заикался.

Но дальше началась цепь странных совпадений, каких было немало в истории нашей дружбы. Как-то Володя пришёл ко мне домой и ни с того ни с сего задумчиво сказал:

— Ты знаешь, оказывается, Махно никого не расстреливал, хотя постоянно грозился, мол, «лично расстреляю». Это всё враньё, что нам про него рассказывают.

Я буквально подскочил на стуле:

— А откуда ты об этом знаешь?! Ты что, интересуешься Махно?

Володя в ответ рассказал, что Валерий Золотухин утверждён на роль Махно в фильме «Салют, Мария» и что ему для работы над ролью принесли из спецхрана рукопись воспоминаний Галины Кузьменко, вдовы атамана.

...Когда до меня дошёл смысл сказанного, я бросился к Татьяне Иваненко и стал умолять её переговорить с Золотухиным — пусть он хоть на несколько дней даст мне эту рукопись. Взамен обещал одолжить Валерию трёхтомник Мандельштама американского издания. Изумлению Золотухина, по словам Татьяны, не было предела: ничего он о рукописи Кузьменко не слышал и никто ему её не давал — получалось, что Володя всё это придумал. Но мне теперь почему-то кажется, что Золотухин просто осторожничал...

Позже выявилось ещё одно совпадение: дядя Андрея Тарковского работал секретарём у Махно. Более того, у Андрея имелись ценные материалы об истории махновщины, и он охотно готов был мне их предоставить. (Последнее в этой череде совпадение выявилось после ухода Высоцкого из жизни: день смерти Нестора Махно — 25 июля...)

В общем, я решил, что настала пора посвятить Володю в мои «махновские» замыслы. Володя отнёсся к ним с неожиданным интересом. А чуть позже произошёл такой эпизод. Как-то я спросил его, не хочет ли он предложить Любимову инсценировать драматическую поэму Есенина «Страна негодяев» — ведь удался же тому «Пугачёв». Второе название этой поэмы — «Номах» — есть не что иное, как анаграмма фамилии Махно, и главная роль там была бы, конечно, для Высоцкого. Володя этой вещи не знал и сразу же заинтересовался:

— Дай посмотреть!

Тут же, у книжного шкафа, бегло полистал и, разочарованный, вернул:

— Совсем слабо поэтически.

Он был прав, хотя сценически «Номах», может быть, выигрышнее, динамичнее «Пугачёва». Эту поэму, кстати, мало кто знает, так же как мало кто знает, что «красногривый жеребёнок» Есенина, скачущий за паровозом, был для поэта, как он сам писал, «дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно»:

Интерес Есенина к Махно не мог оставить Высоцкого равнодушным. А мне были важны любые моменты, подталкивающие Володю к «моей» теме.

При разговорах о будущем сценарии я особенно напирал на то, что без «Охоты на волков» (которой я тогда буквально бредил) не будет и самого фильма: уж очень точно отражала эта песня судьбу и самого Махно, и поднятого им народного движения. Уверял его, что «Охота» — одна из вершин романтической поэзии, что ею, в сущности, исчерпывается «волчья» тема, восходящая к «Смерти волка» Альфреда де Виньи. Видимо, эти мои восторженные высказывания и привели — уже много позже — к такому вот интересному Володиному признанию. В ответ на мои слова, что его «Нинку» можно считать гимном анархическому своеволию, он очень серьёзно возразил: «Нет, не «Нинка», а «Охота на волков» — настоящий гимн Анархии».

...Дальше — больше. Именно в то лето домой к Высоцкому дважды приходил какой-то молодой человек из Донецка. Володя тогда был в плохом состоянии, но во второй раз я «дежурил» около него и смог поговорить с приехавшим. Оказалось, что он работает в Донецке в какой-то студии звукозаписи, делает «левые» записи популярных певцов и ими торгует — в общем, делец и ловчила. Обещал большие деньги, если Володя приедет в Донецк. Мне он не понравился сразу — неприятнейший субъект с мутными глазами. А его рассказы о методах работы с молодыми заказчицами просто-таки вызывали отвращение. Тем не менее я пересказал Володе этот разговор. Деньги ему, естественно, нужны были всегда, на мои предостережения и опасения он отреагировал слабо. И, когда вскоре я в очередной раз завёл разговор о Гуляйполе, Володя задумчиво сказал:

— Мне вообще-то надо бы съездить в Донецк. Этот тип из студии звукозаписи — что ты о нём думаешь?

Я подскочил на месте.

— Поехали! Гуляйполе и Донецк — это рядом.

Достали автомобильный атлас, прикинули расстояние:

от Донецка до махновской столицы километров сто пятьдесят.

В общем, Володя поддержал мою идею — совместить приятное с полезным: рационализм в нём (на трезвую голову) всегда присутствовал. Что тут же проявилось ещё и в такой детали. Перед самым отъездом из Москвы — ночевали у меня дома — он предложил взять с собой мой большой джинсовый мешок.

— Купим яблок в Белгороде — там есть замечательные сорта.

(Видимо, в тот момент он вспомнил о сыновьях. И мы действительно привезли полный мешок великолепных белгородских яблок и братски их поделили.)

Ехать решили, конечно, на машине — у меня тогда был «Москвич» в экспортном исполнении:

престижная по тем временам модель с четырьмя фарами. Имелась, правда, одна загвоздка: автомобиль был оформлен на Мишель, поэтому номера на нём были не обычные — с белыми цифрами на чёрном фоне, а белые с чёрными цифрами, как у всех иностранцев. С такими номерами без специального разрешения ГАИ нельзя было выезжать за пределы Московской кольцевой дороги.

Сходили с Володей в ГАИ. Обычная волокита: «Не знаем, нет инструкций, зайдите попозже». Никакие логические доводы не помогали, а обивать пороги начальства не хотелось. Володя было заколебался, но тут уж я настоял: сказал, что как-нибудь проскочим, что провинциальные гаишники и не поймут про наши белые номера — документы-то у нас советские. В конечном счёте мне удалось подбить Володю на эту авантюру. Он неуверенно капитулировал: «Давай попробуем».

И вот ни свет ни заря мы рванули из Москвы. Было, как сейчас выясняется, 21 августа 1970 года.

Каким-то чудом благополучно миновали заспанный пост ГАИ на кольцевой, при выезде из столицы. Первую остановку сделали в Обояни. Зашли перекусить в первую попавшуюся столовую. Стены скромного общепита были сплошь увешаны аляповатыми плакатами — дурными пародиями на окна РосТА. Разбитные вирши пафосно призывали к решающему бою с летунами, несунами и тунеядцами. Правда, уловить какую-то, пусть косвенную, связь между этими тошнотворными харями и биточками по-казацки за тридцать пять копеек было выше наших сил.

Ночевали мы уже в Харькове: в центральной гостинице у площади Дзержинского.

На ужине в ресторане гостиницы к нашему столу подсели какие-то подвыпившие альпинисты, с которыми Володя был необычайно сух. Помню, они рассказывали историю гибели молодой скалолазки, видимо, ища у него сочувствия. Увидев его сдержанность, извинились и отошли. Меня удивила такая демонстративная холодность, и на мой безмолвный вопрос Володя раздражённо ответил:

— Они поддатые, а я трезвый — какой может быть разговор?

Потом мы обнаружили, что у машины село колесо, нужно искать новое. В те времена достать колесо с камерой было непросто, но какой-то харьковчанин, увидев нас в автомагазине, видимо, узнал Высоцкого и предложил по госцене собственную запаску. Заехали к нему домой, и он нам сам её поставил — сделал такой чисто дружеский жест. Володя очень обрадовался: «Наверняка он узнал меня».

В Донецк приехали пополудни. На въезде в город нас остановили местные гаишники, поинтересовались, почему это у нас белые номера, попросили документы. Володя отшутился:

— Чёрные кончились — вот нам и дали белые.

И оно нам поверило, это украинское ГАИ!

Пошли искать нашего заказчика, человека из ателье звукозаписи. По тому адресу, что он оставил, его не оказалось. Куда он пропал — никто не знал (или не говорил). Таким образом вся эта затея с заработком рухнула, можно сказать, на корню. Ребята из студии захотели сняться на память вместе с Высоцким. Позвали фотографа из соседнего ателье, и тот щёлкнул нас всех на пленэре.

И вот стоим мы с Володей в центре города, между студией и Оперным театром, думаем, что делать дальше. Решили попробовать устроиться в гостинице, а с утра пораньше махнуть в «Махновию».

Вдруг подбегает какой-то юноша, обращается к Володе:

— Вы меня помните? Нас знакомили...

Оказался он актёром Волгоградского драмтеатра — их труппа гастролировала в эти дни в Донецке. Узнав о наших проблемах, юный актёр тут же предложил:

— А вы ночуйте у меня, нас всех разместили по квартирам.

Он занимал две больших комнаты. Выяснилось, что он не только актёр, но и бард, и ему очень хочется, чтобы Высоцкий оценил его творчество. Володю он воспринимал как мэтра, автора «Паруса». Аккомпанируя на Володиной гитаре, спел он нам около десяти песен, из них я запомнил название только одной — «Аве Мария». Песни у Володи особого восторга не вызвали («неважно с юмором»), но искра Божия в юноше, на мой взгляд, была. (Через год он — с седьмой попытки — поступил во ВГИК на режиссёрский. Очень хотел с моей помощью встретиться с Высоцким, но я не стал беспокоить Володю.)

Вечером мы зашли на главпочтамт, откуда Володя отправил большое письмо Марине. Переночевали и на следующий день — в путь.

И вот мы на автостраде, ведущей прямиком в Запорожье. За спиной индустриальный пейзаж горняцкой столицы, вокруг — степь, полдень, Украина. И мы, двое «москалей» в поисках приключений. Красоты природы Володю, кажется, не трогают — стиснув зубы, он твердит только одно: «Жми! Обгоняй! Быстрее!» Пикантность ситуации состоит в том, что кроме пары-тройки «Жигулят» обгонять, в сущности, некого. Ни тебе «Линкольнов», ни «Мустангов».

Следуя указателям, сворачиваем с центральной трассы на тряский гайдамацкий шлях, и я демонстрирую чудеса маневрирования, чтобы не врезаться сдуру в сочные бока мордастых племенных коров и смиренные колымаги с сеном. Но Высоцкий неумолим, в нём не унимается великий подстрекатель и экспансионист: «Быстрее! Ещё быстрее!» Раззадоренный, я вхожу во вкус и, вдавив до упора акселератор, выжимаю заветные сто в час! Воистину, этот человек был рождён, «чтоб сказку сделать былью». Жалкий автолюбитель, я на мгновение ощущаю себя великим Фанхио[5].

Мелькают дорожные надписи — названия, от которых веет горькой гарью Гражданской войны: Большой Янисоль, Конские Раздоры, Константиновка, Великая Новосёловка...

Мы летим так, словно нас по пятам преследует конница Будённого или Шкуро. Тучные гуси, чопорные индейки, степенные хряки — казалось, вся цветущая колхозно-приусадебная Украйна, весело огрызаясь, разлетается из-под наших колёс. С форсом обогнав напоследок шарахнувшийся от нас допотопный «Запорожец», вылетаем на шоссе и с разбегу окунаемся в пронзительную просинь окоёма, отороченную знойной желтизной подсолнухов.

Неудержимо хотелось пропитать Володю этой жёлто-блакитной свободой перед решающим испытанием Европой — встречей с Мариной Влади...

Их непредвиденный роман неумолимо приближался к предсказуемой юридической развязке. Не имело смысла гадать, станет ли прекрасная «колдунья» долгожданным «отдыхом повстанца»... Хотя умом я и одобрял этот крутой поворот его судьбы, но каким-то шестым чувством всё же ощущал опасность этой приворотной женитьбы для «моего» Высоцкого — опасность измены самому себе, своей миссии. Я слишком хорошо помнил печальный финал истории любви Андрия Бульбы и обольстительной полячки.

И вот Володя, словно читая мои мысли, просится за руль. Я ликую: конечно же, эта финишная прямая — его, именно он должен первым пересечь эту символическую черту — цель нашего ретропробега! До Гуляйполя было рукой подать, а за горизонтом уже смутно угадывалась Запорожская Сечь — воспетая Гоголем странная республика «вольного неба и вечного пира души», продолженная во времени новым витком запорожской вольницы — эпопеей махновщины. Оборачивалась явью моя мальчишеская затея — скрестить в пространстве судьбы двух иноходцев века, Высоцкого и Махно. Ведь с первых же Володиных песен почувствовал я его невписанность в эпоху, увидел в нём единственного на всю Россию хранителя духа упразднённой казацкой вольницы, — хотя сам он об этом, возможно, и не догадывался.

И вот он — в преддверии своей нечаянной духовной Родины, в которой царствовал не ясновельможный Пушкин, а нецелесообразный Лермонтов. Эти «горизонтальные воздушные потоки»

одинаково трепали и белый парус Лермонтова, и порванный — Высоцкого.

Итак, мы поменялись местами. Оказавшись на безлюдной трассе, прошитой жёлтой канвой несжатых полей, Володя не мешкая — с места в карьер — рванулся в заманчивый оперативный простор. Словно почуяв беду, суетливо заметалась взлетевшая стрелка спидометра. Я же был сама безмятежность. Полностью расслабившись и неторопливо закуривая сигарету, я невзначай покосился на друга и — залюбовался: судорожно стискивая руль вконец загнанной легковушки, безбожно нажимая на газ, он в каком-то вертикальном взлёте души был весь устремлён к финишной ленте горизонта.

Беснующийся спидометр и неотвратимо надвигающееся Гуляйполе бередили душу «гибельным восторгом», извлекая из памяти самые уместные в тот момент строки:

Необъяснимая фатальность: почти сразу после того как я произнёс эти стихи, именно так всё и случилось. Обсудить поэтику Ахмадулиной нам помешал внезапно возникший поворот. Он был вполне безобидным, но Володя растерялся и резко, как все новички, нажал на тормоз, вместо того чтобы убрать газ. Я попытался вывернуть руль, но было поздно: со скрежетом остановившись и чуть поразмыслив, наш «Москвич» закружился в неуклюжем фуэте, соскользнул на край обочины и, неловко перевернувшись, кубарем покатился вниз. И — самопроизвольно встал на колёса: несмотря на кульбит, он вовсе не собирался сходить с дистанции.

Удивительное дело — хотя наши головы покоились на сиденьях, а конечности были крабообразно разбросаны по салону, ни ушибов, ни других повреждений у нас не было. Бодро обменявшись скупой мужской информацией: «Ну ты как?» — «А ты?» — «Порядок», — мы, чертыхаясь, выползли из машины и — оказались буквально в чистом поле, колко синеющим васильками и прочей фольклорной атрибутикой.

Дебют Высоцкого в роли авто-аса длился не более пяти минут...

Машине, конечно, досталось — и кузов помяли основательно, и что-то повредили в моторе: закапало масло. Пока мы пытались вылезти из кабины, к нам подбежало трое деревенских парней. Чисто бабелевские персонажи. Один, верзила в косую сажень в плечах, — вылитый гайдамак со страниц Гоголя или Шевченко, двое других — куда пожиже. Обладатель полускошенного маргинального черепа наверняка был потомком какого-нибудь рядового комбедовца из незаможних селян. Третьего же можно было назвать чоновцем — именно такими я представлял себе орудовавших здесь в Гражданку славных бойцов этих элитных частей. Сидя в поле и лениво попивая «красненькое», они заметили нашу машину, и вдруг — после поворота — она пропала из виду. Куда подевалась?! — из чистого любопытства они к нам и прибежали.

...Их недальние предки являлись кровными врагами батьки Махно, «грязью», которую вместе с Чекой и прочими институтами произвола следовало смести с лица земли. Но «как школьнику драться с отборной шпаной», самоучке-крестьянину с дипломированными гангстерами? Демиургу революции — с её могильщиками? Даже его мужество «запорожской пробы» оказалось бессильно перед адской амальгамой из Маркса, Нечаева и Иоанна Грозного, изготовленной симбирским алхимиком. Увы, творец героической пасторали проиграл кампанию, и мы могли воочию лицезреть итоги кровавой бани, устроенной «новой кастой господ» замордованному крестьянству. Вымершая стезя, придушенные сорняками нивы с «инда взопревшими озимыми», спивающиеся селяне — всё подтверждало прогноз атамана о грядущей физиономии зачатого во лжи и крови государства, где «тюрьмами и издевательствами трудящихся заставят работать за кружку кислого молока».

Услышав, что мы держим путь в Гуляйполе, комбедовец покосился залитыми «бормотухой» глазками

на наши загадочные номера и криво усмехнулся:

— А-а-а, махновцы?

Я похолодел: эта зловещая интонация недвусмысленно расставляла все социальные и политические акценты. С надеждой посмотрел я на «гайдамака» и не прогадал.

Простое человеческое сочувствие, сдобренное лёгким меркантилизмом, враз перевесило пресловутую классовую сознательность. В который раз живая жизнь потешалась над умозрительными конструкциями «научного социализма».

— Ребята, давайте мы вам выправим машину.

— А как?

— Да ногами. Трояк не пожалеете?

— Об чём речь!

Охваченный трудовым и материальным энтузиазмом «гайдамак» улёгся на заднее сиденье и мощными ударами гигантских ступней за каких-нибудь пять минут выправил кузов. Славному потомку сечевиков ассистировал «чоновец», добросовестно копируя ритмический рисунок его телодвижений. «Незаможник» же наблюдал за внеклассовым трудовым почином односельчан с видимым неодобрением. Сев на водительское место, он задумчиво покрутил руль, с минуту поглядел в большое панорамное зеркало, тихонечко вышел и — был таков. Вместе с ключами от нашей машины. Видна была только его неумолимо удалявшаяся спина...

Из сбивчивых объяснений двоих оставшихся вырисовалась подоплёка его внезапного выпада: то был целенаправленный акт мести областному центру Донецку, где его когда-то за что-то оштрафовала местная милиция. Угораздило же нас так некстати вляпаться в вековечную тяжбу города и деревни, тем паче украинской! Разжившиеся трояком селяне и не думали догонять третьего. Никакой враждебности к «проклятым кацапам» они не проявляли, но и помогать не торопились. Видимо, их забавляла наша растерянность.

Володя опомнился первым. *Попав в непонятное*, он сориентировался мгновенно. Сразу внутренне собрался, выведал имя похитителя и, велев мне оставаться на месте, устремился в погоню. Но того и след простыл. Он уже наверняка успел добраться до посёлка и раздобыть самогонки. Как было не обмыть такую удачу?!

Чуть поколебавшись, я всё же решился прибегнуть к испытанному приёму, хотя здесь, вдали от очагов культуры, шансы на успех были мизерны. Стараясь казаться бесстрастным, как бы невзначай спрашиваю:

— Ребята, а вам знакома такая фамилия — Высоцкий?

— Ну, знаем. А чего?

— А того, что это (выдержав эффектную паузу, жестом Наполеона при Аустерлице я простёр руку в сторону удалявшегося Володи) — он и есть!

Если бы я наплёл им, что являюсь законным отпрыском батьки Махно и матушки Галины, а сюда приехал инкогнито из Парижа, эффект не был бы большим.

Не потребовав никаких доказательств, ошеломлённый «чоновец» опрометью ринулся за Володей.

— А в машине его гитара!! — со злорадно-гаденьким ликованием послал я ему вдогонку мелкую дробь «низких истин».

Сверкая пятками, тот понёсся рысью.

— А ещё он батьку Махно будет играть!!! — зацепил я его напоследок одиночным выстрелом военной депеши.

Ошалевший «чоновец» перешёл на семимильные скачки.

— А чё это вы нам сразу не сказали? — допытывался тем временем мой добродушный «гайдамак».

— А чего попусту бахвалиться?! Он этого не любит.

Скромность наша пришлась по душе верзиле, и, в знак

расположения, он извлёк из обширных штанин перегревшуюся вяленую рыбку:

— Угощайся!

Только спустя минут сорок — уже солнце зашло — все трое, весьма возбуждённые, возвратились обратно. Позже в машине я узнал от Володи подробности его вынужденного хождения в украинский народ. Нагнавший его «чоновец» прямиком двинулся к жилищу вороватого «комбедовца» и принялся барабанить в наглухо запертую дверь. Но закупорившийся мститель, изрыгая хулу, наотрез отказывался вернуть ключи. Сбежавшиеся на шум селяне оказались поневоле вовлечёнными в невероятную интригу с невесть откуда взявшимся Владимиром Высоцким в главной роли. Только навалившись всем миром, удалось-таки воплями, мольбами и грохотом кулаков урезонить осатаневшего «незаможника».

И вот он стоит передо мной во всей своей трезвой красе. На оклемавшегося олигофрена было больно смотреть. Врождённый антиурбанизм и наследственная тяга к чужому добру сыграли с ним коварную шутку. Он выглядел сейчас наглядным опровержением эволюционной теории Дарвина. Мимолётный объект какой-то дикой, непостижимой мутации, он вызывал к себе лишь сочувствие. В посветлевших чертах его лица, всё ещё тронутого лёгким налётом вырождения, уже явственно проступала причудливая вязь тонких душевных переживаний: недоумение, раскаяние, тоска...

И началось братание...

Случившееся было не просто занятным дорожным приключением с благополучной развязкой, а событием исторической важности. В тот день, 23 августа 1970 года, в шесть часов пятьдесят минут, в забытом Богом захолустье, Владимир Высоцкий первым в русской поэзии буквально реализовал гениальную метафору Игоря Северянина: «Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утверждён».

Тут же тормознули какую-то «Победу», с помощью троса соединили её с нашим бедолагой-«Москвичом» и вытащили на трассу.

— Ну что, куда поедем? — предоставил мне право выбора Володя.

Охваченный ребяческим азартом, я уже отработанным театральным жестом протянул руку на запад — в сторону махновской столицы, но Володя тактично остудил мой пыл, предложив вернуться в Донецк, привести машину в порядок и на другой день предпринять новую вылазку. Он твёрдо пообещал: «Завтра ты увидишь Гуляйполе».

«Побратимы» захотели нас немного проводить и завалились на заднее сиденье. Володя, не мешкая, перевёл разговор на тему Махно, и в течение часа мы с любопытством слушали их были и небылицы о легендарном земляке.

Самым осведомлённым оказался отнюдь не лишённый аналитических способностей «чоновец», успевший проработать несколько лет в Питере. Мы с Володей часто вспоминали потом его фразу: «Конечно же, останься Махно с красными, быть бы ему маршалом. Но — *не захотел*».

В Москве Высоцкий не раз вспоминал и жуткий рассказ «чоновца» об уроженце Большой Михайловки, ближайшем сподвижнике батьки, матросе Феодосии Щусе. Этот Щусь сочетал в себе

невероятную храбрость с поразительным садизмом. В своё время его имя гремело не меньше имени самого Махно. Батька не раз грозился *лично* расстрелять его за дикие эксцессы, но рука не поднималась на преданного соратника. Володя со всеми подробностями пересказывал, как Щусь повесил нескольких окрестных «толстопузых» на мельничных крыльях, приговаривая при этом: «Знатный будет помол». Несчастные «буржуины» были уличены в сотрудничестве то ли с германцами, то ли с беляками. В народе мельницу эту так до сих пор и называют: «мельница Щуся».

Наступает пора расставания. Вежливо, но твёрдо ребята просят Высоцкого спеть им что-нибудь на своё усмотрение. Он не стал кокетничать и, выйдя из машины, исполнил пару песен из «Вертикали».

Тем временем загрустивший мутант достаёт из кармана ржавую трофейную фляжку времён Первой Империалистической и молча предлагает глотнуть в знак окончательного примирения. Володя, конечно, отказался, а на меня они насели:

— Ты должен с нами выпить!

Я отнекиваюсь: я же за рулём. Они ни в какую — дескать, ничего страшного, кругом все свои. Володя улыбается:

— Ты же хотел острых ощущений!..

И пришлось-таки мне, обжигая горло, хлебнуть этой желтоватой «махновской» самогонки.

Расстаёмся друзьями. На прощание они дарят нам две больших головки подсолнуха.

Едем, подводим итоги: машина еле ползёт, из-под капота обильно стекает жидкость — повреждён масляный радиатор. Завечерело. Появляется уникальный шанс — заночевать в чистом поле под дивными украинскими звёздами.

Сквозь сгущающиеся южные сумерки замечаем силуэты двух голосующих женщин. Им надо в Макеевку.

— Мы едем в Донецк.

— Ну хоть до Донецка. Мы вам покажем дорогу.

Посадили их, угостили подсолнухами, разговорились.

Одну из них звали Аллой. Обе трудились на одной из крупных макеевских шахт. Узнав о наших трудностях, Алла предложила переночевать у неё, а подруга обещала через мужа помочь нам с машиной. Я заколебался, но Володя стал меня убеждать:

— Давай поедем. В такое время в Донецке могут быть проблемы с гостиницей.

Спросив себя: а что мы потеряли в Донецке, — я быстро согласился. Подкупала и доверчивость наших попутчиц: ведь кроме того, что мы из Москвы, они про нас ничего не знали.

А когда мы уже подъезжали к Донецку, Володя вдруг спросил:

— А вы могли бы организовать мне концерт на вашей шахте?

— Чей концерт?

— Высоцкого, — вмешиваюсь я. — Это Владимир Высоцкий.

Я знал, что незадолго до нашей поездки Володя закончил работу над песней «Чёрное золото» и планировал опробовать её в шахтёрской среде. Беловик этой песни лежал у него в кармане. Я понимал Володю, хотя, конечно же, предпочитал другую его «шахтёрскую» — с «мадерой» и «заваленным сталинистом».

Женщины сначала нам не поверили — сами потом признавались: глухомань, какие-то греки (так они решили, видимо, из-за моей внешности) на разломанной машине, и вдруг — Высоцкий! В темноте они его просто сначала не узнали.

И вот наконец замелькали скудные огни Макеевки. Хотя был уже двенадцатый час ночи, Алла накормила нас роскошным украинским борщом с ватрушками.

Жила она в хорошей трёхкомнатной квартире с дочерью — студенткой местного музучилища. В комнате стояло пианино. Пока мы принимали душ, нам постелили постели: пышно взбитые подушки в кружевных наволочках ещё хранили праздничный дух гоголевской Малороссии. Их ломкая белизна сулила здоровый обывательский сон без сновидений.

Проснулись утром — на столе плотный завтрак, одежда наша вычищена, выглажена дочкой Аллы. Опрятность, простота, заботливость — снова пахнуло благословенным Миргородом...

Не рассиживаясь, поехали в шахтоуправление, зашли в кабинет председателя профкома. Тот вопросительно на нас воззрился, и тогда наша хозяйка с плохо скрытым торжеством выпалила:

— Смотрите, кого я вам привезла! Это Высоцкий с другом. Хотят дать концерт для наших шахтёров. Попали в аварию по пути в Гуляйполе. Там и познакомились.

Для нашей хлебосольной хозяйки то было утро долгожданного реванша. По её словам, среди руководства шахты она пользовалась репутацией «морально неустойчивой», то есть в переводе с новояза — была нормальной бабой.

Мы объяснили, что приехали собирать материалы для фильма о Гражданской войне — про Гуляйполе и Нестора Махно, роль которого будет исполнять Высоцкий.

Председатель выслушал нас внимательно, но явно недоверчиво. Извинившись, всё-таки попросил Володю предъявить какой-нибудь документ и искоса оглядел мою мрачную кавказскую физиономию. Я невольно улыбнулся: уж очень напоминала эта сцена визит «детей лейтенанта Шмидта» к предисполкома города Арбатова.

На нашего председателя Володина красная книжечка произвела магическое действие. Володя сполна этим воспользовался, заявив польщённому профбоссу, что именно на шахте «Бутовская глубокая» он собирается впервые исполнить только что написанную оду горнякам — песню «Чёрное золото».

В порядке ответной любезности воодушевлённый председатель внезапно предложил Высоцкому организовать официальный концерт во Дворце культуры и, получив согласие, тут же уладил все формальности с парткомом шахты и горотделом культуры. Ведь никакого маршрутного листа, дающего право на выступления, у Володи не было и быть не могло. О платном концерте мы и не мечтали, а тут вдруг такой жест доброй воли. Но видимая обыденность чуда меня не всколыхнула. Я реагировал на неё с тупым равнодушием обывателя. За годы нашего общения Володя окружил меня такой атмосферой будничной сказочности, что я просто устал удивляться.

Договорились о двух концертах: один бесплатный — для утренней шахтёрской смены, другой платный — во Дворце культуры, для всех желающих. Весь чистый сбор должен был пойти на ремонт машины, бензин и белгородские яблоки.

Не теряя времени, Володя изъявил желание спуститься в забой.

— Пожалуйста, — наш благодетель одним телефонным звонком добился разрешения на спуск.

Переоделись мы в какую-то спецодежду, напялили каски. Спустились на километровую глубину, на

так называемый горизонт. Походили там по вентиляционному штреку, понаблюдали.

Увиденное меня потрясло: то была сущая преисподняя. Как могут несчастные шахтёры выдерживать это в течение целой смены? Через пару минут я уже задыхался от нехватки воздуха. Володя же хоть бы хны: знай себе носится вдоль вагонеток, что-то выясняет у сопровождающего нас инженера.

Мылись мы в кабинках шахтёрского душа. Володя очень хотел, чтобы мы снялись там на память в шахтёрских касках, но рядом не оказалось фотографа. (Позже Высоцкому от имени шахтёров подарили такую каску.)

После обсуждения программы концерта молодые представители партийно-комсомольского актива пригласили Высоцкого пообедать, как бы случайно забыв обо мне. Машина уже тронулась с места, но Володя был начеку и велел активистам дать задний ход:

— Вы что это моего друга оставили?!

Повезли нас в Донецк, где мы и перекусили в каком-то кафе на открытом воздухе. Активисты вспоминали о выступлении на их шахте Евгения Евтушенко, о его невыполненном обещании приехать ещё раз. Поговорили и о Махно — в связи с нашей предстоящей поездкой в Гуляйполе. Начальники были искренне удивлены, что мы собираем какие-то новые материалы о пресловутом атамане: «А чего искать, ведь о нём всё уже у Алексея Толстого написано».

На другое утро Володя дал большой концерт — специально для горняков. Спел он им и «Чёрное золото», но слушатели прореагировали на него без восторга.

Тогда Володя исполнил несколько лёгких песен — для бодрости — и расшевелил аудиторию. Помню реакцию на «Поездку в город» — на слова: «Даёшь духи на опохмелку»; помню сильный гул в зале — то ли акустика, то ли шахтёры переговаривались.

Тем временем наша хозяйка Алла говорит мне потихоньку:

— Зачем он так старается? У них же всё атрофировано, им бы только выпить и поесть; даже с жёнами своими ничего не могут...

Говоря по правде, мне тоже показалось, что шахтёры реагировали не на тексты Володиных песен, а на отдельные строчки. Я сразу вспомнил звероподобных «морлоков» Уэллса и обезличенных «пролов» Орвелла.

Как и обещала одна из наших попутчиц, её муж, работавший начальником участка, подобрал группу умельцев и, не мешкая, приступил к косметическому ремонту нашего «Москвича». Договорились, что недостающую часть денег за проделанную работу мы вышлем им сразу же по возвращении в Москву.

Но к следующему утру машина ещё не была готова, и мы отправились в Гуляйполе на служебной чёрной «Волге», которую нам любезно выделила дирекция шахты.

Из Макеевки мы выехали довольно рано. И наконец-то добрались до цели нашего путешествия. Смотрю во все глаза на махновскую столицу: хаты, повозки — ни одной автомашины — кажется, время остановилось и отбросило нас вспять. Так вот оно, Гуляйполе! Вот откуда вновь «разлились воля и казачество» на всю Россию! Вот это «волчье логово», ставшее сущим кошмаром для окопавшегося в Кремле ЦК растления Родины и революции! Минуя все шлагбаумы и просачиваясь сквозь карантины, лозунги гуляйполыцины грозно зареяли над Кронштадтом и Тавридой, Полтавой и Западной Сибирью: «третья революция», «советы без коммунистов», «самоуправление трудящихся»...

...Как и предрекал Махно (а до него Бакунин с Кропоткиным), семьдесят лет наёмного труда, диктата бюрократии и запрета на инициативу привели страну к неслыханному экономическому и нравственному

коллапсу. Тогда-то и вспомнили нежданно-негаданно о социальном эксперименте Гуляйполя и Кронштадта, безжалостно аннулированном бравыми «комдивами Котовыми». Появилась Партия самоуправления трудящихся офтальмолога Святослава Фёдорова, чья антикризисная программа подозрительно напоминала экономические откровения малограмотного батьки: хозрасчёт, самоакционирование, самоуправление. То ли спущенный с цепи социализм, то ли посаженный на цепь капитализм. Стоило ли впрягать упирающуюся Русь в марксистские оглобли, чтобы спустя семьдесят лет вернуться к доморощенным пророкам?!

Узнав адрес племянниц Махно (Степная улица, 63), подъехали прямо к их дому. На наш стук вышла сама Анастасия Савельевна Мищенко — сплошная опаска и настороженность. Какая-то баба с возу, увидев нас, кричит ей:

— Ну шо, опять до Махна?!

Чистая украинка, Анастасия Савельевна плохо говорила по-русски, — но в этом же доме жила её младшая сестра, прожившая много лет в Сибири и по характеру более открытая. Прекрасно владея русским, она и помогала «переводить» нам рассказы сестры. В том, что Махно действительно её родной дядя, та призналась очень неохотно. Чтобы завоевать её доверие, мы, задавая вопросы, намеренно величали дядю только по имени-отчеству: Нестор Иванович. Это сработало, и племянница, постепенно преодолевая подозрительность, стала рассказывать всё, что помнила о прославленном родственнике. Я временами задавал вопросы и записывал её ответы, а Володя сидел рядом и внимательно слушал. Интересная деталь: если, увлекшись рассказом племянницы, я вдруг забывал его конспектировать, Володя с чуть заметным недовольством призывал меня к серьёзности:

— Ты записывай, записывай.

Мол: «Ты же приехал сюда *работать*, а не лясы точить». К работе у него всегда было фанатичное отношение.

Первый же рассказ Анастасии Савельевны нас сильно смутил. Какой-то махновец отнял буханку хлеба у жителя Гуляйполя. Тот пожаловался батьке, обидчика быстро отыскали, он во всём признался, просил о снисхождении, но Махно был неумолим и *лично* расстрелял виновника из маузера. Выслушав этот эпизод, мы с Володей молча переглянулись...

Племянница рассказывала в основном о мирном, начальном периоде деятельности Махно, когда он был избран председателем Гуляй польского совдепа, страстно агитировал за безвластные советы и вольные коммуны, где вместе с крестьянами-бедняками могли бы трудиться и кулаки, и «кающиеся» помещики. Очень любил выступать на митингах, был невероятно энергичен и целеустремлён. «Церкви он не трогал, — подчеркнула она. — Но попов мог расстрелять, если те шпионили». (Оживлённо обсуждая в машине на обратном пути наш визит, Володя выделил и этот момент: «Слышал, а церкви-то он не трогал...»)

Обе племянницы возмущалась тем, как показывали их дядьку в кино: «Это неправда, он не был таким!» Но на вопрос Высоцкого, как Анастасия Савельевна относится к деятельности дяди, та ответила буквально следующее: «Отрицательно, потому что из-за него пострадали все мы, его близкие». Вот и борись после этого за народное счастье!

Но племянница не преувеличивала. Позже, уже в Москве, я узнал, что её отец, старший брат и сподвижник батьки, Савва Махно, ветеран русско-японской войны, был расстрелян большевиками — главным образом из-за своей фамилии. Другого брата, мирного богобоязненного крестьянина Емельяна, пустили в расход гетманцы — по той же причине. Третий, Григорий, погиб в бою с деникинцами. Тестя Махно, отца Галины Кузьменко, ликвидировали красные — также за родственную связь. Дом самого

батьки сжигали неоднократно — то германцы, то белые, то красные. Оставшись без крова, он некоторое вместе ютился с семьёй в тесной хате родителей Анастасии Савельевны, хотя мог реквизировать лучший дом в Гуляйполе. Впрочем, позже спалили и эту хату.

Трагично сложилась судьба самой Галины Андреевны Кузьменко, бывшей первой красавицы и первой леди экспериментальной республики. Её жизнь — остросюжетный приключенческий роман. Мечтательная «невеста христова» и отважная амазонка, школьная учительница в Гуляйполе и прачка в пансионе парижского пригорода, поднадзорная беженка в Бухаресте и работница хлопчатобумажного комбината в Джамбуле, золотая медалистка женской семинарии и узница социалистов Юзефа Пилсудского и Иосифа Сталина.

Такими же резкими перепадами полна и личная жизнь Кузьменко: сегодня — беглая монашенка, невеста богатейшего барона, завтра — всесильный шеф следственной Комиссии контрразведки, жена атамана-бессребренника. О её популярности говорят куплеты, которые горланили перебравшие повстанцы:

В 1940 году, после разгрома Франции, Галина Кузьменко была вывезена вместе с дочкой на принудительные работы в Германию. В 1945-м, после разгрома Рейха, — выдана союзниками органам НКВД, судима и приговорена к десяти годам заключения. Освободившись по амнистии 1954 года, прозябала вместе с дочерью в казахстанской глуши. Побывала пару раз в Гуляйполе.

Обо всём этом мне стало известно много позже, из книг советских и зарубежных авторов о мятежном атамане. А в тот день Анастасия Савельевна из осторожности не стала ничего рассказывать о репрессированной родственнице; лишь подтвердила, улыбнувшись, факт её красоты, отвечая на наш с Володей единственный вопрос, в котором мы блеснули знанием украинского:

— Чи то правда, шо Галина була гарна дивчина?

— Дюже гарна.

Рассказала племянница и про то, как Махно в качестве военной хитрости устраивал карнавальные свадьбы. (Об этом есть и у Бабеля: натура артистическая, Нестор Махно любил такие яркие, красочные действа с переодеваниями, причём чаще всего наряжался вражеским офицером, церковным служкой или невестой.) Именно в роли невесты обессмертил Махно в графическом цикле «махновщина» замечательный художник Чекрыгин.

Махновщина вообще сама по себе была вдохновенной импровизацией на подмостках Украины, разыгранной в духе «Театрального Октября» драматической вакханалией, в которой жизнь и смерть — не знатные «варяжские гости», а часть грандиозной массовки.

О таком народном театре под открытым небом Мейерхольд с Вахтанговым могли только мечтать.

...Я спросил Анастасию Савельевну, нет ли у неё фотографий дяди. Оказалось, кое-что есть. Она вынесла прекрасное фото Махно с дочкой Леной: прелестная девочка лет восьми-десяти рядом с отцом — симпатичным, интеллигентным, при галстуке и — с шашкой на боку. Я заметил, как удивил Володю этот снимок. Показала также большую настенную, грубо ретушированную фотографию дяди и письмо от Махно — вместе с фотокарточкой оно спокойно пришло из Парижа в начале тридцатых.

Племянница заверила, что кроме этого письма у них от дяди ничего больше не осталось; что с этого снимка мы можем снять копию, но нам она его не отдаст, потому что уже приезжали какие-то люди *из города*, взяли фотографию с Махно и не вернули.

— Да это наверняка наши Фрид и Дунский, — улыбнулся Володя, имея в виду знакомых сценаристов фильма «Служили два товарища».

Меня заинтриговало содержание письма:

— А о чём Нестор Иванович вам пишет?

— Да о своём житье-бытье в Париже.

— А чем он там занимался?

— Журналистом был. Статьи писал всякие.

Мы были поражены: надо же, «отпетый головорез» и — интеллектуальный труд?!

Очень хотелось увидеть кого-нибудь из оставшихся в живых сподвижников Махно. Оказалось, что недалеко живёт дед, воевавший какое-то время вместе с батькой. Сейчас он трудится в совхозе имени Энгельса. Поехали искать этого махновского ветерана.

Надо сказать, что местные жители боялись говорить с нами на эти темы. Мы им на все лады объясняли, что Володя — актёр, а я — сценарист, что к ГПУ и НКВД мы никакого отношения не имеем, но ничего не помогало: какой-то подспудный страх сидел в них до сих пор — крепко, видно, их в своё время прижали.

В конце концов удалось разыскать этого соратника. Оказалось, что пробыл он у Махно лишь несколько месяцев, а потом жена (она присутствовала при нашей беседе — моложавая, бойкая женщина) предъявила ему ультиматум: или семья, или ратные подвиги — и увела его из боя. Простые слова, живые интонации, бытовые детали — это для меня было главным в рассказе старика. Поведал он нам и о начале вооружённой борьбы Махно с немецкими оккупантами и гетманщиной. Узнав об очередных бесчинствах карателей над мирным населением, батька собрал самых верных своих соратников (среди них был и наш дед) и, обнажив шашку, призвал к отмщению: «Око за око, зуб за зуб!» Вспоминая батьку и его белого коня, старик прослезился. Он трактовал его как настоящего сказочного витязя, бесстрашного народного заступника.

Коснулся дед и теневых сторон махновского движения, признав, что армия кишела уголовными элементами, в чьей криминальной интерпретации анархизм представал не социальной доктриной, а правом на вседозволенность, приглашением к грабежам и убийствам. В подтверждение своих слов рассказал кошмарную историю, свидетелем которой был он сам: о старом, мирном еврее с библейской бородой, повешенном «повстанцами» на телеграфном проводе. Во время казни глаза у несчастной жертвы готовы были вылезти из орбит, «как у Ивана Грозного, убивающего сына, помните картину художника, как его... Репина», — так он, удивив нас эрудицией, закончил своё страшное повествование.

— А как реагировал сам Нестор Иванович на подобные зверства?

— Когда узнавал, то виновных расстреливал на месте. Да разве за всеми уследишь?

...Спустя несколько лет мне удалось ознакомиться со специальным воззванием Махно об антисемитизме в его армии, выпущенным в 1919 году.

«...Величественная драма революционного повстанческого движения омрачена бездумной, дикой вакханалией антисемитизма, священная идея революционной борьбы поругана, оплёвана чудовищным кошмаром зверского издевательства над еврейской беднотой, влачащей жалкое, рабское, нечеловеческое существование... Ваш революционный долг — пресечь в корне всякую травлю и беспощадно расправляться со всеми прямыми и косвенными виновниками еврейских погромов.

Товарищи повстанцы! Очистите ваши ряды от бандитов, грабителей и погромного элемента!»

...За «грехи юности» старик поплатился длинным сроком лагерей, хотя никакого участия в борьбе собственно с «Советской властью» не принимал. Его единственным преступлением было то, что с немцами, гетманом и Петлюрой он сражался вместе с Махно.

Володя спросил у него, что он думает о махновщине на закате жизни. Вот его дословный ответ: «Раз он проиграл, значит, правда была не за ним. Нельзя было идти против большинства»... Увы, так рассуждали все, с кем нам пришлось говорить о батьке и его «закономерном» фиаско...

Смешно было надеяться на полную откровенность старика в беседе с *городскими*. Повествуя о зверствах германцев и золотопогонников, запуганный старик, конечно же, поостерёгся распространяться о «красном терроре», прямой жертвой которого он являлся.

Возвращались мы назад, переполненные впечатлениями. Через двадцать лет вёзший нас водитель директорской «Волги» в интервью газете «Вечерний Донецк» вспоминал: «На обратном пути Высоцкий оживился, рассказывая своему товарищу о перипетиях гражданской войны, о делах батьки Махно. Я особенно не прислушивался к разговору — в дороге нельзя отвлекаться. Приехали в Макеевку вечером. «Москвич» был уже отремонтирован...»

Вечером того же дня, уже в городе, где мы снова ночевали у Аллы, Володя рассказывал о нашей поездке, и было заметно, что он уже входит, «вживается» в роль Махно... И газета «Вечерний Донецк» пишет об этом же: «Итак, все, кому довелось встречаться с Высоцким, утверждают, что он задумал фильм, готовился исполнить в нём роль атамана...»

Дочка хозяйки дополнила наши впечатления: она пересказала нам воспоминания своей бабушки из Новосёловки о великом исходе 1919 года, когда жители всего повстанческого района под натиском Деникина снялись с насиженных мест и потянулись вслед за отступающей махновской армией на Запад, в сторону Умани. Это и был известный в истории махновщины период «анархической республики на колёсах», во время которого дерзким манёвром Махно удалось перехитрить и разбить белых, сорвав — на свою беду — их победный марш на Москву. Сбылось предвидение Сталина, что именно Махно «съест» Добровольческую армию. (В силу высших предначертаний тот же Сталин и расправится впоследствии со всеми врагами революционного атамана — от Михаила Фрунзе до Льва Троцкого.)

Благодарность комиссаров не заставила себя ждать. Уже спустя несколько месяцев славный ловчий революции Феликс Дзержинский призвал «истреблять махновцев, как бешеных зверей». То же произошло после разгрома Врангеля в ноябре 1920-го. Использовав в крымской операции элитные махновские части, первыми форсировавшие Сиваш, комфронта Фрунзе предательски повернул оружие против вчерашнего союзника. Пленных не брали.

Сбросившая с себя обузу «человеческого, слишком человеческого» власть задолго до Гитлера трактовала пакты, договоры, соглашения как буржуазный предрассудок, как «исторический хлам». Следуя своей извращённой логике, она и не скрывала, что «с теми, кто, подобно Махно, пытается сохранить своё самостоятельное существование рядом с властью Советской Республики, следует расправляться беспощадно, как с деникинскими агентами».

«Вина» махновских командиров усугублялась их отказом участвовать в чудовищной бойне сдавшихся под честное слово врангелевцев и всех мирных жителей интеллигентного вида. За две недели в Крыму было зверски истреблено около ста тысяч соотечественников. (Двадцать лет спустя в Бабьем Яру погибло столько же, но — от рук немцев и... в течение двух лет.) Ни Сталину, ни Гитлеру, ни Пол Поту не удалось даже приблизиться к этому стахановскому рекорду кровожадности.

С клеймом зверски жестокой секты сатанистов и войдёт большевизм в историю государства российского. Махновская республика компрометировала её самим своим существованием. Ведь

октябрьский лозунг «Вся власть Советам!» предполагал отнюдь не однопартийный абсолютизм и «массовидный террор», а политическое и экономическое самоуправление трудящихся. Махновщина была обречена, потому что опасных свидетелей убирают, предварительно оклеветав:

Дескать, какая-то мразь называется Правдой...

И вот он, кровавый эпилог Междоусобицы — «Охота на Махно». 150 000 красных егерей против 3000 матёрых волков и волчат.

Невзирая на умопомрачительный перевес, Махно ни на минуту не потерял самообладания и решил дать прощальный бал «комиссародержавию» Он любил это вышедшее из моды «иду на вы», особенно в безвыходных ситуациях. Беспримерный поединок с загонщиками, псарями и псами растянулся на целых девять месяцев! Он готов был расстаться с жизнью, но не с принципами.

Одической тяжеловесности фронтальных атак «Красной Охоты» Махно противопоставил «высокое косноязычье» своих манёвров, непредсказуемость рейдов, глухие волчьи тропы украинских степей и русских лесов. В этом ощерившемся броневиками кольце облавы, в этой атмосфере будничной героики за гранью жизни и смерти Махно поспешно избавлялся от балласта здравого смысла, чтобы, выпав из рода людского, целиком раствориться в природе и стать таким же непостижимым, как она.

Уже в апреле 1921-го сам Ленин был вынужден косвенно признать военный гений атамана и полное фиаско «Большой Охоты»: «Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать), и теперь ещё более позорно провалится, не умея раздавить горстки бандитов...» И это — об армии, победившей Колчака, Деникина, Врангеля... Кстати, Махно не скрывал своего восхищения храбростью белогвардейцев, их презрением к смерти, скептически оценивая боевые качества красных. Они побеждали не умением, а числом.

Приблизительно в той же тональности, торопя поимку Пугачёва, чихвостила своих загонщиков и Екатерина Вторая. Трогательная закономерность; у узурпаторов совпадает не только менталитет, но и стилистика...

Вечерний концерт Высоцкого во Дворце культуры прошёл успешно, но без особого ажиотажа. После концерта к нам подходили молодые шахтёры из числа комсомольских активистов и говорили Володе примерно следующее: «А почему у вас такие грустные песни? Нету в них бодрости, оптимизма. Я вот доволен своей работой, своей жизнью»... «А как вы относитесь к Ободзинскому?»... В их репликах смутно улавливалось инстинктивное классовое недоверие к Высоцкому: «Вроде бы свой, а всё ж таки не Хиль, не Кобзон».

Накануне отъезда, в тот же вечер, на квартиру к нашей хозяйке пришли дети шахтёрской элиты (местная «золотая молодёжь»), чтобы пообщаться с Высоцким. Узнав, что мы попали в аварию, собрали между собой какие-то деньги и передали Володе. Ребята принесли с собой выпивку, девушки — термос с кофе на дорогу. Во время ужина Володя, конечно, не пил, но мне сказал чуть раздражённо:

— Выпей с ними, будь попроще, не надо людей обижать.

В этот вечер он много пел (хотя записывать себя почему-то не разрешил), охотно отвечал на вопросы, раздавал автографы. Гости разошлись уже за полночь.

А ранним утром мы уже были в пути. Машина — на ходу, масло — не течёт. Где-то около Курска Володя вновь сел за руль, и вновь — вспышка мальчишеского бонапартизма. Тогда впервые у нас с ним произошло нечто вроде ссоры. На этот раз я не выдержал и повысил на него голос:

— Ну зачем ты поехал на красный? Люди ведь могут из-за тебя пострадать!

Почему-то мне вдруг стало обидно за светофор — этот чудесный китайский фонарик, дарующий иллюзию равноправия в царстве бесправия. В этом намеренном пренебрежении к учтивости цветового сигнала сквозило нечто купеческое. Так, в буйстве самоутверждения, мог себя вести какой-нибудь парвеню, которому «закон не писан». Сам я являлся большим почитателем идеалов неравенства, но не привилегий. С детства терпеть не мог спецпайки, спецпропуска, спецполосы. И, главное, всё это не шло автору «Паруса». Но он здорово обиделся:

— Если будешь так со мной разговаривать, то мы поссоримся. Ну да, я знаю, ты меня любишь, но этот тон...

— Но, ты же знаешь, что сейчас я за тебя отвечаю. Перед Мариной, перед матерью — да перед всеми!..

На этот раз Володя промолчал. И до самого возвращения в Москву больше за руль не просился. О ссоре мы не вспоминали — быть может, он признал мою правоту.

В Москве он мигом пристроил мою машину на станцию техобслуживания — по блату, через знакомого замминистра. Но министерский блат не очень-то помог: мастера мне дали понять, что по госрасценкам они стараться не будут. И запросили грабительскую сумму — триста рублей. Узнав об этом, Володя на следующее утро приехал ко мне, выложил требуемые триста и, улыбаясь, сказал:

— Теперь ты видишь, кто твой единственный друг?

...Через пару лет я получил из Франции письмо — запоздалый отклик нашего путешествия в Гуляйполе. Вот что сообщала благополучно эвакуировавшаяся в Забугорье Мишель Кан: «Приятель друзей, ленинградский художник, попавший сюда с женой и детьми через Израиль, рассказал мне следующее. У его знакомой, потомка художника Ге, с которой я тоже познакомилась (старушка лет восьмидесяти, с фигурой сорокалетней, страшно милая), висит в гостиной странный рисунок, явно не профессиональный. Когда он увидел подпись, то остолбенел: «Откуда у вас этот рисунок и знаете ли вы, кто это?»

Автора рисунка старушка видела всего один раз, кто он такой, не имела понятия; просто рисунок ей почему-то понравился, и она его сохранила. Этого человека в начале тридцатых привёл к ней на вечеринку один её знакомый. Это был довольно плохо одетый и ничем не примечательный мужчина маленького роста. Но он привлёк всеобщее внимание, когда внезапно забился в конвульсиях. Вызвали врача. Тот посоветовал оставить его ночевать, поскольку двигаться ему было никак нельзя.

Наутро, когда хозяйка зашла его проведать, он был уже здоров и выразил желание как-то её отблагодарить. В знак признательности он и оставил ей на память этот рисунок. А имя того человека было — Нестор Махно...»

Глава двенадцатая.

ТАЛЛИН. ГОСТИНИЦА НАДЕЖДЫ

Он уйдет навсегда, не простившись и не закончив, наверное, своих земных дел, но это случится ещё через долгих десять лет. А пока стоит тёплый сентябрь 1970-го, и я всё возвращаюсь памятью в ту тихую таллинскую осень нашей юности.

Нас было четверо в те дни или пятеро. Разве чопорный, старомодный Таллин не был тогда нашим молчаливым спутником? Теперь и он, модничая, гордо отгородился от нас пограничными вешками, восстановив свой статус-кво...

Как-то, утомлённый своими сердечными и прочими невзгодами, я надумал вернуться в Таллин, где два года назад проходили съёмки «Красной палатки». В те дни вся наша съёмочная группа проживала в самой престижной гостинице города со скромным названием «Таллин». Это было большим событием в жизни Таллина и уж тем более, в жизни персонала отеля. Ещё бы! Ведь теперь они могли воочию лицезреть популярных кинозвезд и их туалеты, приобщаться к жгучей тайне их капризов. Я же, подобно вездесущему Фигаро, связывал непрочной нитью языка два враждующих лагеря — мир альтруизма с миром наживы. Свободное от съёмок время мы пропадали в уютном баре второго этажа, где две расторопные барменши — эстонка Хельга и дочь Иордана Стелла — выбивались из сил, чтобы гости чувствовали себя, как дома. Словом, за эти несколько недель съёмок «мои чёрные кудри» в гостинице изрядно примелькались, что и дало мне основание самонадеянно полагать, что у меня там «всё схвачено». Тем более что спустя год после окончания съёмок я приезжал туда с приятелем, и никаких проблем с устройством у нас не возникало. Меня ещё помнили.

Решив ещё раз посетить знакомые места, я легкомысленно соблазнил на поездку Володю, у которого как раз образовалось окно в театре. Володя охотно согласился, и, предвкушая безмятежный уик-энд, мы отправились во Внуково.

Реальность оказалась куда прозаичнее моего воображения.

— Я приехал с товарищем. Мне нужен номер на двоих, — непринуждённо обратился я к знакомой администраторше средних лет.

— У нас нет свободных мест, — опустила меня на землю не склонная к сантиментам эстонка.

На глазах у спокойно стоявшего у стойки Володи я с позором шёл ко дну. Несколько растерявшись, я пустил в ход свой самый козырный аргумент:

— Разве вы меня не помните? Я — Карапетян, работал здесь с Кардинале!

— Да, но вы же не Кардинале... — саркастично уточнила она.

Сконфуженно попросив Володю посидеть пока в холле, я побрёл на поиски другой администраторши — красивой замужней эстонки, за которой я безуспешно волочился в период съёмок, снискав комплимент самой Кардинале: «У тебя прекрасный вкус». Марика похорошела ещё больше, но моё появление не вызвало у неё никакого душевного трепета. Грех было жаловаться на скверную память членов трудового коллектива отеля. Нет, меня решительно все узнавали, но узнавали, так сказать, со знаком минус. Марика была занята глубокомысленной беседой со своими сослуживицами. Моё наивное желание пообщаться с

ней на правах личного волокиты её отнюдь не воодушевило. Она даже не сочла нужным улыбнуться:

— Вы же видите, я сейчас занята.

Парировать этот убийственный аргумент было нечем: моя карта была бита. Чёрт бы побрал этих чухонок! И Северянина с его эстляндскими восторгами. Ничего себе «оазис в житейской тщете!» Куда уместнее в данный момент звучало бы его более сдержанное резюме: «И впору человечьи лица без человеческой души».

Меня даже в жар бросило: неудобно перед Володей — наобещал, привёз, и такой пассаж. Но Марика была моим последним шансом, и надо было всё-таки попытаться растопить эту груду льда. Но чуть позже. А пока я предложил Володе выпить по чашечке кофе в мини-баре, расположенном в самом холле, пока Марика освободится. Удобно устроившись перед стойкой бара, я взглянул на барменшу и... признал в ней Стеллу.

Успев испытать двойное унижение за неполных полчаса, я решил, что и она будет себя вести «в эстонском стиле», но упустил из виду её происхождение. Поздоровавшись со мной первой, Стелла поинтересовалась целью нашего приезда. Я заметил, как она посмотрела на Высоцкого: конечно же, сразу его узнала. Я уже не сомневался, что она нам поможет и с грустью поведал ей о прохладном приёме, оказанном мне её коллегами. Не мешкая, Стелла поднялась к директору отеля и быстренько устроила нам двухместный номер. Расплатившись за номер и договорившись с нашей неожиданной спасительницей об ужине в любом из выбранных ею ресторанов, мы вышли во двор. Удовлетворённые, мы благодушно прогуливались около отеля, любовались осенними клумбами и вели «литературную беседу».

Почему-то речь сразу же зашла о Маяковском и его поэтической школе. С поразительной самонадеянностью я расправлялся с Поэтом, обвиняя его в «одномерности» и противопоставлял ему Мандельштама и Цветаеву как образцы «многослойности». Володя смущённо пытался парировать мои наскоки, цитируя, в качестве примера поэтической смелости, знаменитые строки:

Но я уже закусил удила:

— Словесная эквилибристика, — отрезал я с категоричностью провинциала-полузнайки. Лихо разделавшись с Маяковским, я взялся за Вознесенского с Евтушенко, правда, милостиво признав за ними даровитость, которую они «бесцеремонно эксплуатируют». Меня всегда огорчала Володина завышенная оценка этих двух «властителей дум», его странная терпимость к их бескрылой и услужливой музе. Ведь как же нужно не уважать себя, чтобы опубликовать «Ленин в Лонжюмо» и «Братскую ГЭС»?! А вот Андрей Тарковский говорил мне о них с откровенной брезгливостью: «Ради популярности эти двое готовы на все. Если они её вдруг лишатся, то побегут по Москве нагишом, лишь бы снова оказаться в центре внимания»...

Терпимость Высоцкого удивляла. Он явно чурался роли арбитра, считая, видимо, что талант искупает многое. На моей памяти он только однажды высказался резко об известных деятелях искусства, и то, когда был в подпитии. В 1974 году я впервые услышал от него осуждение оппортунизма других: «Они оба, оба всеядны — и Никита, и Андрон». Речь, понятно, шла о Никите Михалкове и Андроне Кончаловском.

У Баратынского есть строки, словно напрямую адресованные Высоцкому.

Но самозванство было не в натуре Высоцкого: он терпеливо дожидался официального приглашения на Олимп. Не дождался. Опасность своему олимпийскому спокойствию «боги» видели именно в «поклоннике унижённом». Поэтому и присвоили творцу гениального «Истребителя» статус «блатаря» и

«меньшого брата». Видимо, они инстинктивно чувствовали, что очистительный шквал его поэзии заглушит их заискивающую перед эпохой лиру.

— Володя! — вмешался откуда ни возьмись в наш поэтический диспут взволнованный женский голос. С недоумением обернувшись, мы увидели пару радостно устремлённых на нас сияющих чёрных глаз.

— Галя, чёрт возьми, как ты здесь оказалась? Ты что, одна? — изумлённо уставились мы на этот полуденный призрак.

— Нет, с Аней...

И вот уже нарушено хрупкое перемирие наших душ с действительностью; оказалось под угрозой и наше суровое мужское уединение. Московские тревоги прилетели вслед, в прах разметав обретённую с таким трудом безмятежность.

Это была странная пара. Две манекенщицы, Аня и Галя. В ту пору не было стюардесс, были бортпроводницы; не было манекенщиц, были демонстраторы одежды. Чтобы лишить эти редкие и изящные профессии ореола исключительности, их преднамеренно драпировали в тяжеловесные словеса неудобоваримых названий. Но даже прозаическая запись в трудовой книжке — была не в состоянии превратить этих изумительных красавиц в заурядных совслужащих. Они были антиподы. Страстная красота башкирских степей, дарованная Гале, соперничала с тихой прелестью мерцающей снежной Ани.

Узнав в Москве о том, что мы летим в Таллин, Галя не задумываясь рванула вслед за нами, подбив на поездку и Аню, бывшую со мной в серьёзной размолвке. Вот уж, действительно, «какие странные дела у нас в России лепятся»! Чтобы две красивые девушки, да в придачу ещё и манекенщицы, поехали на свои деньги вслед за двумя небогатыми мужиками с единственной целью «подышать с ними одним воздухом», как выразилась Галя?! Даже если фамилия одного из них — Высоцкий. Впрочем, интрига оказалась куда более запутанной, чем могло показаться на первый взгляд.

— А где же Аня?

— Она спит.

Вот ещё новость! Спит в общежитии у каких-то студентов-армян, с которыми девушки ехали из аэропорта. Не спала, видите ли, всю ночь. От удивления у нас вытянулись лица:

— Какие ещё студенты? И почему ты одна?

— Я приехала сюда наугад, чтобы найти вас. А с Аней мы условились встретиться в восемь вечера у кафе «Москва».

Сбивчивые объяснения Гали нас не убедили, и мы решили ехать в общежитие и выручать Аню из лап подозрительных армян. Долго кружили по студенческому городку, но безрезультатно. Нет, тут что-то было не так. Поведение Гали выглядело, по меньшей мере, странным. Не солоно хлебавши, возвратились мы в гостиницу и направились к Стелле пить кофе. Чувствовалось, что Володя не в восторге от внезапного приезда красавиц, я же чувствовал себя застигнутым врасплох...

В тот памятный июльский день, когда я снова встретил Аню, мне сразу захотелось позвонить Володе:

— Наконец-то я влюбился, — убеждая скорее самого себя, чем Володю, выпалил я.

— Ну и как? — с оттенком иронии в голосе остудил мой несколько наигранный восторг Володя. Он вообще терпеть не мог восторженности и сентиментальности. Он, кстати, был тоже не один: у него сидела какая-то незнакомая мне девушка. Сорвались, поехали в ресторан при Внуково, где, на радостях, я здорово надрался, и на обратном пути за руль сел непьющий Володя. Хотя Аня и в тот первый день вела себя

странно, Володя прореагировал на неё спокойно. Ночевали у меня. Мы с Аней — в моей спаленке, Володя со своей дамой — на синем диване в гостиной.

Через какое-то время он зашёл ко мне за сигаретами и, увидев, что мы лежим одетые, остановился как вкопанный.

Утром, когда мы проводили девушек и остались одни, Володя сказал:

— Давид, как это прекрасно, что вы лежали нераздетые. Глядя на вас, и я тоже...

Ну и вот, а ещё сравнивают его с Дон Гуаном...

Спустя пару дней, пользуясь отсутствием уехавшей в Париж Мишель, я принимал у себя дома Аню и Галю. Роман наш стремительно набирал обороты, и жизнь представлялась упоительной, как поцелуй Чаниты. Вечером позвонил Володя — по голосу чувствовалось, что он в плохом состоянии:

— Ты дома? Я сейчас приеду.

Володя только недавно вернулся из дальних странствий. В Приэльбрусье у него «отказали тормоза», и он дал каким-то состоятельным грузинам увезти себя в Тбилиси, где ему был оказан великолепный приём. Володя появился в сопровождении какой-то незнакомой опекунши — гренадёрши из продмага. Заверив её, что я сам отвезу Володю домой, я поспешил от неё избавиться. Она решительно выглядела пятой лишней. Присутствие двух эффектных девиц явно не сочеталось с разобранным состоянием Володи, возникла общая натянутость и неловкость. Разговор не клеился. Тут ещё Аня съехидничала, усугубив ситуацию:

— Скажите, Володя, а приятно быть знаменитым?

Володя несколько замешкался и недовольно ответил:

— Да, приятно. Потому что это даёт мне возможность помогать друзьям.

Спустя несколько минут он собрался уходить. Прощаясь, обратился к девушкам:

— Мне неудобно. Давайте встретимся в другой раз, когда я буду в лучшем состоянии.

Уходя, он с любопытством посмотрел на Аню, видимо, не признав в ней ту девушку, с которой мы ездили во Внуково. Неудивительно — лёгкий макияж неузнаваемо изменил её.

Я поехал провожать Володю домой. В машине он спросил у меня:

— А кто этот человечек? — имея в виду, как оказалось, именно Аню.

Вскоре Володе удалось «завязать», и мы стали всё чаще и чаще проводить время вчетвером. Сидели у меня дома, ездили обедать в «Баку», один раз ужинали в «Архангельском». (Тусовочных мест, как рестораны Дома кино или ВТО, Володя, конечно же, избегал.) В таких тихих, маленьких радостях неспешно летели тёплые августовские дни и ночи. За это время я уже составил себе мнение о наших спутницах — они явно не соответствовали стандартным представлениям о работницах подиума.

В те времена (да наверняка и теперь) звание манекенщицы являлось как бы двойным патентом на красоту и глупость. Аня и Галя были странными манекенщицами. Прежде всего, обе были напрочь лишены честолюбия. Одному Богу ведомо, как они очутились в Доме моделей. Во время показа Аня так сильно смущалась, что ежеминутно рисковала свалиться с подиума. У Гали же от волнения постоянно дрожали руки, а по подиуму она ступала столь же опасливо, как и подруга, — вечным дамокловым мечом висела над ней угроза отца-мусульманина: «Заведёшь любовника — зарублю». Дело в том, что Галя была замужем за хамоватым русским парнем из номенклатурной семьи и имела восьмилетнего сына, в котором

не чаяла души. Аня же была разведена и одна воспитывала шестилетнего сына, которого родила в шестнадцать лет. Её родителями были обрусевший литовец и австрийская еврейка. Галя никогда не оспаривала интеллектуального превосходства подруги, в которой сочеталось не сочетаемое: она умудрялась увлекаться одновременно Анатолем Франсом и Александром Блоком, Мишелем Монтенем и Александром Грином. Своим сложным, нездоровым внутренним миром она чем-то напоминала героинь Стриндберга: постоянно молчала, говорила же с длинными паузами, чем приводила меня в полный восторг.

После третьей или четвёртой встречи с Аней обычно сдержанный Володя, будучи совершенно трезвым, произнёс неожиданную, ко многому обязывающую фразу:

— Давид, ты понимаешь, что выиграл миллион в лотерею? Это необыкновенная девушка. Я понимаю, что совершаю предательство в отношении Мишель, но, если вы вдруг разведётесь, женись на Ане.

Впоследствии его пожелания сбылись в точности, не принеся, увы, счастья никому из нас троих.

Да, было о чём задуматься. Самое странное заключалось в том, что Володя чувствовал, что Аня относится к нему весьма скептически. Она, как, впрочем, и Галя, интуитивно не верила ему. Володя же в такой тональности никогда ни о какой женщине не говорил. Однажды девушки мне поведали, что Володя очень удивлён, что я так часто езжу к Ане в Долгопрудный на электричке. Из-за обилия в нём «почтовых ящиков» этот городок, как Химки или Подлипки, считался в то время закрытым: на машине с белыми номерами меня там могли остановить. И вроде бы Володя сказал Гале:

— Я бы не стал связываться с девушкой, которая живёт так далеко. Давид — молодец!

Из чего подруги сделали вывод: «Видишь, он какой! Не идеализируй его. Когда тебе будет плохо, он тебе не поможет, хоть вы и друзья».

И однажды, будучи, правда, нетрезвой, Аня таки устроила Володе маленькую «проверку». Как-то мы сидели с ней у меня на Ленинском и глубокомысленно рассуждали об абсурдности земного бытия, что, впрочем, ничуть не мешало нам наслаждаться шотландским виски, сигаретами «Олд голд» и музыкой Альбинони. И, хотя Мишель находилась в Москве и могла нагрянуть каждую минуту, меня это особенно не смущало. В последнее время, на почве деликатности Мишель, наглость моя расцветала всё более махровым цветом.

Было уже около одиннадцати вечера, когда, странно ухмыляясь, Аня предложила вдруг позвонить «просто так» Володе. Не ожидая никакого подвоха, я согласился. Аня тут же набрала номер, и, удачно имитируя душевное волнение, выговорила:

— Володя, это Аня. Ты знаешь, Давиду сейчас очень плохо.

Володя всё понял мгновенно: проверка! И, не вдаваясь в детали, раздраженно (видимо, уставший после спектакля) ответил:

— Ладно. Давай адрес.

Я тут же вырвал у Ани трубку:

— Володя, всё это ерунда. Эта идиотка просто пьяна. Ничуть мне не плохо. Я в полном порядке. Просто такая дурацкая шутка — я на минуту вышел на кухню и не уследил: она тут же набрала номер.

— А где вы?

— У меня дома.

— Что?! У Мишель?! Да вы что, с ума сошли? Уходите немедленно. Она же в любую минуту может прийти.

Не без удовольствия пожурил я Аню:

— Ну что, убедилась? Хоть он и был недоволен, но всё равно бы приехал. Ты никак не можешь понять, что мерить его общим аршином нельзя. Пока я тут с комфортом «страдаю», он же как проклятый вкалывает, буквально на износ.

Я всего лишь повторял, чуть видоизменив, слова Аниной матери — большой поклонницы Высоцкого, контуженной на фронте военной переводчицы.

— Ну что может быть общего между твоим бездельником и Высоцким? Ведь он же, как вол, пашет. И сколько уже успел сделать. Я просто не понимаю, что их связывает.

Этого не могли понять многие...

Но это было потом, а пока — Галя, Аня и Таллин. Было заметно, что Володя явно озадачен бурной, но непонятной активностью Гали и даже её приездом. А ведь я знал, как сильно он увлечён ею. Роман их вспыхнул за месяц до этого при весьма нетривиальных обстоятельствах во время их второй встречи у меня дома.

Накануне приезда Влади я попросил Галю посидеть ночь с Володей и попытаться отвлечь его внимание с алкоголя на себя, дабы соблюсти поутру хоть какую-то меру приличия в отношении прилетающей Марины. Зная от Ани, что пользуюсь почему-то непререкаемым авторитетом у Гали, я объяснил ей ее миссию, не опасаясь впасть в риторику. Поставив перед Галей большую фотографию Высоцкого с гитарой, я принялся, не чураясь театральщины, подстрекать диковатую смуглянку к акту самопожертвования во имя Отечества.

— Галя, пойми, он не просто знаменитость, а совершенно исключительное явление. Если ты ему сегодня поможешь, то вся Россия тебе будет благодарна. Навеки. А уж в Башкирии тобой будут гордиться, как Салаватом Юлаевым, и когда-нибудь наверняка увековечат твою память. В мраморе или в бронзе. Только не давай ему пить ничего кроме пива и не выпускай его из дома. Ты можешь и должна его спасти! Увлекшись тобой, он бросит пить наверняка!

Мой велеречивый зов Галя выслушала без тени иронии. Только дрожащий огонёк зажатой в руке сигареты выдавал её душевное смятение. Огромные глаза-воронки горели отвагой. Она была одновременно похожа и на летящую в огонь бабочку-махаон и на заброшенную во вражеский тыл Зою Космодемьянскую.

Когда приехал Володя, мы некоторое время посидели вместе, потягивая заблаговременно раздобытое мною чешское пиво «Будвар».

Перед тем как уединиться с Аней в соседнюю комнату, я указал Гале тайник, где хранился ящик дефицитного пива, и пожелал удачи. Ночь прошла на удивление спокойно.

Наутро выяснилось, что Галя перевыполнила задание. Она старалась пить больше Володи, чтобы ему оставалось меньше, и лицо у неё приобрело зеленоватый оттенок. Выглядела она неважно: всю ночь напролёт они пили пиво, лежали на диване и выкурили прорву сигарет. Что-то до боли знакомое напомнила мне эта сидящая на краешке дивана странная парочка. Наконец, меня осенило: ба, ведь это же Печорин со своей Бэлой. Не хватало только офицерского мундира да чёрной шали. Подстёгнутое «Будваром» воображение молниеносно развернуло веер незатейливых ассоциаций. Подлетающая к Москве Марина идентифицировалась с исстрадавшейся княжной Мэри, могущая каждую минуту появиться Татьяна — с верной Верой, самого же себя я, вконец запутавшись, воображал то Казбичем, то Азаматом, с его конём Карагёзом в придачу.

Далее интрига развивалась в полном соответствии с канонами романтической литературы той эпохи.

Пора было ехать в Шереметьево — встречать Марину. И тут Володя выдал «цыганочку с выходом»:

— Никуда я не поеду.

— То есть как?

— Не хочу. Ты посмотри, какая девушка. Какие глаза! Какая точёная фигурка! Эта осиная талия!

Действительно, такой тонкой талии я никогда более не видел. Так что Володин восторг меня не удивлял. С величайшим трудом, после долгих препирательств удалось мне его уговорить расстаться на какое-то время с Галей:

— Да никуда она не денется. Будет тебя ждать...

Да, такой фортель в наш прагматический век способен был выкинуть только Высоцкий, и то в подпитии. Он отказался ехать встречать женщину, чьим официальным мужем собирался стать ровно через два месяца.

Из машины Володя, конечно, не вышел, и мне пришлось одному выдержать допрос, который учинила Марина в мрачных интерьерах зала прилёта:

— Где он, дома?

— Нет, в машине.

— Пьёт?

— Вчера и сегодня — только пиво.

Получив багаж, мы молча последовали к машине, в которой полулёжа дремал Володя...

Самое удивительное, что Володю на этот роман благословила фактически сама Марина. Узнав, что Галя живет от него буквально в двух шагах, Володя поведал нам следующую историю. Как-то, вернувшись из гостей в хорошем настроении, Марина стала подтрунивать над Володей: «Ты знаешь, какая у тебя красавица-соседка с огромными глазами? Мы только что ехали в одном такси. Как это ты умудрился ее прозевать? А то все время — «Таня, Таня».

Галя, в свою очередь, рассказывала нам, как однажды ее согласился довезти домой таксист, у которого уже сидела пассажирка. Им оказалось по пути. В осветившемся на миг салоне Галя с изумлением признала в незнакомке... Марину Влади. Ее приветливость и простота покоряли. Когда машина остановилась возле Галиной башни, Марина, улыбнувшись, произнесла: «Да мы и в самом деле соседки». Так что все сходилось.

...В баре Галя продолжала загадочно молчать. Чувствовалось, как она нервничает. Разговор не клеился, натянутость нарастала, становясь уж совсем неприятной. Вдруг Володя, словно о чём-то догадавшись, встал и со словами: «Ладно, ребята, вы тут пока поговорите», — вышел.

Я, никогда не подвергавший сомнению мысль о лидерстве Высоцкого в любой сфере наших взаимоотношений, опешил. Окончательно разобрала меня на части Галя. Проводив Володю глазами, она, стиснув ладошки, тихо сказала:

— В общем, я хотела тебе сказать, что я тебя люблю.

Ситуация складывалась диковатая. Где-то там, в каком-

то общежитии спит Аня, здесь — это лестное, но неуместное признание и Володя, который мог подумать бог весть что. Кстати, позже, уже в Москве, он мне признался, что, грешным делом, решил, что

Галя — моя бывшая любовница, которую я ему «сплавил» после появления Ани. Мнительность Володи временами меня удивляла: видно, часто обжигался.

Моя реакция, видимо, показалась Гале странной:

— А как же Володя?! Как Аня?!

Я ведь понятия не имел, что происходит. А Володя понял, что что-то не то. Поэтому и вышел, оставив нас одних. Я же ничегошеньки не понимал. Диалектика женской души всегда была для меня тайной за семью печатями. Я имел о ней столь же смутное представление, как о теореме Ферма, к разгадке которой я никогда и не стремился. Что может быть тоскливее разгаданной женщины? Я был убеждён, что любимая женщина должна быть вечным «котом в мешке».

Пришлось объяснять Гале, что данный расклад не по мне, что, не будь Володи, я вёл бы себя, быть может, по-другому. Короче, признался ей, что Высоцкий для меня — это святое. Володя вскоре вернулся, и Стелла, воспользовавшись минутной отлучкой Гали, выразила нам своё сочувствие:

— Что, преследует?

— Да вот, неожиданно приехала, и не одна. Надо их как-то устраивать, — объяснили мы ситуацию.

— Нет проблем. Я всё сделаю.

К восьми часам вечера наша троица широким шагом приближалась к кафе «Москва». Различив издалека одинокую фигурку, Володя с нежностью произнёс:

— Смотри, бедненький человечек стоит уже, ждёт.

Удивительное отношение было у Володи к этой девушке: нежность вперемешку с состраданием и восхищением. Видя это, Галя, может быть, и рассчитывала именно в Таллине изменить конфигурацию нашего квартета. В одном я убеждён: не будь меня, у Володи с Аней непременно бы закрутился бурный роман...

По пути в гостиницу мы столкнулись с двумя парнями бывшими изрядно «под мухой». В их малоприветливой тираде, обращённой к нам, отчётливо прозвучало слово «чёрные», явно адресованное нам двоим, Гале и мне. Мы, увы, не были, счастливыми обладателями нордической внешности. Я даже не отреагировал — что с пьяных спрашивать; да и слова их прозвучали невнятно. Уши мои давно притерпелись к избитым оборотам речи, выплёвываемых в мой адрес: от «понаехали тут всякие» до «чёрт нерусский». Но не таков Владимир Высоцкий — задета честь его девушки и друга:

— Ты почему это сказал? Объясни! — устало спросил он.

В его голосе сквозила привычная утомленность людской глупостью.

Второй был потрезвее и, видимо, не хотел лишних приключений. Но первый ещё ничего не понял и проблеял что-то:

— Да чего там!..

Володя быстро спросил: «К приёму готов?» — и сразу же вмазал ему, без подготовки. Отброшенный мощнейшим ударом, бедолага впечатался в дерево, задержавшее, к счастью, его полёт. Видя, какой оборот принимает дело, его более рассудительный приятель вмешался:

— Ребята, да бросьте вы, он же совсем бухой.

— Теперь протрезвеет, — успокоил я его, глядя, как незадачливый охламон отползает от спасительного дерева. — Передай ему, что удар он получил от Высоцкого, может, это его утешит.

На следующее утро подбитый сокол уже кружил под окнами нашего отеля, обнаруживая безусловное

знание творчества Высоцкого, подвывая что-то из «Вертикали» и громогласно вызывая его на дружеское рандеву.

— Может, спустимся? — предложил я Володе.

— Да ну его, — ответил он мрачно.

Итак, вернувшись в гостиницу, мы разошлись, наконец, по парам, восстановив пошатнувшийся было статус-кво нашей странной ситуации. Чуть позже собрались в номере у Володи: чтобы не спровоцировать его, заказали эстонского пива. Володя, увы, не мог себе позволить даже глотка этого напитка, когда завязывал. Он лишь молча любовался девушками. Внезапно встав, он взял с телефонного столика чистый фирменный бланк и, сев напротив Гали, стал что-то писать. Через пять минут он уже протягивал ей написанный без единой помарки стихотворный экспромт, озаглавленный «Это было в отеле»:

— Это — тебе.

Хочется думать, что Галя сохранила этот мадригал — стилизацию под стихи Игоря Северянина «Это было у моря». Впрочем, жива ли она сама? Увы, я запомнил лишь концовку второго катрена с эффектнейшей аллитерацией:

Эстония и Северянин — это было так уместно. Ведь именно Эстония загасила скорость головокружительного виража поэта, убаюкала, дала последний приют усталому сердцу.

Решив с шиком завершить наш эстонский экспромт, мы в благостном расположении духа спустились в ресторан. Но, увы, путь к тихим прелестям эстляндской кухни оказался закрыт. Эстонцы, как впрочем и латыши с литовцами, любят поставить русских на своё место, что они и не преминули сделать, указав нам с Володей, что те кавалеры, которые без галстуков, да ещё с барышнями, по ресторанам не ходят. Узнав об этом, Стелла обещала на другой день одолжить нам мужнины галстуки, благо он у неё был морским капитаном.

(Кстати, через пару лет Стелла перебралась в Москву, устроившись барменшей в Доме кино на Васильевской. Самое удивительное, что сменщиком её был тот самый Марат, о котором уже упоминалось в предыдущих главах.)

На следующий день мы поехали к морю. Долго сидели в каком-то кафе на самом берегу Финского залива. Володя благодушествовал: морской воздух, корабельные сосны, «пепельно-палевые дюны», красивые странные девушки... А ведь в первый день чувствовалось, что он не очень доволен их приездом. Мне же их поступок понравился: решили и поехали, даже не зная, найдут ли нас. Кажется, перед самой поездкой к морю произошла неловкая сцена, оставившая у меня на душе неприятный осадок. Когда мы находились ещё в номере, Володя вдруг раздражённо спросил: «А у вас деньги есть?» — мы-то рассчитывали на поездку вдвоём, и Володя решил, что девушки приехали пустые. Деньги же были только у инициаторши экспромта Гали; у бедной Ани, как всегда, не было ни гроша.

— Конечно, есть, — ответила Галя и небрежным жестом вытряхнула из сумки всё её содержимое. Володя тут же принялся деловито, как-то «по-скобарски» пересчитывать купюры, которых с лихвой хватало и на обратные билеты, и на проживание в гостинице. Только тогда Володя успокоился и даже повеселел. Я же сидел с опущенными глазами — впервые мне было за него неудобно. Что же, из песни слова не выкинешь. Разве не к самому себе обращены эти строки?

Поехали брать обратные билеты в центр города, в кассу «Аэрофлота». Терпеливо отстояв очередь, Володя молча протянул кассирше своё удостоверение и попросил четыре билета. Кассирша, русская, молниеносно извлекла из брони искомые билеты. Помахав ими перед Аниным лицом, Володя назидательно изрёк:

— Теперь ты понимаешь, почему приятно быть знаменитым?

Именно таким был его наглядный ответ на язвительный вопрос Ани, заданный ему в Москве.

Притихшие и погрустневшие, сидели мы в салоне самолёта. Вот он вырулил на взлётную полосу, заревели турбины, и под покачивающимися крыльями поплыл Таллин, промелькнули башенки, красные черепички Средневековья. Прощай, Таллин, промелькнут годы, и где-то там, на уютных твоих брусчатках, сохранятся следы наших шагов, отзвуки нашей молодости. А под крыло нашего «ИЛа» уже подплывали прямоугольники подмосковных дач и рощиц. Всё возвращалось на круги своя...

Москва с ходу втянула нас в водоворот событий. Решившись наконец-то поквитаться с мужем за годы унижений, Галя в порыве самоутверждения поделилась с ним последними новостями с фронта внесемейной жизни. Услышав фамилию соперника, взбешенный супруг потребовал немедленного развода.

А в это время Высоцкий был занят сбором необходимых документов: для регистрации брака с Влади требовалось официальное оформление развода с Люсей. Вот и получилось, что по нотариальным конторам и прочим присутственным местам Володя и Галя мотались вместе. Они продолжали встречаться — конечно, с перерывами — еще несколько лет. Уже в 1973 году Володя мне рассказывал, как Галя приезжала к нему на Матвеевскую.

— Представляешь, звонит мне пьяная вдрызг из какой-то киношной компании: хочу, мол, тебя видеть. И приехала. Хорошо ещё, Марины в Москве не было. Да, пошла, видно, девочка по рукам. Сломала её жизнь.

...Да, жизнь всё продолжала нарезать круги, возводя свою безжалостную кладку из прозрачных кирпичиков секунд, дней, месяцев. Атакованная судьбой Галя — этот стойкий оловянный солдатик — захлебнулась в мутных волнах житейского моря.

Её же «лесная» подруга Аня, побалансировав на ненадёжном канате романтических порывов, благополучно выправила крен. Потеряв (в моём лице) веру в человечество, она тут же спланировала на грешную землю, выйдя замуж за нормального советского инженера. После его — напоминающей самоубийство — гибели Ане удалось таки выиграть вожделенный «миллион в лотерею». Став женой очень известного и баснословно богатого азербайджанского писателя, она плотно прикрыла за собой дверь в проклятое прошлое...

Глава тринадцатая.

САНАТОРИЙ. КАЛИФЫ НА ЧАС

Первого декабря 1970 года — переломный момент в судьбе Высоцкого. Думалось, что, заключив брачный союз с Мариной Влади, он наконец-то сумеет совладать с поселившимся в нем демоном саморазрушения. Ему ведь и раньше удавались относительно долгие периоды «сухого закона». Он не пил вот уже несколько месяцев, и всем нам хотелось верить, что наступающий 1971 год станет для него и впрямь началом «новой жизни». Поэтому их свадебное путешествие — поездка в Тбилиси — приобретало в наших глазах символический смысл. Оно виделось событием, знаменующим эту надежду.

В новогоднюю ночь Володя позвонил нам с Мишель и поздравил с наступающим. Он был трезв, грустен, серьёзен. Меня ещё удивило, что он не поехал в какую-нибудь компанию, а остался дома с Ниной Максимовной.

В первых числах января прилетела Марина, и почти сразу последовал непредсказуемый, по её же словам, «катастрофический срыв» Володи. Не выдержав, она собрала вещи и, тайком от Володи, переехала к актрисе Ирине Мирошниченко, бывшей тогда замужем за драматургом Шатровым.

Это Володино «пике» грозило отменить второй акт медового месяца — отдых в сочинском санатории Совета Министров СССР. Путевки в эту элитную здравницу пробил уже упоминавшийся зам. министра Константин Трофимов — давний поклонник Володи и Марины.

Володино предложение лететь с ним в Сочи Марина сочла форменным издевательством и категорически отвергла такую форму «отдыха».

— Поеду, когда придёшь в норму. Всё в твоих руках.

Но Володю уже несло. Оставалось только вместо заартачившейся жены подыскать менее привередливого компаньона. Выбор пал на меня.

Застигнутый врасплох, я растерялся. Ни физически, ни морально я не был готов к этой поездке. Даже ради Володи оставить Аню одну, среди пациенток психушки имени Ганнушкина, казалось мне настоящим предательством. Она попала туда после очередного выяснения наших отношений, когда, утомившись безупречной логикой моих нравоучений, наглоталась таблеток, не смущаясь присутствием сына-малолетки. Спасённая случайно заглянувшей знакомой, она была немедленно водворена в буйное отделение знаменитой психлечебницы. Тогда это было в порядке вещей.

Я поделился своими сомнениями с Володей.

— Володя, ты же понимаешь, что теперь у меня не только ты, но и Аня. Ну как я её оставлю в таком состоянии?

Но он продолжал настаивать:

— Ну, тебе тоже надо немного отойти от всего этого. Мы же не гулять едем. А к Ане заскочим перед отлётом. Я сам всё ей объясню. Ей ведь приятно будет видеть меня?

Последняя фраза слегка меня задела. Зная его отношение к Ане, я давно ждал, что он из простого

дружеского сочувствия захочет проведать её. Теперь же этот визит выглядел скорее вызванной обстоятельствами формальностью, нежели непосредственным движением души.

Как бы то ни было, отказать Володе я не мог никак. Да и можно ли было требовать от него безупречного поведения в таком состоянии?

— Но сперва заедем к Марине, попробую все же уломать её, — продолжал он.

Время поджимало, и, взяв билеты на дневной рейс, мы помчались на Ленинградский проспект, где уже несколько дней скрывалась насмерть разобиженная Марина. Она была предупреждена о нашем приезде: каким-то образом разузнав, где она находится, Володя успел позвонить и поговорить с ней.

Едва переступив порог просторной шатровской квартиры, мы тут же угодили в западню. Марина была не одна. Вместе с ней нас дожидалась поэтесса Юнна Мориц с врачом-наркологом. Инициировал же эту акцию некий субъект, имевший какое-то отношение к Общественному худсовету при театре на Таганке. Однажды мне уже довелось наблюдать за ним, и я не строил иллюзий относительно побудительных мотивов его целеустремлённости. Оказавшись, по прихоти обстоятельств, мимолётно приобщёнными к сонму знаменитостей, люди этого сорта тут же переполняются сознанием своей значимости и незаменимости.

Не дав мне опомниться, меня почти сразу же изолировали от Володи. Пока он, уединившись с Мариной, пытался уговорить её, я был выведен из квартиры, усажен в машину «доброхота» и подвергнут массированной обработке. Наверняка всё было спланировано заранее. Меня приглашали ни больше ни меньше примкнуть к заговору с целью немедленной госпитализации Высоцкого. Конечно же, насильственной. Я возмутился.

— Без его согласия это невозможно! Он сам должен решиться. После возвращения — другое дело.

Тогда Мориц, якобы с целью уточнения времени вылета, попросила меня показать авиабилеты. Не ожидая подвоха, я простодушно протянул их ей, но обратно уже не получил. Этот трюк был проделан с такой ошеломляющей виртуозностью, с какой привокзальные цыганки облапошивают доверчивых клиенток.

Впрочем, её заинтересованность вызывала чувство уважения и даже удивления. У меня не было ни малейших оснований подвергать сомнению искреннее желание Мориц помочь собрату по творчеству и беде, собрату, с которым она даже не была знакома, но которого воспринимала как «явление духа» — так, кажется, она выразилась. Уж ею-то точно не двигало тщеславие — имя её в ту пору было на слуху у всех. От знакомой медсестры я знал также, какого накала стихи читала она медперсоналу больницы, где проходила курс лечения. Исцелил её как раз тот самый врач, который нынче намеревался помочь и Высоцкому.

Удивляло другое. Едва я отказался участвовать в сговоре, с Юнной Мориц произошла разительная метаморфоза. Элитарная поэтесса заговорила вдруг на жаргоне советской мещанки.

— Ну, конечно, ведь приятно будет потом всем рассказывать: «Я с самим Высоцким пил».

Ну как ещё может относиться лицо «кавказской национальности» к Высоцкому? Разумеется, как потребитель. Её реакция меня не удивила. За год до этого Володя пригласил меня на премьеру «Ромео и Джульетты» в театр на Малой Бронной. На другой день вся бомондная Москва уже шепталась: «Высоцкого видели вчера в театре с каким-то кавказским бандитом».

Судя по некоторым репликам Юнны, было нетрудно догадаться, что Марина успела ей вскользь рассказать о роде моих занятий. Ведь, чередуя политику кнута и пряника, минутой раньше она предлагала мне купить (!) у неё экземпляр «Доктора Живаго» на французском (!). Ответив, что предпочитаю подлинник, я с недоумением глянул на высокомерный профиль «наследницы» высоких заветов русской

поэзии.

Никогда не замечал я, кстати, ни малейших намёков на национальное или иное чванство у Марины Влади, дочери русских интеллигентов-эмигрантов.

Другое воспитание. Другая среда обитания.

Здесь же... Этот уездный напор, эта неразборчивость в средствах, приправленная демагогией, создавали странный симбиоз совписовского партсобрания и привокзальной цыганщины. Казалось, Юнна Мориц подзабыла максиму юного Маркса о хороших целях и неправых средствах.

Стало обидно не столько за себя, сколько за состояние современной русской культуры. Я же только мог лишний раз убедиться в жуткой точности клюевского диагноза пост октябрьской России:

Когда мы возвратились в квартиру, выяснилось, что уломать жену Володе так и не удалось. Ехать с *таким* мужем она решительно отказывалась. Выглядела она очень подавленной, но разговаривала с Володей, не повышая голоса. В присутствии посторонних она никогда не позволяла себе распускаться. Я попытался объяснить Марине, что, в случае её отказа, мне волей-неволей придётся улететь с Володей.

— Ты же знаешь, он всё равно уедет. Назло всем. Не оставлять же мне его одного?

Но тут кажущаяся неуязвимость моих аргументов нарвалась на прокурорский окрик Юнны Мориц:

— Учтите, вы будете отвечать по всей строгости советских законов!

Ещё один удар ниже пояса. Растерявшись, я попросил Марину как-то отреагировать.

Марина почувствовала перебор, вмешалась, устало махнув рукой:

— Да оставь ты его! Плевать он хотел на эти законы... Пусть уезжают!

— А как? Она же конфисковала наши билеты, — тут же наябедничал я, предвкушая благоприятную развязку.

Пойти на открытую конфронтацию с Мариной поэтесса не решилась, и через минуту злополучные билеты вновь перекочевали в мой карман. Во время этой перепалки Володя находился в соседней комнате. Его беседа с врачом-наркологом завершилась подозрительно быстро. Этого следовало ожидать. Снисходительно-опекунский тон, взятый медицинским светилом, не мог не оттолкнуть Высоцкого.

(В поведении модных врачей, равно как и адвокатов, я заметил странную закономерность. Чувство превосходства не покидает их ни на минуту, даже в общении с великими. Для них они прежде всего пациенты. Поразительное самообольщение: не видеть в знакомстве с живым Высоцким милости судьбы, а считать, напротив, самого себя её посланником.)

В больницу к Ане мы уже не успевали, пришлось двинуться прямиком во Внуково. В такси Володя, как бы сам удивляясь, поведал мне фрагмент своего разговора с Мариной:

— А знаешь, Марина всё же неплохо к тебе относится. Она сказала: «Давид — это брат твой, враг твой».

Был такой популярный роман «прогрессивного» американского писателя Митчела Уилсона: «Брат мой, враг мой». Этот двусмысленный комплимент поверг меня в уныние. Что это: слепота или ревность? Ведь и Татьяна упрекала меня после поездки в Минск: «Ты не должен был соглашаться с ним ехать». Странно было это слышать от любящих Володю женщин. Разве женская любовь зорче материнского инстинкта? Почему же Нина Максимовна ни разу не упрекнула меня в том, что я остаюсь рядом с её сыном,

когда его увлекает демон скитальчества? Кроме слов благодарности, я от неё никогда ничего не слышал. Кстати, об отношении ко мне Нины Максимовны я впервые узнал от самого Володи, заметно удивлённого её словами: «Может быть, он и плохой муж, зато хороший друг. К тебе он относится бескорыстно». Она-то прекрасно понимала, что поездки с пьющим Володей сулят не весёлые пирушки, а бессонные ночи. Я и сегодня с признательностью перечитываю дарственную надпись Нины Максимовны на экземпляре сборника «Живая жизнь»: «Давиду в память о нашем Володе с глубокой благодарностью за доброе отношение к его творчеству и личности...»

Не ожидая никакого подвоха, мы протянули билеты стоявшей перед трапом юной стюардессе. Прочитав наши фамилии, она с любопытством посмотрела на Володю и, чуть смешавшись, попросила нас пройти к начальнику смены аэропорта.

— Вас просили туда зайти. Кажется, что-то насчёт билетов.

— Но мы же опоздаем на рейс!

— Не беспокойтесь. Это на минутку. Не теряйте времени!

Начальником смены оказался симпатичный мужчина средних лет. Явно обескураженный, он не стал темнить и, не скрывая сочувствия, выложил нам всю горькую правду:

— Тут такое дело. Звонили из психлечебницы и просили задержать вас (красноречивый взгляд на Володю) до прибытия скорой помощи. Она уже в пути. Говорят, что вы с помощью товарища (многозначительный взгляд на меня) сбежали из больницы.

Мы, не сговариваясь, дружно рванули на груди дублёнки, словно кронштадтские братишки за минуту до расстрела:

— А где же наши больничные пижамы? Да и кто бы нам позволил одеться? И разве мы похожи на психов?

Начальник, хоть и казался сражённым вескостью наших аргументов, продолжал колебаться:

— Да, действительно. Но я не могу не реагировать на этот звонок. А вы что, наверное, отказались от курса лечения?

Тут Володя, дорожа временем, решил пойти с козырей:

— Да мы и едем лечиться, только не в психушку, а в санаторий Совета Министров. Директор — мой друг. Через неделю мы вернёмся, и я вам лично обещаю дать бесплатный концерт для ваших сотрудников. Давайте ваш телефон!

Полный успех. Перевербованный начальник только махнул рукой:

— А, чёрт с ними. Скажу, что не успели вас перехватить. Счастливого пути!

Эскортируемые дружелюбной дежурной, мы устремились на лётное поле к уже убиравшему трап самолёту.

Сквозь призывный рёв двигателей нам почудился заунывный вой мчащейся наперехват скорой помощи. Едва переводя дыхание, взмокшие от треволнений, кляня Юнну Мориц, мы ворвались в салон и обессиленно плюхнулись в кресла.

Благодаря воспоминаниям Виктора Турова имеется уникальная возможность ознакомиться с рассказом самого Высоцкого о поездке в Сочи. При этом надо иметь в виду, что для Высоцкого-артиста главным было впечатлить слушателя (а в данном случае близкого друга) остротой самой фабулы рассказа, ее сюжетной канвой. Отсюда некоторые расхождения в наших версиях. Впрочем, читатель сумеет сам

сделать нужные выводы.

Итак, Виктор Туров подтверждает, что Высоцкий действительно собрался в Сочи для поправки здоровья: «Так вот, Володя, услышав, что я еду отдыхать, проговорил задумчиво: «Да, мне тоже следовало бы съездить куда-нибудь на отдых. Хорошо бы в санаторий подлечиться, а затем помириться с Мариной...»

А далее следует уже рассказ самого Высоцкого в изложении Турова: «Володя, получивший какой-то гонорар, отдаёт его целиком Карапетяну, с которым решил ехать на юг, и говорит:

— Знаешь, Давид, у меня к тебе просьба. Если я даже буду просить, требовать денег на выпивку — не давай! Если ты мне друг, ты мою просьбу уважишь.

На том и порешили. Прилетают они в Сочи. Поселяются в апартаментах люкс и «приступают» к отдыху. Море, чудесный воздух, тепло. Отдыхай да радуйся...

— И конечно, Высоцкому, как человеку активному, живому, деятельному, становится скучно? — спрашивает у Турова интервьюер.

— Именно.

На третий день Высоцкий бочком подошел к Карапетяну:

— Всё это хорошо, но бутылочка коньячка нам бы не помешала...

Тот — ни в какую. Не слышит.

Володя походил-походил и опять:

— Ну давай, что уж там!

Давид:

— Нет, и точка! Договор дороже денег.

Высоцкий в третий раз штурмует крепость — и опять неудача. Тогда он не на шутку разгневался, хлопнул дверью и исчез.

Само собой разумеется, что в элитно-престижном санатории Володю узнавал каждый второй, ибо его популярность была очевидной. И не требовалось ему говорить: «Я — Высоцкий», — чтобы любая компания была к его услугам. И происходило то, о чём потом эти «друзья» будут всем говорить: «Мы были с самим Володей Высоцким».

Так и произошло. Через некоторое время Володя приходит в номер «хороший», да не один, а с толпой новых приятелей. И началось такое! Так продолжалось один день, другой, третий.

А на четвёртый день администрация санатория, не выдержав, навела справки и сказала Володе:

— Если не хотите неприятностей (а в санатории отдыхали высокопоставленные чиновники), — тихонько заканчивайте этот бедлам. Иначе будут приняты меры.

И Володя ничего больше не придумывает, кроме того, что нужно мотать в Одессу, потому что «в Одессу надо позарез»...»

А вот как запомнилась эта поездка мне.

Хотя Володя действительно отдал мне всю имеющуюся наличность, никаких обещаний не давать ему денег на выпивку он у меня не просил. Но, конечно, подразумевалось, что на сей раз я не буду так покладист, как обычно.

Когда мы из Адлера добирались на такси до санатория, Володя попросил водителя остановиться у

первого попавшегося кафе, объяснив мне, что «завязать» вот так сразу будет ему не по силам. Я вошел в его положение, но тут же взял слово, что больше изводить меня по этому поводу он не будет. И, приняв 150 граммов коньяку, он безропотно дал себя увезти.

Размеры и интерьер супружеского номера люкс привели нас в замешательство. Широченные кровати, золочёные бра, хрустальные вазы с фруктами — одним словом, классический набор номенклатурного комильфо. Все ж таки готовились принимать вице-президента общества СССР— Франция, видного члена братской компартии. Володина импровизация с нелепой заменой несомненной кинозвезды на сомнительного дружка не показалась остроумной ни главному врачу, ни обслуживающему персоналу, ни отдыхающим. Им, застигнутым врасплох, оставалось лишь делать хорошую мину при плохой игре.

На фоне вальяжных сановников и их раскормленных жён мы выглядели белыми воронами. Конечно же, Володю узнавали (особенно женщины), но, узрев рядом с ним вместо роскошной колдуньи отощалого субъекта кавказского облика, разочарованно фыркали. Рейтинг Высоцкого среди партийного бомонда стремительно падал. Да и могло ли быть иначе? Ведь Высоцкий и санаторий — «две вещи несовместные».

Наспех поужинав, поделившись первыми впечатлениями, мы вернулись в номер, слабо представляя себе, как убить время до отхода ко сну. Отрадной особенностью этого санатория было то, что там запрещалось, да и негде было, пить. Это, конечно, сильно облегчало мою задачу — суметь устоять перед натиском Володи. После выпитого коньяка он был ещё на взводе и буквально изнывал от бездействия. Увидев телефон, он кинулся к нему и стал заказывать Москву, тщетно пытаясь дозвониться до подмосковного дома отдыха в Рузе, где во время зимних каникул восстанавливались «таганцы». Он искал там Татьяну. Да, ещё утром он уговаривал полететь с ним Марину, а вечером ему нужна была уже Таня.

Метания! Ссоры с Мариной и попытки примирения с Таней. И наоборот. Как часто он слышит от Тани: «Ты женился на своей Марине, вот и иди к ней!»

В тот вечер поговорить с Таней Володе так и не удалось. Он был уверен, что та специально не подходит к телефону, наверняка просит не подзывать её, если позвонит Высоцкий. Володя рвёт и мечет. Ситуация обостряется. Вот сейчас-то он и потребует выпивки. Чтобы как-то отвлечь его, спрашиваю:

— А что тебя больше всего привлекает в Тане?

Он плавно чертит в воздухе руками женский силуэт:

— Ну что? Фигурка, весь облик, вообще...

Долго мы еще не могли уснуть, тщетно пытаясь разрешить мучительную загадку извечной войны сердец. Уже несколько лет сердце Володи разрывается между Францией и Россией, явно тяготея в настоящий момент к последней. Я же терзаюсь угрызениями проклюнувшейся наконец совести по отношению к оставленной на произвол судьбы Ане. Долго еще не смолкает ночная перекличка двух тихих имён: Таня, Аня.

Весь следующий день Володя держался молодцом, даже что-то поел в огромной санаторской столовой. И только ближе к вечеру я почувствовал первые симптомы назревающего бунта. Чем быстрее надвигались сумерки, тем пасмурнее становился Володя. Предчувствуя беду, готовлюсь к круговой обороне, хоть и не представляю себе, как смогу устоять перед самым опасным оружием Высоцкого — его обаянием.

Он завёл речь издалека:

— Хорошо бы поехать в город. Ну что здесь торчать, тоска ведь смертная.

Я полностью разделял его точку зрения, но признаваться в этом поостерёгся:

— Володя, я всё понимаю, но надо продержаться ещё один день, вернее, ночь. Завтра будет уже легче. Давай лучше спустимся к морю.

Но Володя про себя уже всё решил. Ему требовалось движение, смена впечатлений. И, разумеется, коньяк. Когда он, помаявшись, снова подступил ко мне, я весьма кстати вспомнил эпизод, имевший место в Ереване:

— Ты же сам упрекал меня тогда, что я недостаточно твёрд с тобой, помнишь, ещё приводил в пример Артура Макарова, который бил тебя в живот, когда ты ломался. Я никуда не поеду.

— Тогда дай денег!

— Кончились, — заливаю я без зазрения совести.

— А куда они делись? — резонно любопытствует Володя.

— А такси из Адлера? А коньяк в баре? Осталась какая-то мелочь на чёрный день.

Натолкнувшись на неожиданное сопротивление, Володя закипает:

— Так ты не едешь?

— Нет!

— Ну и не надо!

В сердцах хлопнув дверью опостылевшего люкса, Высоцкий исчез. Был девятый час вечера. Прошло полчаса, час, полтора. Я забеспокоился не на шутку. Я ведь был абсолютно уверен, что он сразу вернётся. Ну кто его довезёт бесплатно до города? Это же забалованный курорт курортов, где правят бал не эмоции, а деньги. Но я упустил из виду, что Володю это обстоятельство могло только подзадорить — чем труднее, тем интереснее.

Вернулся он в первом часу ночи. Сильно нетрезвый. И не один, а с довеском в виде шумно требующего оплаты таксиста.

Чтобы избежать позорного разоблачения, те Володины 15 рублей я держал в заначке. Ночной визит таксиста спутал все мои планы. Ведь я собирался имитировать безденежье перед Володей, а не перед этим горлопаном. И я пошел на хитрость. Чтобы убедить Володю, что денег нет на самом деле, я раскрыл перед ним бумажник и «озадаченно» обратился к водителю:

— Рублей у нас нет. Хочешь доллары? — и небрежно протянул ему две однодолларовые купюры. Опешивший водитель не осмелился отвергнуть номенклатурную прихоть жирующих барчат. Устрашающие размеры нашего люкса недвусмысленно намекали на легитимность наших валютных активов.

Этот эпизод с таксистом Володе почему-то хорошо запомнился. Он часто вспоминал его с доброй улыбкой: «А помнишь, как ты долларами расплачивался?» Высоцкий ценил всё нестандартное.

Эта последняя, полная криков и стонов, ночь, видимо, переполнила чашу терпения наших достопочтенных соседей по этажу. Они никак не могли взять в толк, на каком основании рядом с ними поселили каких-то распоясавшихся буянов. И почему в роскошном люксе? «Незаконное» проживание одиозного Высоцкого именно в этих хоромах ещё больше распаляло их законное негодование.

Перепуганная дирекция режимного санатория оказалась в затруднительном положении. Грозовые чернильные тучи сгустились и над протежировавшим нам главврачом. История с нашим «отдыхом», будучи прямой уликой против него, могла стать началом конца его благополучной карьеры. Должно быть, желая объясниться, он пригласил нас к себе домой. Сильно смущаясь, главврач поведал нам с грустинкой в голосе о двусмысленной ситуации, в коей он оказался по милости Володи. Его симпатичная, приветливая

жена растерянно наблюдала, как новоиспечённый супруг «той самой» Марины Влади прямо из горлышка опорожняет сувенирные бутылочки марочного коньяка, которые ему, за неимением иных, выставил сердобольный хозяин. Процедура ликвидации домашнего мини-бара не заняла много времени.

Заверив грустящего главврача, что полностью входим в его положение, мы обещали в тот же вечер переехать в городскую гостиницу.

Устроиться в любой гостинице зимнего Сочи не представляло никакого труда. Были бы деньги. А они у нас, как убедился минувшей ночью Володя, кончились. Поэтому ещё утром он позвонил Борису Хмельницкому, слывшему в ту пору самым богатеньким из актёров и самым завидным из женихов «Таганки».

Но Боря объяснил, что деньги у него лежат на каком-то особом счете и снять их немедленно не так-то просто.

— Ну придумай что-нибудь и срочно вышли 200 рублей телеграфом, — настойчиво попросил Володя.

Деньги пришли действительно очень быстро, и мы сразу же поехали устраиваться в гостиницу. В холле интуристовского отеля не было ни души. Быстро заполнив бланки, я протянул их вместе с документами дежурной администраторше — белёсой, размытой девице. Увидев вместо паспорта актёрское удостоверение Высоцкого, она заартачилась:

— Без паспорта я вас поселить не могу.

Меня же она соглашалась оформить, но предупредила, что «гости могут находиться в номере только до 11 часов вечера».

Её прозрачный намёк наводил на мысль, что дело здесь не в одном соблюдении инструкций. Чувствовалась её подспудная антипатия к Высоцкому, осложнённая пышным букетом провинциальных комплексов: мол, «это ты там у себя Высоцкий, а здесь главная — я». Позже Володя согласился со мной: «Завтра всем будет рассказывать: я самого Высоцкого не поселила».

Все эти гостиничные администраторши и их подручные — дежурные по этажам всегда казались мне одним из самых омерзительных порождений советской эпохи. Наделённые неограниченными полномочиями вохровки, испытывающие особое наслаждение при унижении личности. Не они ли вдохновили Аллу Тер-Акопян на эти строчки?

Обычно, когда Володе в чём-то отказывали, он никогда не принимался упрашивать. Сколько раз был я тому свидетелем, особенно в ресторанах. А такое случалось даже в Доме кино или в ВТО. «Ничего, поедим у меня», — говорил он, резко направляясь к выходу. «Нет и не надо!» — вот его любимое выражение в подобных случаях.

Но тут, впервые на моей памяти, Володя изменил своим правилам. Наклонившись к стойке, он вкрадчиво проворковал:

— А я для вас попою у нас в номере.

— Я не имею права оформить вас без наличия паспорта, — замороженно забубнила девица.

Тут меня прорвало:

— Да вы понимаете, кому отказываете? Вы же потом всю жизнь жалеть будете! И почему это нельзя поселить нас в двухместный на мой паспорт?

— Потому что есть инструкции, которые я не имею права нарушать.

Пришлось звонить главврачу. Он подъехал очень быстро, но его приватная беседа с упёртой барышней ни к чему не привела. Тогда наш покровитель, не видя другого выхода, скрепя сердце набрал номер телефона главного милицейского начальника города Сочи:

— Я звоню из гостиницы. Рядом со мной находится Высоцкий. Ты его знаешь, я тебе ещё его записи давал. Да, да, тот самый. Так вот, он приехал с другом в эту гостиницу, а его не оформляют без паспорта. Как-то неудобно получается.

Начальник тут же попросил передать трубку администраторше и в доступной форме, видимо, объяснил ей, что закон в нашей стране писан отнюдь не для всех...

В этом отеле мы провели пару тоскливых дней и столько же бессонных ночей. Ни о каком отдыхе речи уже не было. Присланные Хмельницким деньги Володя на этот раз предусмотрительно оставил у себя. Лишившись капиталов, я в одночасье превратился из полномочного кредитора в невольного соучастника саморазрушения Володи. Не сумев перебороть себя с ходу, он теперь не мог и не хотел вырваться из пагубного плена рокового недуга.

Вспомнилось, как однажды у нас дома Марина беззлобно подтрунивала над ним: «Признайся, ты же всех нас заложишь, если попадёшь в плен. Стоит только во время допроса выставить тебе бутылку водки». Непьющий тогда Володя был, конечно, уязвлен, но промолчал.

Надо было спешно возвращаться в Москву и класть Володю в больницу, но как назло деньги на этот раз упорно не желали с ним разлучаться. Помог случай.

Как-то раз Володя повез меня в ресторан «Кавказский аул», в котором он, по его словам, уже успел побывать с Мариной. Это был довольно дорогой и весьма модный в Сочи ресторан под открытым небом. Увидев Володю, метрдотель с официантами мигом его огуртовали. Его прекрасно помнили и приняли как самого желанного гостя. Впрочем, конкурировать там с ним было некому. Мёртвый сезон. Не дожидаясь заказа, ликующие официанты тут же завалили наш стол всякой всячиной, ринулись готовить шашлыки. При виде всей этой ненаглядной кавказской снеди у меня тут же потекли слюни. По просьбе Володи принесли армянского коньяка. Наполнив до краев вместительный фужер, он, морщась, опорожнил его, даже не посмотрев в мою сторону, и сразу же поднялся из-за стола. Я не успел даже положить на свою тарелку кусочек сациви, на который только-только разлакомился. Бросив, не считая, на стол охапку денег, Володя направился мимо оцепеневших официантов к выходу.

Теперь можно было возвращаться в Москву...

Глава четырнадцатая.

ПУТЕМ ЛЮБВИ. МАРИНА ВЛАДИ

Первая моя очная встреча с Мариной Влади состоялась в мае 1970 года. Нина Максимовна попросила меня заехать на квартиру Севы Абдулова, забрать оттуда Марину и отвезти в больницу к Володе. В дороге мы разговорились, и я смог непосредственно составить впечатление о любимице нашего поколения. Меня приятно удивила её простота и прямодушие. Что же касается внешности, то трудно было признать в этой элегантной красавице вчерашнюю лесную девочку из фильма «Колдунья».

Впервые я увидел её на Московском кинофестивале 1965 года. Вместе с мужем-авиатором Жан-Клодом Бруйе она сидела в небольшой компании за соседним столиком фестивального пресс-бара. Казалась непринуждённой и беззаботной. На ней было то самое, из Володиной песни, скромное ситцевое «серое платьице с узорами блеклыми».

Мог ли я тогда предвидеть предстоящий манёвр судьбы: ведь не пройдет и пяти лет, как наши пути скрестятся и я повезу её, опечаленную и растерянную, в казённый неуют больничной палаты на свидание с любимым?

Из её слов стало ясно: она окончательно убедилась, что связала свою судьбу с больным человеком и лёгкой жизни у неё с ним не будет. Понять состояние Марины было нетрудно: трое сыновей, пожилая мать, карьера актрисы, требующая постоянной мобилизованности. Но чувствовалось, что она уже опалена, опоена Высоцким и обречена на любовь.

Когда пошли первые слухи об их романе, многие (включая и меня) грешным делом решили, что тут что-то не так. Ну зачем преуспевающей звезде советский артист с сомнительной репутацией, который не то что брачного контракта — приемлемой жилплощади не в состоянии предложить? Поэтому стали считать Влади вчерашним днем французского кино. Одна Мишель бурно возмущалась нашим дремучим невежеством: «Идиоты, говорят же вам, что она звезда. Спросите любого француза: все её знают. Ни черта, кроме «Правды», не читаете, а имеете наглость со мной спорить».

Что западная красавица, тем более кинозвезда, способна вот так, за здорово живёшь, полюбить нашего соотечественника, пусть даже сверхталантливого, нам и в голову не приходило. Видимо, срабатывал комплекс национальной неполноценности.

Весной 1969 года я был окончательно посрамлен, услышав от популярнейшей итальянской киноактрисы Клаудии Кардинале вопрос, адресованный непосредственно мне:

— Скажи-ка, а что это за роман у Марины Влади с каким-то вашим актером? Это правда?

Вот вам и «вышедшая в тираж» колдунья! Зардевшись от гордости, я поспешил подтвердить и дополнить её информацию:

— Правда! И он не только актёр, но и знаменитый бард! И мой друг!

Тут-то и выяснилось, что все мы, апологеты Высоцкого, попросту не оценили другой его поразительный дар — умение влюблять в себя всех приглянувшихся ему женщин.

Сама Марина так рассказывала нам с Мишель о своих первых впечатлениях о Высоцком: «Чтобы снова увидеть меня, Володя приехал к моему приятелю Максу Леону — московскому корреспонденту

«Юманите». Во-первых, Володя чисто внешне был вовсе не в моём вкусе. Мне нравятся мужчины латинского типа, а Володя — небольшого роста, ничего выдающегося, кроме глаз. Он тут же подсел ко мне, стал уверять, что давно меня любит. Больше всего меня поразило, что за эти каких-нибудь 10-15 минут любовных излияний он незаметно успел прикончить целую бутылку коньяка. И не опьянеть!

Я тогда ещё многого не понимала, только удивлялась; думала, может, в России они все так пьют. Когда я попыталась пройти в туалетную комнату, он настиг меня в коридоре, схватил бесцеремонно за руку и стал довольно неуклюже обнимать. Меня это, конечно, шокировало, ведь такой стиль ухаживания у нас не принят. Я была уже предупреждена, что Володя сегодня будет петь. В квартире царил ажиотаж. Когда гости стали просить Володю попеть, он взял гитару, посмотрел мне прямо в глаза и произнёс: «Сейчас я буду петь для тебя». Едва я услышала этот голос, вслушалась в смысл его песен, напомнивших мне о моих русских корнях, как что-то во мне всколыхнулось, переворот какой-то внутри произошёл. Я забыла обо всём на свете. Видела и слышала только его, чудесным образом моментально преобразившегося из простоватого парня в незаурядного творца. Ещё через две-три встречи я поняла, что люблю его. Никогда в жизни не встречала я человека с таким обаянием...»

Очень часто успех у женщин не предполагал ни малейших усилий со стороны Высоцкого. Сам я был абсолютно убеждён, что все девушки должны быть от него без ума, особенно когда он берётся за гитару. Если даже у нас, здоровых мужиков, начинали колотиться сердца, едва раздавался его голос, то что должны были переживать несчастные дамы?

А вот что! Известная в свое время манекенщица N., мелькнувшая даже как-то на экране в эпизодической роли, открыто признавалась в кругу друзей, что когда она смотрит на поющего Высоцкого, видит его вздувшиеся на шее жилы, как тут же непроизвольно испытывает оргазм. Впрочем, упиваться мужественностью Володи ей доводилось и непосредственно на ложе любви.

А ведь Володя никогда не обольщался относительно своей внешности, хотя мало кто об этом знает. Другой манекенщице, Гале, он как-то признался: «Ведь я же знаю, что я урод». Так что его многочисленные интрижки являлись отчасти и попыткой самоутверждения. А в последние годы все эти мимолётные амуры были уже просто, как справедливо считает Марина, «отчаянным цеплянием за жизнь». Всё это усугублялось ещё и азартностью его натуры, детским желанием ни в чём никому не уступать. А статус звезды буквально обрекал Володю на вечное амплуа дон жуана. Ведь «положение обязывает».

Даже в годы юности магнетизм его личности завораживал девичьи души. Очевидцы в один голос утверждают, что любая вечеринка с её негласными правилами здоровой мужской конкуренции имела неизменный финал — самая красивая девушка уходила с Высоцким.

А стайки его поклонниц, дежуривших у «Таганки»? А бесконечные послания с ворохом комплиментов? Связывала всех их любовь к Высоцкому, сплачивала же — невзрачная внешность. Последнее обстоятельство весьма удручало Володю: «Надо же, ну хоть бы одна красивая попалась!» Однажды он получил от одной фанатки восторженное письмо, в котором та рекомендовала своему кумиру воплотить на сцене образ Чернышевского. А начиналось оно так: «Уважаемый Владимир, обращаясь к Вам, я, конечно, понимаю, что для Вас я как туманность Андромеды».

Так и повелось с тех пор называть не только поклонниц, но и всех подряд незнакомок этим возвышенным именем: «Глянь-ка, какая шикарная туманность Андромеды!»

Самоотверженная любовь Марины Влади к Высоцкому — запоздалый, но сокрушительный реванш романтизма за свое поруганное прошлое, звонкая оплеуха Зигмунду Фрейду и его приспешникам. Эта любовь не вписывается в их безбожную концепцию «принципа наслаждения» и «уклонения от страданий»

как лейтмотива человеческого существования.

Если бы даже с математической точностью оказалось возможным вычислить процент страданий и наслаждений за двенадцать лет совместной жизни Влади и Высоцкого, то соотношение оказалось бы наверняка не в пользу последних.

Сама Марина недоумевала: «Странная закономерность! Чем больше они нас мучают, тем сильнее мы их любим». Обращалась она при этом к своей согражданке и подруге по несчастью Мишель, отнюдь не понаслышке знакомой с этой печальной формулой!

Да, тысячу раз прав был Евгений Баратынский, в возрасте 20 лет сказавший:

Володя уже несколько дней находился в больнице, когда мне позвонила Марина и попросила срочно приехать к Нине Максимовне «для разговора».

Оказалось, что утром Марина заезжала в больницу. Зайдя в палату, она увидела лежащего в кровати Володю. Полу прикрыв глаза, он тихо постанывал, а когда Марина присела к его изголовью, вымолвил только одно слово: «Махно»,

Давненько не получал я такой взбучки. Марина, с присущей ей прямотой, буквально рвала и метала:

— Когда ты, наконец, повзрослеешь? Да мы ещё совсем девчонками бегали на все эти левацкие демонстрации. Давно уже этим всем переболели. Ты что, не понимаешь, в каком он положении? Как к нему относятся власти? А ты его своими дурацкими идеями толкаешь на конфронтацию Только Махно ему не хватало!

— Марина, — робко возражал я, — но при чем здесь политика? Я просто не хочу, чтобы Володя стал официальной знаменитостью. На него же вся страна смотрит. А Махно — просто символ сопротивления, не более Как кстати, и Гамлет.

— Знаешь, если тебе так не нравится эта жизнь и на страна, то уезжай на необитаемый остров и живи там. Тем более что благодаря Мишель такая возможность у тебя есть. А Володю не трогай!

Обескураженный её напором, я пролепетал нечто совсем уже банальное насчет луча света в тёмном царстве.

Марина не стала вступать со мной в литературную дискуссию, а, видя мою душевную смуту, поспешила дать неоценимый дружеский совет в рамках картезианской логики:

— Если ты всё видишь в таких чёрных тонах, то прост пойди и повесься! А на него не влияй!

Увы, в то время Марина не воспринимала меня как преданного друга Володи. Настороженное отношение ко мне Марины длилось ещё несколько лет. Даже близко подружившись с Мишель, во мне она продолжала видеть чуть ли не злого гения Володи.

Верное дитя Запада, Марина хотела видеть мужа окру жённым людьми состоявшимися, уравновешенными. Европа не любит мятущихся, неустроенных, неудовлетво рённых. В России, а в Советской особенно, пьющий человек вызывает в худшем случае симпатию, в лучшем — уважение: «пьёт, потому что страдает». Пьющий человек, а тем более интеллигент, всегда ассоциировался на Руси с порядочностью. Пьянство у нас — своеобразная форма оппозиции, признак личностного начала в человеке. На Западе пьяница — аутсайдер, изгой, будь он хоть семи пядей во лбу. Подоплёка его падения, тайна его душевной драмы, если только он не знаменитость, там никого не волнуют. Западный человек не сомневается, что спиваются преимущественно неудачники.

И только потом, когда Марина поняла, что дружба измеряется не служебным положением и респектабельностью, а верностью, которой так мало в жизни, она полностью изменила отношение ко мне. Мы стали добрыми друзьями, о чём говорит и ностальгическая надпись на книге «Прерванный полет»: «Дорогому Давиду, другу нашему, на память о старых нежных временах нашей юности. Марина Влади». Случилось это в декабре 1988 года, когда я наконец-то побывал в её загородном доме в Мэзон-Лаффите. Ранее она передала мне через Мишель еще один экземпляр своих мемуаров с не менее трогательным автографом: «Дорогому Давиду, надеюсь, что он узнает нашего Володю. Крепко целую. Марина Влади». А уже в Москве я стал обладателем русского издания только что опубликованной книги: «Давиду дорогому с нежностью от Марины Влади. 25.01.89».

Кстати, в тот период Марине и не требовалось особых усилий для легализации Высоцкого. Когда наш истеблишмент убедился, что её роман с Володей — не блажь кинозвезды, а всерьёз и надолго, с ним произошла поразительная метаморфоза. Звание мужа популярной актрисы и общественного деятеля волей-неволей поднимало в глазах элиты социальный статус Высоцкого. От желающих дружить с романтической парой семьями не было отбоя. И не опасно, и престижно. Надо сказать, что в людях Марина разбиралась неважно. Женщина открытая и бесхитростная, она, казалось, и не подозревала, что под благообразной внешностью могут укрываться низость и коварство. Самые матёрые материалисты легко проходили у неё по разряду «князей Мышкиных». Но стоило этим вчерашним фаворитам чуть оступиться, где-то оплошать, как они молниеносно зачислялись в реестр пройдох и предателей. Никаких компромиссов, никакого намёка на лицемерие. Или — или. В этом-то и проявлялась её исключительная порядочность.

Однажды речь зашла о Володиной скрытности в отношении к ней...

— Я же вижу, как он хитрит даже в мелочах, вечно чего-то недоговаривает, словно не доверяет мне до конца, — недоумевала Марина. — Видимо, это проклятый Сталин в нём сидит. Да он во всех вас ещё продолжает сидеть, — чуть подумав, подытожила она.

Сталин Сталиным, но почему-то Володя не доверял именно женщинам. Помимо прочего, он твёрдо верил в существование мифической «женской солидарности». Страх перед ней не позволял Володе открывать душу даже перед преданнейшей ему Мишель.

— Всё равно, ты всё потом расскажешь Марине. Из солидарности. Да к тому же вы ещё и соотечественницы.

А вот с друзьями Высоцкий бывал предельно откровенным.

В отличие от Марины, пусть и не будучи проницательным сердцеведом, Володя не заблуждался насчёт подоплеки этой внезапной тяги к нему из лагеря сильных мира сего. Как-то раз речь зашла о давнем почитателе и «друге» Володи — замминистра Константине Трофимове:

— Да знаю я, почему Костя так ко мне относится. Ты что думаешь? Вот сидят они там в Кисловодске в тёплой номенклатурной компании, выпивают. Костя хочет выпендриться, он и говорит: «А вот я сейчас позвоню Марине с Володей». И набирает номер: «Видите, мол, с кем дружу?»

Конечно, К. Трофимову вольно было тешить свое тщеславие «дружбой с Высоцким». Но как мог Володя считать своим другом чиновника, который с пеной у рта доказывал ему свое «право на привилегии»?

— Ты пойми, Володя, я же всего этого сам, своим потом и трудом добился. Я всю жизнь, как вол, пахал, во всём себе отказывал и никогда от своих привилегий не откажусь.

— Эти люди ничего не хотят понимать, — с горечью подытожил Володя.

Но с «этими людьми» Володя общался. Они были ему нужны. В основном, чтобы помогать друзьям. Лично я побывал у этого замминистра дважды. По поводу трудоустройства. По личной просьбе Володи.

Не сделал ни черта!

Особенно много «друзей-чиновников» было у Володи в Министерстве морского флота. И там меня принимали на самом высоком уровне. 30 декабря 1971 года Володя позвонил мне в три часа ночи:

— Завтра в 10 утра будь как штык в Министерстве морского флота. Тебя примет помощник министра. Он сейчас сидит у меня. Они берут тебя на работу. Я хочу, чтобы ты работал на флоте, а не среди сухопутных крыс.

Спросонья я даже не догадался поблагодарить Володю, а ведь я тогда был в катастрофическом положении. Володя же был абсолютно трезв, помнил обо мне и, доведя гостей до нужной кондиции, вырвал в три утра нужное обещание.

Помощник же министра, почувствовав, видимо, себя плохо после возлияний накануне, на службе не появился, и назначенная встреча не состоялась. Когда я сообщил об этом Володе, он просто сказал:

— Чему ты удивляешься? Разве ты не знаешь, «что сытый голодного не разумеет»? А с ним я порву отношения. Не надо было обещать!

Позже, правда, он был всё-таки прощён. Володя был отходчив.

Но Высоцкий на этом не успокоился и устроил мне новую встречу, на этот раз с начальником международного отдела Минморфлота.

Тот принял меня по всем правилам номенклатурной вежливости: «Кофе, коньяк?», — но вместо конкретных предложений по работе стал излагать свою точку зрения на взаимоотношения Марины и Володи.

— Ну, Марина — просто героиня. Как она всё это выдерживает? Удивительная женщина!

Мне стало беспощадно ясно, что дальше туманных обещаний дело не пойдет. Вот если бы за меня хлопотала лично вице-президент общества «СССР—Франция» Марина Влади! Ходатайство же Высоцкого для карьерных чиновников этого ранга являлось скорее аттестацией неблагонадёжности рекомендуемого лица. Сам же Володя просто-напросто перепутал вгрызшихся в свои кресла морских крыс с бороздящими океаны морскими волками...

Схожая история чуть раньше произошла с другим начальником международного отдела. На этот раз на «Мосфильме». Встретив Володю как-то раз на киностудии, тот попросил у него записи его новых песен.

Ответ Высоцкого больше смахивал на ультиматум:

— Хоть завтра! Но при одном условии — если устроишь моего друга Давида Карапетяна на постоянную работу.

От неожиданности начальник растерялся:

— Ты понимаешь, Володя, он у тебя немного того... варёный.

— Ерунда всё это — просто он не любит шестерить.

Тот что-то промямлил: сделка показалась ему явно неравноценной.

Но самая неожиданная— для самого Володи — метаморфоза произошла с его отцом Семёном Владимировичем. До появления Марины у Володи с отцом были очень напряжённые отношения. Володя жаловался:

— Он меня совсем не понимает. Ругает меня, считает, что я его позорю, а я ему говорю, что пою правду, никакую не антисоветчину, но он меня не слышит...

Мне это казалось вполне естественным проявлением конфликта «отцов и детей». Сколько нравоучений приходилось мне самому выслушивать от собственного отца! Но я видел, как болезненно Володя переживает это: отца он любил. Помню, как он долгое время собирал зажигалки для его коллекции, как обрадовался, когда я презентовал ему свою: «Вот здорово, такой у него нет!»

Но вот появилась Марина. И начались чудеса. Семён Владимирович тут же стал теребить пропащего сына: «Когда же ты меня познакомишь с невестой?»

Встреча состоялась, но Володя, напившись и уснув прямо на диване, слегка расстроил церемонию смотрин, поставив в дурацкое положение и грядущую невестку, и грядущего тестя. Володя невесело рассказывал:

— Начались активные действия со стороны отца. Мол, давайте дружить семьями, чаще видеться. Ты знаешь, мне за него делается стыдно — он передо мной прямо-таки заискивает.

Его поражало, что в таком возрасте человек может так внезапно измениться только из-за того, что его сыном увлеклась респектабельная иностранка. Сильно покоробила Володю и малоприятная история с «Жигулями», купленными отцом вроде бы для него. И здесь, судя по рассказу сына, Семён Владимирович оказался не на высоте.

Сегодня, с дистанции тридцати лет, Володины раздоры с отцом видятся мне в несколько ином свете. Видимо, у каждого была своя правда.

Странно всё-таки упрекать встроенного в систему офицера-связиста в том, что тот не сразу «расслышал» сына. Ведь полюбить песни Володи (даже военные) — было равносильно для отца отречению от собственной биографии, признанию, что вся жизнь — коту под хвост. Ведь они подрывали основы той системы, которая его выпестовала и отличила. Какие могут быть претензии к полковнику Советской армии, когда и искушённые интеллектуалы (даже фронтовики) шарахались от этих «судорог сердца»?

А ныне? Вот серьёзный поэт и эмигрант Наум Коржавин открыто признаётся, что не любит «Баньку» Высоцкого: «Просто не понимаю, о чём там речь!»

Другой пример. Середина семидесятых. Кафе Дома журналистов. Талантливый с европейской известностью, прозаик Андрей Битов обращается к Юзу Алешковскому: «Ведь ты же написал воистину народную песню. Ее пели, поют и будут петь всегда». Чувство попранной справедливости молча закипает во мне голосом незабвенного Шуры Балаганова: «А Высоцкий? А «Банька»? А «Кони»?» Со смутной надеждой на творческую солидарность смотрю на автора «всероссийского хита» о товарище Сталине. Увы, весь его вескомессианский, скромно потупившийся облик словно вопрошает: «Ну какой может быть в *такой* момент Высоцкий»?

Когда я, возмущаясь, пересказал эту сценку Высоцкому, тот только заметил: «Знаешь, у него всё-таки есть очень неплохие вещи для детей».

Прошло 25 лет. Настал XXI век. Тюмень, ресторан аэропорта. Рейс Тюмень—Москва по погодным

условиям постоянно откладывается. Нервничают пассажиры. За окном вовсю куражится вьюга, дерзкими росчерками снежных вихрей отменяя графики прилётов-отлётов. Спесивые стальные птицы выглядят беспомощными подранками. Гак и тянет рухнуть в расписную тройку с бубенцами и рвануть по разухабистым сибирским трактам в белое «никуда». Хочется «зелёного штофа» и... Высоцкого. От чёрной меланхолии и белого отчаяния накачиваюсь со случайным собутыльником марочным дагестанским коньяком — самым уместным в этом медвежьем углу напитком. Мой сосед, но виду не то бич, не то старатель, облачен в какую-то видавшую виды рваную кацавейку на волчьем меху. Классической радостью российского интеллигента я втайне упиваюсь своим «народолюбием». Возмездие не заставляет себя долго ждать. Пристально изучая меня быстро мутнеющими глазами, ушкуйник наклоняется ко мне и, дыша перегаром и тундрой, шепчет: «Хочешь, я спою тебе нашу вели кую народную песню»? И, срывая голос, неумело затягивает «Баньку по-белому»...

Именно «Баньку» неизменно пытался воспроизвести и подпитии Андрей Тарковский. Именно «Баньку» он ещё в далёком 1968 году называл «потрясающей вещью». А спустя семь лет он же изрёк: «Да ведь это единственный у нас социальный певец!»

...Увы, не часто посылает судьба отцов, способных понимать своих сыновей. Тарковскому в этом смысле повезло больше, чем Высоцкому. После просмотра «Рублева» отец первым поздравил сына: «Андрей, ты снял религиозный фильм».

...Появление в жизни Володи «статусной» Марины Влади фактически реабилитировало сына в глазах Семёна Владимировича. Наверняка сработала система авторитетов, столь характерная для армейского менталитета. Можно смело сказать, что в те годы Марина воспринималась родителями Володи в некоем мистическом ореоле. В «Мариночке» видели не просто знаменитость и законную жену, но и добрую волшебницу, способную запросто переиначить гороскоп сына. Так продолжалось всю совместную жизнь Марины и Володи.

Что касается Нины Максимовны, то и её юность пришлась на разлив сталинского «идеализма», чьим паролем стал предсказанный Достоевским «стыд собственного мнения». Но к матери Володя относился гораздо снисходительнее и радовался всякий раз, когда инстинкт сочувствия брал в её душе верх над инерцией предрассудка.

Помню, как в середине семидесятых, после угона советским лётчиком военного самолёта в Иран, Володя, мило улыбаясь, рассказывал:

— Представляешь, — даже моя мама, такая вся «комсомолочка», и то переживает: «Неужели они его выдадут?»

* * *

Самой Марине, как, впрочем, и почти всей левой интеллигенции Запада той поры, «наша жизнь убогая» виделась исключительно в розовом свете. Этому во многом способствовала отлично срежиссированная официальная показуха. Видя восторженные толпы во время кинофестивалей, Запад, конечно же, умилялся: «Какая чудесная страна!», «Какой счастливый и просвещённый народ!»

Эпидемия советофильства свирепствовала в Европе издавна. Одной из её первых жертв была Айседора Дункан, вещавшая в вакхическом трансе городу и миру, что «в России совершается величайшее в истории человечества чудо, какое только имело место на протяжении последних двух тысячелетий».

Поэтому меня не особенно удивляло бурное возмущение Марины тем, что «во Франции люди

подыхают с голоду, в то время, как магазины забиты кошачьими консервами». «Ничего, — думал я, — поживёшь у нас, как Айседора, и всё поймёшь».

Впрочем, что предосудительного было в таком идеализме? Разве мы сами не равнялись на Запад, не признавали его верховным арбитром в наших вечных внутренних разборках? И не мы ли мечтали о «живой жизни» с её романтикой борделей и казино, неоновых всполохов и банковских счетов? Мы поверили не страстному провидцу Фёдору Достоевскому, а матёрому диверсанту Джону Ланкастеру: «Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин»... Вот и понеслась «Русь-тройка» с «гражданином Епифаном» на облучке во весь опор к искомому Эльдорадо. И только угодив в него, мы вспомнили народную мудрость: «не до жиру, быть бы живу»...

В отношении Марины к Володе чувствовалось переплетение женской любви с материнской. Так любят в семье самого трудного ребёнка. Марина и баловала его, как любимого сына: дорогие шмотки, экзотические вояжи, престижные автомобили. Она как бы хотела «откупить» Володю за всё, чего он до неё был лишён. Словно говорила ему: «Будет тебе, всё, что ты хочешь, только не пей!» Тогда она, видимо, ещё не понимала, что, получив всё это, он не перестанет пить, потому что причина лежала глубже.

Будучи здоровой западной женщиной, Марина считала что Высоцкий принадлежит прежде всего ей, и только потом — России. Логично. Ведь он — её муж и должен быть в полном порядке. На первых порах Володя действительно радовался иномаркам, как ребёнок — новым игрушкам. Но, успев хорошо его изучить, я не сомневался — пресыщение неизбежно. Да и легко ли оставаться певцом «униженных и оскорбленных», пересаживаясь с одного «Мерседеса» на другой? Присущий Высоцкому инстинкт сострадания всячески отторгал традиционный западный индивидуализм, который из лучших побуждений пыталась привить ему Марина. Но сама-то Марина любила его отнюдь не по-европейски, а по-русски — широко и безоглядно.

Поздняя осень 1974 года. Володя запил, но ещё не по-чёрному. Заезжает несколько раз по своим делам в театр. Все эти дни я ночую у него на Матвеевской. Как-то раз, за несколько часов до начала юбилейного спектакля «Антимиры», позвонил Любимов. Уточнив, с кем разговаривает, Юрий Петрович поинтересовался, в каком состоянии Володя, сможет ли он приехать в театр. Я обещал сделать всё возможное и невозможное, но Высоцкого привезти. Не захотев говорить с самим Высоцким, Любимов попросил: «Передайте ему, что, если он сорвёт сегодня спектакль, я перестану с ним здороваться». Но каких-то сверхусилий прикладывать не пришлось. Взяв себя в руки, Володя поехал спасать спектакль и свою в очередной раз основательно подмоченную репутацию.

В голосе же Любимова без труда улавливались не интонации грозного мэтра, а любящего, но подуставшего опекуна.

Именно в этот вечер я имел историческую честь быть представленным виновнику торжества Андрею Вознесенскому, заглянувшему после спектакля за кулисы поблагодарить актёров. В театр он приехал с популярнейшим армянским композитором Арно Бабаджаняном.

— Познакомьтесь, Андрей, это мой друг. Очень большой друг, — не прибегая к пафосу, подчеркнул Володя.

Тот вяло протянул руку, но, вместо того, чтобы посмотреть в глаза, как это принято у простых смертных, смущённо опустил очи долу, устремив взор на мои башмаки, которые, сказать по правде, не ослепляли стерильной чистотой. Ни в какую «большую дружбу» юбиляр, конечно же, не поверил. Напротив, весь его кислый облик, казалось, вопрошал Высоцкого: «Ну где ты только умудряешься откапывать этих прихлебателей?»

Видя столь нездоровое любопытство к моей непритязательной обувке, я занервничал. Чего это он там, чёрт побери, изучает? Уж не силится ли по слою налипшей на ней грязи отгадать, по каким кривоколенным переулкам ошивался я вместе с «шансонье всея Руси», в каких загаженных подворотнях злодейски его спаивал?

Вознесенский явно сочувствовал Володе. На первый взгляд, — без всякого повода. И успех им сегодня сопутствовал одинаковый, и в театр оба явились с лицами одной и той же национальности. Но именно вопиющий контраст между двумя спутниками и делал схожесть их ситуаций абсолютно иллюзорной. Ну что общего между излучающим фарт, одетым с иголочки фаворитом и облачённым в нечищенные штиблеты помятым анонимом?

...Когда-то Вознесенский имел неосторожность апеллировать к высшим инстанциям:

Посоветовавшись с четверть века, «товарищи» решили уважить просьбу поэта. Вождя с дензнаков удалили. Но — стряслась беда. Осиревший рубль в одночасье рухнул, увлекая с собой в небытие и родную советскую власть со всеми её халявными атрибутами. От изобильных кормушек с тиражами и вояжами остались только рожки да ножки. Ну кто тянул его за язык?..

Через несколько дней должна была прилететь Марина: она уже знала о Володином срыве, и о её состоянии нетрудно было догадаться. В день её приезда я отвез Володю на «Мосфильм», где ему предстояла запись его песен в сопровождении какого-то оркестра... Когда работа была окончена, он протянул мне ключи от БМВ и, лукаво улыбнувшись, попросил меня поехать за Мариной без него:

— Тут у меня ещё кое-какие дела. Вези её прямо домой, а я подъеду попозже.

«Ну, что ещё за лебедя он вытряхнет из рукава на этот раз?» — неодобрительно думал я, летя во весь опор по Ленинградскому проспекту. Самолет прилетел по расписанию: долго ждать Марину не пришлось. Давно уже не видел я её настроенной столь решительно. В разговоре выяснилось, что Володя в очередной раз сорвал ей серьёзный контракт и теперь придётся снова платить неустойку. Чтобы как-то выправить финансовый крен, Марине недавно даже пришлось петь песенки в ночных ресторанах Монреаля, а во Франции — рекламировать мыло.

— Ещё одна такая реклама в журнале, и ни один уважающий себя режиссёр не захочет иметь со мной дела. Всё. Он меня постоянно предаёт, причём в самые неподходящие моменты. Я сделала всё, что смогла. Пора спасать свою шкуру, — твердила она в порыве откровенности.

Было ясно, что решение о разводе принято ею окончательно, хоть и далось ей нелегко. Шутка ли — отречься от такой любви наперекор сердцу!

Дома, пока мы дожидались Володю, Марина продолжала убедительно аргументировать неизбежность разрыва. Она вменяла ему в вину даже то, что он перестал следить за новинками литературы.

— Он же ничего не читает. Живёт старыми запасами времён мхатовской студии, — всё более распаляясь, уличала она мужа.

Телефон зазвонил только в девятом часу вечера. Это был югославский режиссёр В. Павлович, снявший фильм «Единственная дорога» с участием Высоцкого. Оказалось, что Володя находится у него в гостиничном номере и просит Марину приехать. Через полчаса мы были в «Белграде». Мужчины успели уже основательно набраться, что подтверждала блаженная улыбка на физиономии полностью

расслабившегося Володи. На столе красовались остатки нехитрого пиршества — апельсины, початые бутылки, гора окурков. Рядом с ними сидела какая-то девица, тут же начавшая любезничать с Мариной. Самообладание Марины восхищало. Она тактично поддерживала беседу, ничем не выдавая своего душевного состояния.

Такое же миролюбие она проявила и на обратном пути, сидя на заднем сиденьи рядом с ничего не подозревающим Володей. Мне это затишье казалось предвестником надвигающейся грозы.

Едва мы зашли домой, Володя направился в спальню и, не раздеваясь, улёгся на кровать. Марина последовала за ним. Я же, куря сигарету за сигаретой, потерянно слонялся по кухне. Тишина в спальне становилась зловещей. «Тем сильнее грянет буря!» — тоскливо подумал я и решил спешно ретироваться. Приблизившись к отворённым дверям спальни, я, огорошенный, застыл. То, что я увидел, было форменным издевательством над здравым смыслом, но триумфом женской логики. Наклонясь к тихо лежащему Володе, Марина нежно касалась ладонями его лица. Это походило на кадр из старомодной мелодрамы, кадр, выстроенный самым непредсказуемым постановщиком — жизнью.

— Ну, я пошёл, ребята, — предварительно кашлянув, сконфуженно пробормотал я.

— Да, да, сейчас, — вспорхнула с кровати Марина сияющей Синей птицей. Признать в ней давешнюю обличительницу было невозможно. Она была вся залита счастьем, как впервые полюбившая лицеистка. Все её безупречные силлогизмы бесславно разбились вдребезги. Воинствующая эмансипэ казалась сейчас воплощением «вечной женственности».

Чудны дела твои, Господи!..

Глава пятнадцатая.

МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ. ОТПЛЫТИЕ

Когда Высоцкий переехал в кооперативную квартиру на Малой Грузинской, мы стали видеться все реже и реже. И хотя всякий раз, когда я исчезал надолго, он мне мягко выговаривал («ну, душа пропащая, наконец-то!»), такие большие интервалы между нашими встречами стали делом обыкновенным. Многое изменилось за эти несколько лет. Каждый из нас сделал свой выбор.

Женившись на Марине, Володя — средь маеты и просветов — рванулся к новым вершинам, не чуя отдалённого гула надвигающейся лавины. Я же — назло себе — разойдясь с Мишель, продолжил свой затяжной прыжок с заклинившим парашютом. Все было закономерно. Слишком бесцеремонно в жажде Абсолюта испытывал я терпение фортуны. Ещё в ранней юности резво раскачав «чёртовы качели» *или-или*, я рано или поздно должен был с них сорваться и сверзиться на земную твердь. А ведь в свое время Высоцкий предупреждал меня по-дружески: «Ты слишком требовательный».

И вот суровая проза приземления, не мешкая, перевернула ещё одну страницу моей сумбурной биографии. Не успев толком очухаться, я с ходу оказался причтенным к касте стопроцентных аутсайдеров.

Как преодолеть извечный антагонизм расцвета и упадка, подъёма и апатии? Обескураживающая разница наших с Высоцким жизненных статусов била в глаза. Все чаще вспоминалась мне горестная русская поговорка: «Сытый голодного не разумеет». А перипетии собственной судьбы родили другой житейский афоризм: «Неравенство нарушает дружбу».

Впервые побывал я на новой Володиной квартире летом 1975 года. С каким-то извиняющимся видом ознакомив меня с расположением комнат, он неожиданно сказал:

— Вот окончим ремонт, и переедешь жить ко мне.

И хотя этот словесный жест вытекал из его концепции дружбы, в случае со мной он выглядел явно несуразным. С какой это стати, загнав самого себя без посторонней помощи в угол, поселюсь я этаким сибаритом-приживальщиком у вкалывающего, как колодник, Высоцкого? Занятная перспектива — зажить в доме человека, в эпоху которого живешь!? И как бы на это посмотрела Марина? Ведь на Западе, а уж тем паче во Франции, постулат «каждый спасается в одиночку» никто ещё, кажется, не отменял.

И все же хотелось понять сквозившее в тот день в поведении Володи чувство неловкости. Ещё совсем недавно он признавался одной нашей общей знакомой, что чувствует себя передо мной виноватым. Непонятно, что имел в виду Володя. Не сам ли он, узнав о предстоящем разводе с Мишель, предупреждал меня:

— Ты хоть понимаешь, что потеряешь весь этот комфорт?

Он знал, что на развод я пошел без всякой предварительной страховки, из чистого упрямства, и должен был думать не о комфорте, а об элементарной крыше над головой. «Винить» себя Высоцкий мог разве что в авторстве песен, тексты которых и вдохновляли меня на череду, мягко говоря, алогичных поступков. Поэтому слово «комфорт» звучало в устах Володи почти кощунством: к какому комфорту можно стремиться после его песен? А я был ими отравлен насквозь. Два минувших после его ухода десятилетия

только подтвердили мой диагноз — никакого противоядия им в природе не существует. Во всяком случае, для моего организма, уже подорванного в юности еще и поэзией Блока. Растворившись в крови, эта двойная доза яда и предрешила, в конечном счете, мою судьбу, походя опровергнув наивное кредо материализма: «бытие определяет сознание».

Как бы то ни было, чем острее ощущал я свое изгойство, тем стремительнее росла моя мнительность. Мне не стоило особых трудов убедить себя, что моя дружба Володе больше не нужна. Весьма меня озадачивала и странная закономерность: его новые друзья и знакомые были люди сплошь преуспевающие. Художник Михаил Шемякин — богат и знаменит. Сценарист Эдуард Володарский тоже не бедствовал. Его супердача в Красной Пахре просто поражала воображение. Побывав там как-то с Мариной Влади, я так смешался, что сидел как оплёванный и не смел произнести ни слова. «Умеют же устраиваться люди под диктатурой пролетариата», — с тяжёлой многоцветной завистью маргинала подумал я, узнав, что нахожусь на бывшей даче поэта Семена Кирсанова. И совсем уж диковинной птицей в этом новом хороводе смотрелся некто Бабек Серуш — «беспачпортный купчина» с золотой душой, сомнительной репутацией и тугой мошной. Все больше времени проводил Володя на его роскошной — выкупленной у Зыкиной — даче с бассейном. А ведь еще совсем недавно он признавался мне в своей нелюбви к тусовкам: «Просто жалко времени». Даже Вадим Туманов, человек самой драматической судьбы из нового окружения Володи, по нашим советским меркам, был безусловным богатеем.

Отныне Высоцкий был окольцован людьми состоятельными и состоявшимися. И, главное, нужными. Но никто их ему не навязывал. Не могли же, например, ловчилы-импрессарио выжимать из него все соки вопреки его воле? Смешно обвинять их в нечестности. В жизни каждый выполняет свои функции. Высоцкий поёт, зритель аплодирует, антрепренёр жульничает. Взаимовыгодное сотрудничество на материальной основе.

Разумеется, в это «буйство бытия» я никак не вписывался. Зато смерть Володи расставила всё по своим местам.

Жена одного из таких «состоявшихся» друзей сразу же после похорон (!) участливо объяснила Марине, что не стоит так убиваться из-за человека, целых два года крутившего роман с «какой-то девчонкой». Та же подруга проинформировала и о внебрачной дочери Володи от небезызвестной Марине актрисы Театра на Таганке. Детали этой сенсации Марина выясняла и у меня, великодушно заметив, что если это — правда, пусть девочка носит фамилию отца.

Конечно, в последние годы Володя сильно изменился. От былой неуверенности не осталось и следа. Очень близкий ему в то время человек — та самая «девчонка» — Оксана Афанасьева подтверждает, что Володя считал себя гениальным и неоднократно говорил об этом. Если бы она видела более раннего Высоцкого — знаменитейшего, но замечательно скромного! Таким он оставался ещё долгое время после появления Марины.

Однажды в 1974 году, услышав на Матвеевской запись песни «Белое безмолвие», я выразил автору свое искреннее восхищение.

Его ответ понравился мне не меньше самой песни:

— Да, это одна из лучших вещей, которые мы сделали.

Оказалось, он имел в виду записи для многострадального, так и не появившегося диска-гиганта фирмы «Мелодия», для которого Марина исполнила несколько стилизаций мужа. И хотя к этой песне она никакого отношения не имела, Володя великодушно назвал её соавтором.

Или другой эпизод той же поры. У Володи очередной срыв. Он мечется, стонет всю ночь, я же, сидя

рядом, прикладываюсь время от времени к коньячной бутылке, чтобы ненароком не уснуть. Под утро Володя утихомирился, а я, от нечего делать, стал листать дарственные сборники Межирова и Самойлова, о чьих дарованиях опекаемый ими поэт-«непрофессионал» хотел услышать мое мнение. Стихотворения эти недвусмысленно взывали к интеллектуальному отклику, а мои утомлённые мозги в столь неурочный час к этому были явно не готовы. Отложив до лучших времен сугубую поэзию ума, я с жадностью наркомана потянулся к «американскому» Мандельштаму, которого привезла из Парижа Марина. Но тут передо мной возник пришедший в себя, но все еще неодетый Володя. Застав меня за моим любимым занятием, спросил:

— Ну что, прочитал? Что скажешь?

— Володя, ну не могу я натощак читать: «Коммунисты вперед, коммунисты вперед», — честно признался я.

— Да это же раннее, что ты к ним привязался? Прочти последние. А Самойлов?

— Ну не по мне эта рассудочная поэзия. Не берет. С похмелья воспринимаю одного Мандельштама, — ляпнул я запальчиво.

Чуть помолчав, Володя очень неуверенно, как бы ища поддержки, произнес фразу, от которой у меня защемило сердце:

— Да, когда выпьешь, хочется слушать только Мандельштама и... меня.

Ничуть не кривя душой, я тут же исправил свой промах:

— Ну ты-то вообще вне конкуренции. Конечно, сперва ты, а потом — Мандельштам, Цветаева и Алеша Дмитриевич.

Под этим диагнозом я готов подписаться и сегодня, тридцать лет спустя...

Да, многое, очень многое изменилось за эти несколько лет в Высоцком. Даже его неуемная, с оттенком бесшабашности, энергетика обрела какую-то западную заданность. Он настроил себя на прямо-таки самоубийственный, сугубо нерусский ритм жизни, в котором угадывалась не воспетая им самим ставка на зыбкую Удачу, а расчет на гарантированный Успех. Эта младшая сестра пошловатого триумфа виделась мне недостающим звеном девиза «время — деньги», вечным клеймом выжженного на чугунном лбу Статуи Свободы, с неотвратимостью сомнамбулы шествующей к бездне бездуховности.

А всё начиналось, казалось бы, с пустяка — с одежды. Лето 1969 года. Квартира Нины Максимовны. Володя слегка на взводе — рвётся в ресторан ВТО: «Только переоденусь». Он возвращается довольно быстро. Я молча таращусь на него, силясь осмыслить случившееся. Первая реакция — подмена! Никакого Высоцкого в комнате нет и в помине. Вместо него — какое-то огородное чучело, разряженное в сногсшибательное прет-а-порте от Кардена. Расклешенные жёлтые замшевые штаны с бахромой, ниспадающие на ликующий лак черных штиблет с высоченными каблуками, дорогущая, из жёлтой же замши куртка на молниях и, — в пандан ей, — несусветная кремовая рубашка с длинноухим воротником. Лицо его отражало одновременно смущение, мнимую решительность и... просьбу о помощи. Не менее сложная гамма чувств изобразилась и на моей собственной физиономии. По ней растерянно блуждали недоумение вперемежку со щемящей болью.

К счастью, сия немая сценка длилась недолго. Фатоватый фантом растворился в дверях и через минуту предстал настоящим Высоцким в своем неброском обыденном одеянии. В тот день Володина душа, словно чуя опасность, отторгла щедрые дары «данайки».

Этот маленький эпизод — один из ключиков к разгадке эволюции Володи. Душком самоизмены,

предвестием беды несло от этой с виду такой безвинной метаморфозы. И настораживала она, конечно, не одного меня. Вот запись в дневнике Валерия Золотухина от 30.09.1971 года: «Володю, такого затянутого в черный французский вельвет, облегающий блузон, сухопарого и поджатого, такого Высоцкого я никак не мог серьёзно воспринять, отнестись серьезно, привыкнуть. В этом виноват я. Я не хочу полюбить человека, поменявшего программу жизни. Я хочу видеть его по первому впечатлению. А так в жизни не бывает».

Или — взгляд женщины, помнившей Высоцкого ещё студентом мхатовской студии, — адресата знаменитой песни «Она была в Париже» актрисы Ларисы Лужиной: «Мне кажется, до Франции он был крепыш, недаром Марина в него влюбилась, она почувствовала сильное мужское начало; потом, когда он стал жить в Париже, на нем появился другой отпечаток, он сделался субтильным. Из невысокого, но могучего русского парня как бы ушла сила. Такой французик... Я встречала его потом в театре, в джинсовом костюмчике, худенький, маленький...»

Недоумевали и люди посторонние. Моя соседка по этажу, мать Тани, увидев как-то Володю в модном, в мелкую клетку, кепи, сказала мне раздраженно:

— Чего это он нацепил на себя этот дурацкий картуз с помпончиком?

Шел год четвёртый... от Марины Влади.

...И в своем творчестве, и в жизни Высоцкий был напрочь лишен пафоса проповедничества. Мотивы христианского смирения и самоуничижения были слишком монотонны для диапазона его души. Высоцкий ценил древнеримские ценности — мужество, выдержку, дружбу. Его сочувствие к маленькому человеку обходилось без процедуры христианского самоотречения и «братского» лобызания. Скорее, то была сдержанная готовность патриция поддержать слабого «от своих щедрот», как сам он любил выражаться. Свою «последнюю рубашку» Володя не собирался отдавать никому.

Наша длительная дружба давала мне основание полагать, что Володя считается с моим мнением о его поэзии. Как-то, года за три до Володиной кончины, я сказал ему, что, на мой взгляд, в его творчестве преломляются основные мотивы романов Достоевского. Ведь и в песнях Высоцкого, особенно ранних, жалость к аутсайдерам странным образом переплетается с симпатией к своевольцам. Достоевский и Высоцкий — утешители и иноходцы в одном лице. Володин ответ, пожалуй, чересчур для меня лестный, я запомнил хорошо:

— Так, как понимаешь меня ты, понимают меня единицы.

Выражаясь патетическим слогом Достоевского, можно сказать, что в душе Володи с переменным успехом боролись Наполеон и Христос. Казалось, что в последние годы прыткий корсиканец стал потихоньку одолевать кроткого галилеянина. Но этот перевес оказался иллюзорным...

Теперь, когда я стал появляться у Володи со столь длительными интервалами, мне было гораздо легче судить о перипетиях этой борьбы. Едва я переступал порог его дома, он наливал мне стакан водки и, выслушав очередную порцию моих житейских жалоб, обязательно, несмотря на усталость, пел для меня что-нибудь новое. Там я впервые услышал посвященную Вадиму Туманову песню «Побег на рывок», которую Володя предварил обстоятельным рассказом о трагичной судьбе этого человека. Тогда-то я и узнал, что театр Володе опостылел окончательно и он хочет попробовать себя в режиссуре. Имелся и материал для планируемого фильма — магнитофонные записи рассказов Туманова о мраке сталинских лагерей, сквозь который ему привелось пройти.

— В общем, задумки есть. Поживём — там будет видно. А из театра буду уходить. Не хочу ни от кого зависеть.

О своей утомлённости театром его ведущий актер говорил еще несколько лет ранее:

— Надоело из года в год делать одно и то же. Ну сколько я могу кривляться на сцене в роли Керенского?

Конечно же, всё это уже давно было ему «не к лицу и не по летам». Не могла не удручать Володю и завеса злословия, отделявшая театральную сцену от закулисья. Его таганские (да и не только они) коллеги, публикующие мемуары, уж очень стараются пристегнуть Высоцкого к театральным подмосткам. Это понятно. Профессиональные актеры, они всегда видели в нем коллегу-конкурента, между делом сочиняющего какие-то песенки. Для них сцена Таганки со всеми ее склоками и сплетнями изначально была воплощением смысла жизни, мистически окрашенным символом судьбы. Единственным шансом самореализации. При жизни Высоцкого большинство из них отказывалось видеть в нем исключение из правил, теперь же они нуждались в его посмертном ореоле, чтобы приобщиться к вечности.

Известно, что Мандельштам считал актера антиподом поэта. Именно он назвал актёрское чтение стихов «свиным рылом декламации». Ему вторила Марина Цветаева: «...Поэт в плену у Психеи, актёр Психею хочет взять в плен... Актёр — упырь, актёр — плющ, актёр — полип. Актер — для других... Последнее рукоплескание — последнее биение его сердца». Поэзия — миссия, актёрство — профессия. В актёрстве со всеми его спутниками в виде оваций и аншлагов есть привкус некоей пьянящей праздничности. Всё-таки это не чистое творчество, а лишь его интерпретация, имитация. Искусство взаймы. Поэт живёт искомым словом, артист — чужим текстом, как пианист или скрипач — заёмной партитурой. Говоря образно, поэт обречён на Слово, актёр — на Славу.

Ремесло актера для Высоцкого-поэта было лишь одной из потребностей души. И, вопреки Мандельштаму, ему удалось даже это — совместить в себе поэзию и лицедейство. Для Володи закон никогда не был писан. Он мечтал сыграть Гамлета. Когда это осуществилось, репертуар «Таганки» как-то перестал его остро волновать: он давно уже утвердился в репертуаре народа. Неудивительно, что работу в театре Володя воспринимал как дававшую статус легальности, но постылую службу.

Ещё в 1971 году он поразил меня грустным признанием:

— Я вообще-то обыкновенный совслужащий.

— Как это понять?! — растерянно спросил я.

— Я же лямку тяну. Надоело, а уйти не могу.

Ни одному, даже рядовому, актёру подобный парадокс не пришел бы и в голову. Тем более артисту Театра на Таганке с его нешуточными претензиями на жречество.

Спустя несколько лет в разговоре со мной и Сережей Богословским, жившим, подобно мне, на «вольных хлебах», Володя вновь вернулся к этой мысли:

— Посмотрим, может быть, скоро и я примкну к вашей вольной братии.

Высоцкий был очень тактичным. О своих загранпоездках он никогда не рассказывал взахлеб, на манер наших дорвавшихся до Запада сограждан. Воспроизводя тот или иной эпизод, он, чтобы не задеть моё самолюбие, непременно добавлял: «Ну, это ты сам знаешь...»

Америка, которую Володя впервые увидел летом 1976 года, удивила его своими просторами и динамикой жизни. Особенно Нью-Йорк. Об американцах выразился так: «По духу нам там ближе всего негры».

Положение Высоцкого за рубежом было теперь довольно двусмысленным. Дотошные интервьюеры никак не могли взять в толк, как ему удается пользоваться льготами, немыслимыми для любого другого

советского гражданина: диссидентствовать (как они полагали) и свободно разъезжать по белу свету, не обладая никаким официальным статусом?

С горечью рассказывал Володя и о своем посещении монреальской Олимпиады. Казалось, кому как не Высоцкому, автору «Профессионалов», быть в группе поддержки советских олимпийцев? Но нет, Володя попал на Олимпиаду только благодаря жене. А на трибуне красовались другие.

— Заметили они меня там (Лев Лещенко и другие) и недовольно косятся: мол, этот-то как сюда затесался? — рассказывал ощутивший свою ущербность Володя.

Интервью на политические темы Высоцкий за границей избегал. Особенно интересовало журналистов его мнение о Галиче. Володя убедительно просил их не задавать о нём вопросов. Имея на руках советский паспорт, он обязан был вести себя лояльно: «Хвалить Галича в моём положении значило лезть в политику, критиковать же изгнанника я не хотел и не мог». И, с лёгкой иронией, добавил:

— Сейчас Галич меня всячески расхваливает, всем рекомендует слушать.

Отношение Высоцкого к Галичу было неоднозначным. В конце шестидесятых он не скрывал влияния старшего барда на свое творчество. Тогда он признавался: «Да, он помог мне всю поэтическую форму поставить». Когда Володя писал:

Галич уже был автором «Веселого разговора».

К Галичу-эмигранту Володя относился сдержаннее. Это было, видимо, связано с его скептическим взглядом на диссидентство в целом. Не на эмигрантов, — горемык, а именно на диссидентов-профессионалов. Володя считал их людьми излишне политизированными и не вполне свободными.

Когда в декабре 1976 года я принялся увлеченно пересказывать Володе почерпнутые мной из итальянской прессы подробности скандальной сделки Буковский — Корвалан, он быстро охладил мой пыл:

— Ну да, я в курсе этого. Но ты же знаешь, я не люблю диссидентов.

— А Солженицын?

— Ну, Солженицын! — промолвил Володя, ловко уходя от прямого ответа посредством интонации.

Но я-то прекрасно помнил маленький эпизод трёхлетней давности. Показывая мне у себя дома фотографию Солженицына в журнале «Пари матч», Володя с расстановкой произнес:

— Ну, его-то они никогда не сломают.

А разве Солженицын не занимался непосредственно политикой, не использовал западные средства массовой информации, в том числе и опекаемую США радиостанцию «Свобода»? Ведь к этому Володя относился резко отрицательно: какая разница, кто тебя покупает? А тут у него концы с концами явно не сходились. В моих глазах Солженицын прежде всего был не «великим писателем земли русской», а наипервейшим диссидентом, таким же, как в свое время — Герцен. А Александр Галич в первую очередь являлся поэтом, и только потом — диссидентом. Да и какой подлинный поэт, в сущности, не диссидент? Дело не в терминологии, а в предназначении. В отношении к миру сущему большая поэзия — всегда фронда. Иначе её зовут версификацией. Такая уж у настоящих поэтов судьба — быть вне овала «манежей и арен».

Высоцкий очень точно почувствовал первые симптомы кризиса диссидентского движения. Сколько

маленьких людей с ущемленным самолюбием и неутоленными амбициями превратилось вдруг в бесстрашных борцов с Системой? Почему-то им почудилось, что именно западный налогоплательщик обязан компенсировать их идеологические расхождения с платформой Советской власти. Симбиоз французского шампанского и русской икорки казался им идеальной материализацией теории конвергенции...

Тогда же, сразу после реплики о Солженицыне, я спросил у Володи напрямую:

— Ну а в себе-то ты уверен, не сломаешься сам-то? Вдруг решат тебя приручить? Соблазн ведь велик.

Володя отлично знал, какого ответа я от него жду. Он сказал так:

— Никогда этого не будет. Через это я уже проходил. Как-то написал я стихи под ноябрьские праздники. Хотел видеть их напечатанными. Совсем плохи дела были тогда. Там и красные знамёна были, и Ленин. Утром перечел — порвал и выбросил. Понял — это не для меня.

Осенью 1988 года мне довелось присутствовать на выступлении Иосифа Бродского в Сорбонне. Когда, выделив из современных бардов Высоцкого, он принялся расхваливать его стихотворную технику, аудитория, состоявшая в основном из эмигрантов третьей волны, глухо зароптала. Диссиденты отвечали Высоцкому взаимностью: для них он был недостаточно радикален и злободневен.

Сам Володя с досадой рассказывал о нравах, царящих в диссидентских кругах Парижа.

— Представляешь, каждый каждого подозревает в стукачестве, обзывают друг друга лагерными гнидами. Никакой солидарности.

С усмешкой рассказывал он и о фобиях писателя Владимира Максимова, денно и нощно ждущего спланированного КГБ покушения на свою драгоценную жизнь.

Из эмигрантов третьей волны Володя, помимо Шемякина, очень уважительно отзывался о Синявском и Бродском. Позже Мишель подробно рассказывала мне, как она вместе с Высоцким и Бродским оказалась на домашнем вечере, устроенном приятелем Марины кинорежиссером Паскалем Обье. Это случилось в 1977 году, во время гастролей театра на Таганке, поэтому в числе гостей были Юрий Любимов и Алла Демидова. Бродского во Франции еще толком никто не знал, и Володя представил его собравшимся друзьям хозяина как крупнейшего из современных русских поэтов. И вот на этом вечере Бродский спел «Лили Марлен». Режиссер-коммунист Обье, понятное дело, стал возмущаться тем, что русский эмигрант горланит у него дома нацистские песни. Бродский взорвался и не стал таить от Мишель, что он думает по этому поводу:

— Что за безграмотные люди: не знают, что эту песню пели не только нацисты, но и Марлен Дитрих, бывшая офицером американской армии. Ну и друзья у Марины — куда меня пригласили?

Бродский, кстати, признавался Мишель, что ненавидит Париж и приезжает туда только из-за друзей и издательских дел. Он любил Англию и Америку. И еще, как оказалось, Венецию...

* * *

А между тем жизнь, высунув язык, упитанным румяным колобком катилась куда-то мимо меня. Казалось, всё самое стоящее ушло уже за поворот, поставив меня на глубокий якорь в каком-то заглохшем затоне. И всё-таки она продолжалась, эта жизнь, и предлагала себя прожить, хотелось вам этого или нет. Защёлкнув на замок эмоции, иллюзии и принципы, решил я, любопытства ради, довериться-таки испытанному вожатому рода человеческого — Разуму. Эмиграция во Францию казалась тогда

единственным шансом выпрямить штурвал судьбы, да и Володя с Мариной всячески подогревали во мне эти беженские настроения. Между тем добровольное расставание с Отечеством было делом весьма хлопотным. На воротах Родины висели увесистые амбарные замки нелепых, а зачастую и невыполнимых формальностей. Дабы заполучить требуемую ОВИРом характеристику, пришлось, предав оптом и в розницу идеалы детства, отрочества и юности, трудоустроиться по блату в прозаический Роспотребсоюз.

И вот, явившись однажды осенью 1976-го в своем новом качестве товароведа (!) на службу, я заметил сильное оживление в фойе нашей конторы. Исполненная плакатным пером афиша, перед которой толпились члены трудового коллектива, извещала о вечернем концерте Владимира Высоцкого. О том, что я здесь работаю, он, конечно, и не подозревал и вечером, приехав на концерт, целеустремленно простучал мимо меня начищенными до блеска копытцами своих французских штиблет. Неуёмная энергия Дела пронизывала концертанта насквозь, и, когда, окликнув, я его нагнал, он не высказал удивления, не сбавил шагу, а скоро-скоро, доверительным полушёпотом ввел меня в курс последних новостей с французского берега:

— Мишель очень беспокоится, хочет знать, что ты решил насчет приезда. Напиши ей — я передам.

«Все правильно, деловая информация и должна выдаваться вот так споро, без прелюдий и сантиментов», — обескураженно-обиженно думал я, сидя за кулисами рядом с администратором «Таганки» Яшей Безродным и незнакомой красоткой, — судя по всему, очередным увлечением Володи. Теперь он стоял там, на сцене актового зала и принадлежал всем сразу со своей гитарой и со своим репертуаром. «Ну, конечно, сейчас он воспевает эту дуру Зинку с Пятой швейной, а Нинку с Ордынки, небось, уже и не помнит», — растравлял я себя детской обидой, вслушиваясь в реакцию зала на «Диалог у телевизора». Предпочтение автором ткачихи Зинки наводчице Нинке виделось мне — ни больше ни меньше — актом непростительной измены своей Музе. Ведь там были боль и сострадание, здесь же — невинная юмореска в угоду толпе. «Черт бы побрал все эти творческие эволюции с их бесконечными «этапами большого пути». Ну что это за натужный юмор такой, господи ты боже?» — все больше входя во вкус, распалялся я в такт гитарным аккордам:

Давид, для тебя пою! —

Что??? Только оживление зала и удивлённый взгляд Безродного убедили меня в том, что я не ослышался, что Володя из какого-то великодушного озорства действительно перебросил мне со сцены незримую ниточку из нашего прошлого.

Лучше бы он этого не делал. После концерта мои шаткие шансы представить в ОВИР справку о собственной благонадёжности стали равны нулю. А в тот вечер, уже у себя дома, Володя удивил меня еще раз:

— Знаешь, страшно скучаю по тем временам.

И предложил видеться чаще и «хулиганить», как прежде. Он вполне искренне приглашал меня в прошлое, но я ловил себя на том, что с «новым» Высоцким ощущаю какую-то, идущую от общей ущербности, скованность, которой и в помине не было раньше. Видимо, правы были эти древние умники: «Дважды в одну реку не входят».

Деля свою постылую товароведческую рутину с мимолётными переводческими «шабашками» на международных выставках, набрёл я как-то в уютных закоулках итальянских стендов на милую синьорину

бальзаковского возраста. Сегодня, спустя много лет, можно признаться, что вконец осатанев от собственного «байронизма», именно с её помощью решил я, понуря голову, вернуться в спасительное лоно рода людского и на деле осуществить житейское «стерпится-слюбится». Перспективы открывались колоссальные: горизонт раздвигался до упора, и все проблемы решались одним махом. Даже прерогатива выбора местожительства оставалась за мной: или реальная четырехкомнатная квартира с тараканами в Москве, или виртуальная фазенда с фазанами в окрестностях Рима. Более всего поражала мое воображение проектная площадь ее холла: она равнялась ста квадратным метрам. Оставалась самая малость — сделать этот выбор.

И тут мне пришла в голову счастливая идея переложить бремя ответственности на Володю с Мариной. Томимый туманными перспективами грядущего брака по расчету, я пригласил их в дипломатический дом моей суженой на Кутузовском.

— Конечно, мы приедем и скажем свое мнение, но вот жениться или нет, — резонно уточнила Марина, — это уж ты должен решать сам.

К сожалению, из-за загруженности четы в тот раз смотрины сорвались. Но после отъезда Марины Володя заезжал к нам дважды. В первый раз — с той самой красоткой из концерта, во второй — с Севой Абдуловым. И, пока хозяйка хлопотала на кухне, а мы с Севой нацеливались на литровую «Столичную» из «Березки», Володя отправился в разведку. Быстренько обозрел просторные покои, цепким взглядом оценил антураж моего шикарного временного пристанища и, вернувшись в гостиную, бросил:

— Да, женщина, слов нет, самостоятельная. Только, зная тебя, боюсь, что долго не выдержишь.

А я словно этого только и ждал: как гора с плеч свалилась. И однажды вечером, когда осенний дождь срывал последние листья с грустящих тополей, покинул эти дипапартаменты навсегда.

А Володя еще долгое время продолжал уговаривать Мишель вернуться в Москву, фиктивно восстановить наш брак и вытащить меня во Францию. Он делал это, даже не всегда ставя меня в известность. Увы, на сей раз французская рассудительность одолела русскую стихийность. Годы брали свое...

* * *

Февраль восьмидесятого кружил над Москвой синие метели, втягивая нас в свой жутковатый сказочный сюжет. Смерть летала над крышами домов, иногда заглядывая в чьи-то окна запорошенной боярыней Морозовой. Как всё-таки живёт она близко — Смерть, и какое раздолье для неё — зима! До чего ей к лицу этот кисейный новобрачный убор! Для кого-то февраль этот был самым последним в жизни. Оказалось — и для тебя, Володя.

В моей потрёпанной холостяцкой жизни возникло некое юное существо непонятных кровей и происхождения, с чьей помощью я судорожно пытался оживить полинялый узор судьбы. В ту февральскую ночь пьяной стайкой из ВТО сбились мы в безалаберной арбатской квартире — лежбище московской богемы, в которой дефицит стульев компенсировался избытком спальных мест. «Позвони Высоцкому, он хотел тебя видеть», — мимоходом сообщил мне Сережа Богословский. Да, недавно они вместе «отдыхали» на даче Бабека, и Володе захотелось, чтобы я туда приехал. Мы уже не виделись больше года. Сорвалось: у Сережи не было с собой записной книжки, а наизусть телефона моего он не помнил. Сколько их у меня сменилось за те последние непутёвые мои годы — телефонов, адресов, подруг?! В тот вечер у Бабека мы так и не встретились, но я хорошо запомнил Володины слова, сказанные им Богословскому: «Какой все-таки трагической судьбы человек — Давид».

Это был последний привет от тебя, но я прореагировал вяло. Облезлый хозяйкин попугай устало таращился из клетки, откуда-то забредший котяра путался под ногами, путались мысли в хмельной толчее. «Позвоню, непременно как-нибудь позвоню», — подумал я нерешительно. И звонки, — правда, не настойчивые — были. Твое отсутствие обнаруживалось или тревожными длинными гудками, или незнакомыми голосами очередных вахтенных по врачебной коммуне, поселившейся на Малой Грузинской. Называть им себя не хотелось из гордости. Ведь я и понятия не имел о твоем последнем роковом недуге — наркомании...

Хотя мог бы и догадаться.

Был, кажется, апрель или май 1977 года. Предварительно созвонившись с Мариной, я заехал к ней на Малую Грузинскую. Володя появился примерно через час. Его сопровождал целый выводок юных шестерок во главе с личным врачом Анатолием Федотовым. По суховатой отстраненности Марины было видно, что она, подобно мне, видит эту компанию впервые. Хотя все они были трезвы, какое-то странное взвинченное возбуждение кружило их по квартире. Федотов не понравился мне сразу: фамильярен, самоуверен, лишен той сдержанной серьезности, которая сразу отличает уверенного в себе специалиста. Зависимость Володи от этого человека бросалась в глаза, хотя причина ее и оставалась загадкой. Но я заметил, как покоробил Володю топорный комплимент, сделанный им Марине. Порыскав, о чем-то шушукаясь, по комнатам, странная ватага вскоре умчалась, прихватив с собой и Володю. Вернулся он уже один. Выглядел очень странно: взвинченность уступила место отрешенности. Казалось, человек пришел к себе домой и некстати наткнулся на шапочных знакомых.

Я обратил внимание на его глаза, словно задраенные наглухо заслонками расширенных зрачков. Марина пыталась растормошить Володю, но тот был грустен и задумчив, разговор не клеился. Он был как бы сам по себе в своем измерении, мы сами по себе — в нашем. Таким отчужденным и заторможенным я не видел Володю никогда, хотя о моем присутствии он и помнил.

Вскоре передо мной появилась непочатая бутылка коньяка, которую он принес из кухни. Чуть погодя присел на диване и, ни слова не говоря, обнял меня. Так, в обнимку, и просидели мы молча с полчаса. С тоски и недоумения я потянулся к бутылке. Чем больше я пил, тем яснее понимал, что с Володей происходит что-то скверное, хотя мысль о наркотиках в голову и не пришла. К тому же сбивало с толку и спокойствие, если не сказать беспечность, Марины. Кому, как не ей, было судить о симптомах наркозависимости, жертвой которой столько лет был её старший сын Игорь. В тот же вечер она была в прекрасном настроении и, казалось, ничего подозрительного не замечала.

В гордом одиночестве оприходовав бутылку, я легко дал хозяевам уговорить себя переночевать у них. А Володя, поспав лишь несколько часов, уже с пяти утра был на ногах — превозмочь дремоту Времени мог только этот гибельный ритм. Позже Марина скажет: «Он берется за столько дел сразу, что непонятно, как до сих пор не надорвался».

* * *

Что ж ты резанул нас по сердцу, крутанулся, как детский волчок, и перенесся из этого света в тот, заставив всех скорчиться от боли в одуряющем мареве июльского пекла? 26 июля. Вечер. Коньяк. Фужер, другой, третий. Гулкий бой сердца, бессилие алкоголя и смутное ощущение вины. Подъезд твоего дома. Внезапное чувство страха в мрачной коробке лифта и пролеты, бесконечные пролеты лестниц. В гостиной в зловещем безмолвии сидят окаменевшие родители и близкие родственники. А на кухне — нездоровое возбуждение. Только что прилетевшая Марина, Сева Абдулов, Валерий Янклович, врач Игорь Годяев, кто-то еще. Чуть позже скорбящей Антигоной появится Белла Ахмадулина с нетрезвым Мессерером.

Всех их я не видел давно, очень давно. Янклович сразу же наливает мне полный стакан вина, а Сева растравляет сердце памятным экскурсом в минувшее: «А помнишь, как вы к племянницам Махно ездили?»

Видя мою оторопь, Марина великодушно пытается меня подбодрить: «Если тебе это приятно: он вспоминал о тебе, удивлялся, что ты так внезапно исчез. — И, после короткой паузы, движением головы она обозначает место твоего последнего присутствия в нашем бренном мире. — А ты что, еще его не видел? Он — там!»

И я медленно направляюсь к дверям кабинета на наше с тобой бесповоротно последнее свидание, мой любимый и неповторимый товарищ, мой звёздный земной друг.

До встречи. До неизбежной встречи...

Об авторе этой книги

До некоторых пор даже исследователям биографии и творчества Высоцкого этот человек был абсолютно незнаком. Из книги Марины Влади было известно о его близости к Высоцкому; но упоминалось лишь его имя Давид. Было непонятно — почему он не назван по фамилии? Почему никто из «здешних» друзей поэта о нём не говорит?

Впрочем, ситуацию отчасти объясняло то, что Марина Владимировна впоследствии назвала свою книгу не мемуарами, а художественной прозой: значительное количество несоответствий реальным событиям позволяло думать, что и этот эпизод вполне мог оказаться вымышленным. Потому никто особенно Давида не искал.

А через пару лет в прямом эфире ночной передачи « Третий глаз» телезрители увидели некоего «народного целителя» Давида Егорова, который доверительно рассказывал полуночникам, что М. Влади пишет именно о нём, что он «лечил Высоцкого», был с ним дружен, и т.д. и т.п. Армия оказывавших Высоцкому медицинскую помощь уже тогда была сравнима с количеством его «близких друзей» и неумолимо подбиралась к количеству выпивавших с ним, - и потому верилось в эту историю с трудом.

Именно по поводу передачи «Третий глаз» мы впервые услышали от Нины Максимовны Высоцкой о настоящем Давиде — переводчике с итальянского, работавшем в области кино и, в частности, на съёмках совместных советско-итальянских фильмов «Красная палатка» и «Ватерлоо». Однако тогда же выяснилось, что он переехал на другую квартиру, по новому номеру дозвониться нам не удалось, возникли сомнения в правильности этого номера.

К тому же не очень верилось, что человек, который в течение многих лет не попытался заявить о своей дружбе с Высоцким и практически никак не был «засвечен» его ближайшим окружением, а также вездесущими журналистами, может и впрямь оказаться очень полезным для пополнения наших знаний о биографии поэта. И потому встреча с ним, как нам в музее Высоцкого тогда казалось, вполне могла быть отложена на потом.

Ещё раз это имя всплыло в деепричастном обороте одной из заметок исследовательницы Л. Симаковой, которая, в связи с «Мерседесами» и «Ситроенами» вспоминала «Песню о двух красивых автомобилях» (1968). Со слов И.В. Кохановского она написала, что песня была «посвящена Татьяне Иваненко, дружившей с женой Давида Карапетяна, француженкой Мишель». Кто такой этот загадочный Карапетян, при этом не сообщалось.

Публикуя в 1997 году в альманахе «Мир Высоцкого» воспоминания Виктора Турова, где упоминается переводчик Давид Вартанян, мы были почти уверены, что речь в них идёт снова о том же человеке. Но тем не менее не стали давать никаких комментариев, а решили найти, наконец, его самого.

Думается, не стоит пытаться объяснить только ревностью, почему и близкий круг друзей Высоцкого, и многие актеры Таганки скрывали от журналистов и исследователей существование этого человека. А вот почему он сам ни разу не написал о Высоцком, не напросился на интервью, — красноречиво показал наш первый разговор. Когда мы позвонили и представились, Карапетян просто сказал: «Что же вы так поздно? Я давно жду вашего звонка...»

Не секрет, что многие мемуаристы, стараясь подчеркнуть свою близость к гиганту, снисходительно, а иногда панибратски, «похлопывают» его (умершего) по плечу: дескать, ругал я его, а он... В мемуарах о Высоцком поражает также почти полное отсутствие упоминаний «творческих» разговоров с ним, что и

создает устойчивое впечатление об одиночестве художника. В нашем же случае биографам Высоцкого невероятно повезло, что познакомились два эти человека, когда Карапетян уже был влюблён в песни Высоцкого и ощущал масштаб и значение его дарования, — потому и относился к нему сразу как к «старшему брату» — поражался, впитывал, запоминал, старался помочь. Жаль вот, не вел дневников.

Еще в самом начале наших продолжительных бесед и годовой работы над пятнадцатичасовой магнитофонной записью (хранящейся теперь в фондах музея) стало окончательно ясно: мы располагаем уникальнейшими по правдивости и объему информации мемуарами о дружбе Владимира Высоцкого и Давида Карапетяна, основанной на духовной близости и любви к литературе.

А. Е. Крылов,

заместитель директора

ГКЦМ В. С. Высоцкого

по научной работе

1

Belle dame sans merci (фр.) — безжалостная.

2

Фуриозо — муз. (ит.) — бурно, страстно, неистово.

3

Имеется в виду картина норвежского художника Э.Мунка «Крик».

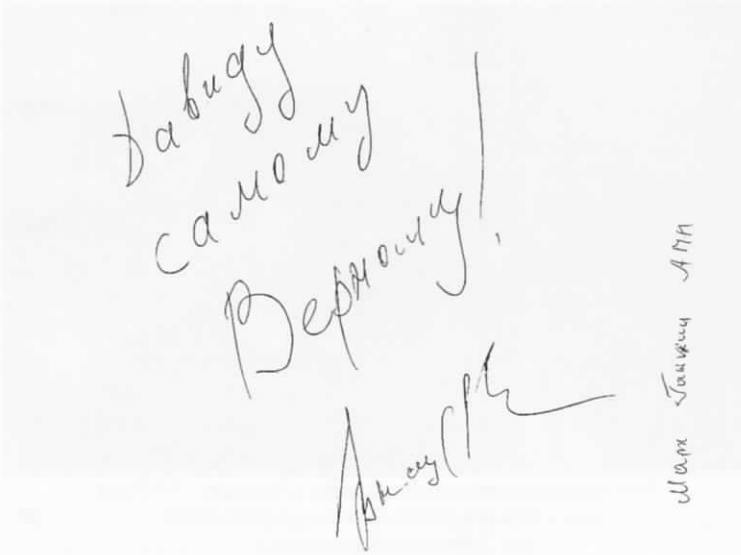
4

Улица в парижском пригороде Венсен, где ютились Махно и его семья.

5

Фанхио (Аргентина) — пятикратный чемпион мира в гонках «Формула-1» в 50-е годы.

Фото М.Ганкина



Дарственная надпись, которую Владимир Высоцкий сделал Давиду Карапетяну на обороте своей фотографии (сверху)

Большой Кремлевский дворец. Прием деятелей науки и культуры Армении. Второй ряд, слева направо: М.С.Сарьян, С.К.Карапетян, И.Х.Баграмян, К.Е.Ворошилов, Н.М.Шверник, П.К.Пономаренко, М.А.Суслов, Г.А.Арутинов. 40-е годы

Мой «финский» роман. Гостиница «Таллинн», 1968 год.
См. главу «Таллинн. Гостиница Надежды».
Фото А.Маслюкова

Я с Жаклин Сассар.
Московский кинофестиваль,
гостиница «Москва», 1965 год.
Фото Г.Овесяна

Тоже я. С итальянскими актрисами,
справа – Клаудия Кардинале.
Красная площадь, 1967 год.
Фото И.Гневашева

Моя французская жена Мишель Кан,
Ереван, 1966 год.
Фото Шанта

Улица Грибоедова, Москва, 1965 год.
Тут официально зарегистрировали наши отношения

Ереван. Родительский дом

Моя вторая жена Аня

Иза, первая жена Высоцкого

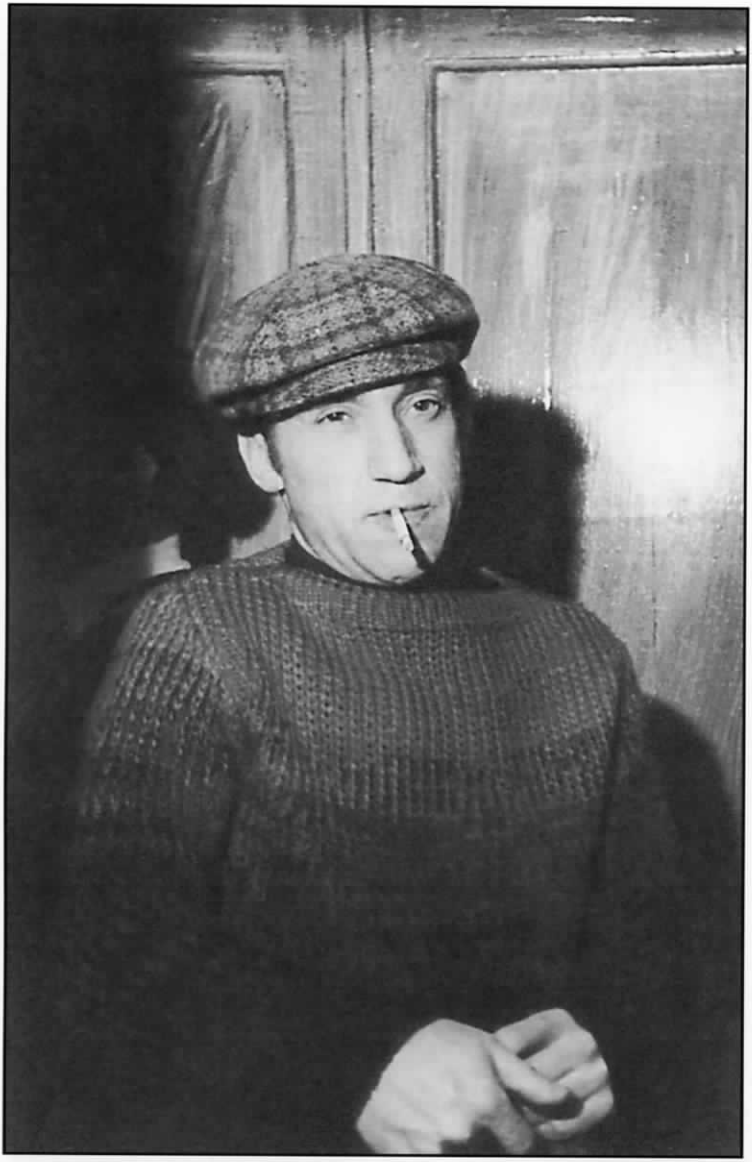


Фото М. Баранова

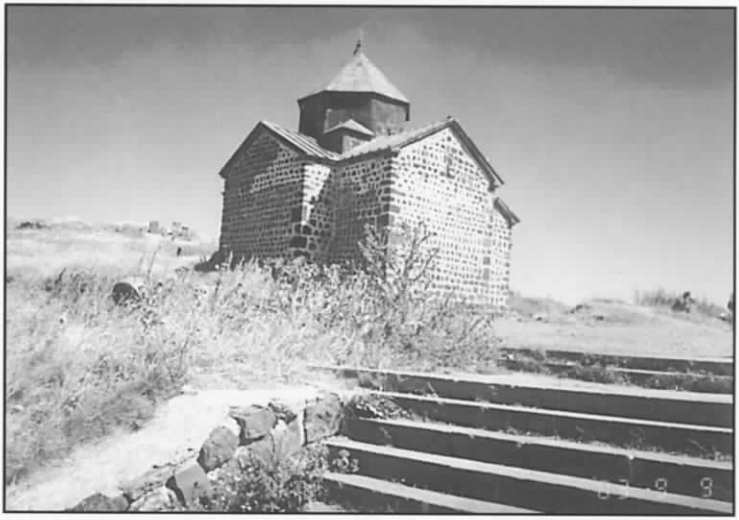
Галина и Аня

Гостиница «Таллинн» в наши дни

Аэропорт. Перед отлетом из Еревана

Бар «В.С.Высоцкий»
в 30 метрах от клуба КГБ

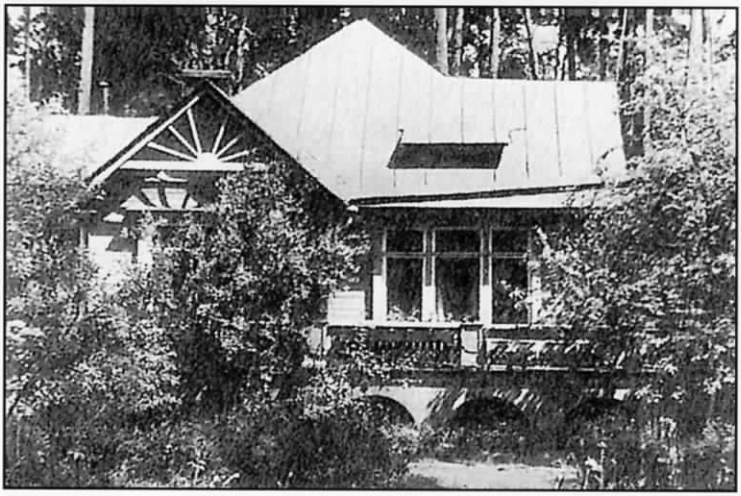
Здание и клуб
КГБ Армении



Древняя церковь на полуострове Севан

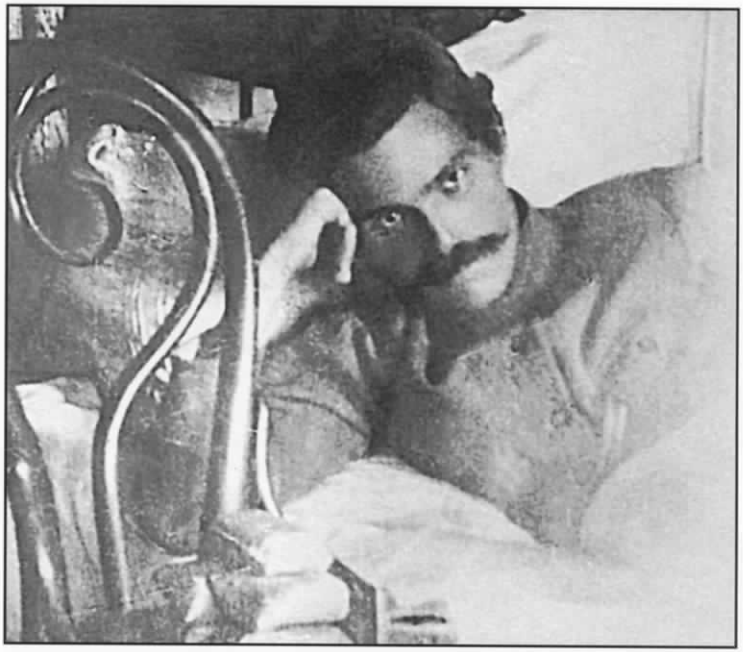
Поэтесса Алла Тер-Акопян

Так выглядел Хрущев-пенсионер,
когда мы заявились к нему с Высоцким

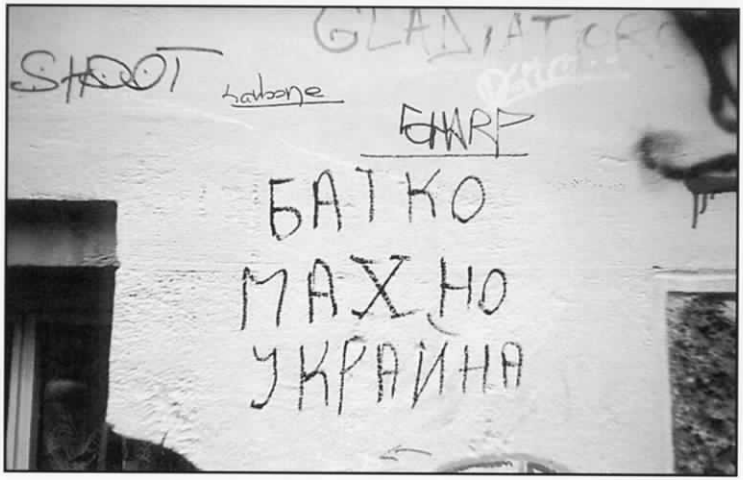


Петрово-Дальнее. Дача Н.С.Хрущева

Особняк. Улица Рылеева, 11. См. главу «Улица Рылеева. Особняк»



Нестор Махно в лазарете. Украина.
На фронтах Гражданской



80-е годы. Граффити на зданиях Парижа.
Этого имени стереть нельзя

Семен Владимирович

Нина Максимовна
Фото С.Жабина

Аркадий и Никита

Люся Абрамова,
вторая жена Высоцкого

Люся с сыновьями.
Фото Е.Щербиновской

«Таганка», спектакль «Павшие и живые».
Иван Бортник, Татьяна Иваненко и Владимир Высоцкий.
Фото Б. Ведьмина

Владимир Высоцкий с работниками шахты Бутовская Глубокая. Крайний слева — председатель профкома А.Столяров. Макеевка, 1970 год

Я — слева от Высоцкого. Донецк. С работниками студии звукозаписи, 1970 год

Съемки «Красной палатки».
Я между Клаудией Кардинале и Михаилом Калатозовым

На съемках фильма
«Необыкновенные приключения итальянцев в России»

Андрей Тарковский с сыном, 1971 год

В гостях у режиссера Виктора Турова. Белоруссия, 1969 год

С Мариной Влади на теплоходе
«Шота Руставели», 1971 год

Теплоход «Грузия».
С капитаном Анатолием Гарагулей, 1969 год

В Пицунде на отдыхе

Теплоход «Шота Руставели». С капитаном Александром Назаренко, 1971 год

На теплоходе «Грузия».
Владимир Высоцкий, Марина Влади, Всеволод Абдулов

Слева, если кто не узнал, – Марина Влади.
Московский международный кинофестиваль, 1969 год

На съемках фильма «Служили два товарища». «Мосфильм». 1967 год

Фото из архива «Мосфильма»

Высоцкий в форме поручика с Ией Саввиной и королевой Швеции

Поселок Джубга
(Краснодарский край). 1971 год

Фото И.Бахтина

На могиле В.С. Высоцкого. 25.01.1986г.

Крайние слева: отец и мачеха

Похороны. В.Смирницкий, А.Градский, М.Боярский (слева направо)

С Романом Вильданом, Игорем Кохановским и Всеволодом Абдуловым

С Михаилом Горбачевым

С Ларисой Лужиной

С третьей, но не последней женой
на родине Петрарки, г. Ареццо

Снова в Париже. Vivat, Горбачев!

Книга вышла. Встреча с читателями г. Дубна

На открытии «аллеи Высоцкого» в г. Дубне

С французской дочерью Мелинэ в Париже

ФОРМИРОВАНИЕ СИЛ КАЗАЧЕСТВА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

г. Санкт-Петербург

Приказ № 200

01 февраля 2005 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить посмертно в ряды Формирований Сил Казачества России Северо-Западного Округа с присвоением офицерского казачьего чина

ПОЛКОВНИК

ВЫСОЦКОМУ ВЛАДИМИРУ СЕМЕНОВИЧУ

Атаман
Формирований Сил Казачества
Генерал-лейтенант

Еремин С.Б.

Дорогому Давиду,
другу нашему,
на память о старых
нежных времен нашей
юности.
Марина
Влади
Marina
Vlady
19.11.88

VLADIMIR
OU LE VOL
ARRÊTÉ

Давид! Дорогой!
Вызвали в
театр прощу-
подъедь туда!
Обнимаю!
Вы

Страница 99.

Спасите наши души

I Уходим под воду
В нейтральной воде
Мы можем по году плевать на погоду,
А, если накроют, локаторы взвоют
О нашей беде:

- Спасите наши души!
Мы бредим от удушья
Спасите наши души,
Спешите к нам
Услышьте нас на суше
Наш SOS всё глуше, глуше
И ужас режет души
Напополам

II И рвутся аорты,
Но наверх не сметь -
Там слева по борту, там справа по борту
Там прямо по ходу мещает проходу
Рогатая смерть

{ рефрен

III Всплывём на рассвете -
Приказ есть приказ -
А гибнуть во цвете, уж лучше при свете
Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем,
Но помните нас!

{ рефрен

IV Вот вышли наверх мы,
Но выхода нет
Вот „полный" - на верфи, натянуты нервы
Конец всем печалям, концам и началам
Мы рвёмся к причалам
Заместо торпед

{ рефрен

Цыганочка

I В сон мне - жёлтые огни
И хриплю во сне я
- Повремени, повремени
Утро мудренее
Но и утром всё не так,
Нет того веселья -
Или курищь натощак,
Или пьёшь с похмелья

{ Эх раз, ещё раз
Ещё много, много раз
Эх раз, ещё раз
Или пьёшь с похмелья

II В кабаках - зелёный штоф,
Белые салфетки
Рай для нищих и шутов
Мне же, как птице в клетке
В церкви - смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан -
Нет и в церкви всё не так,
Всё не так, как надо

{ Всё не так, как надо!

III Я на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло,
А на горе стоит ольха,
А под горою вишня.
Хоть бы склон увить плющём,
Мнеб и то отрада
Хоть бы что-нибудь ещё -
Всё не так как надо

{ Всё не так, как надо

IV Я тогда по полю вдоль реки,
Света - тьма, нет бога,
А в чистом поле - васильки,
Дальняя дорога
Вдоль дороги - лес густой
С бабами - ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами
Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно -
Вдоль дороги всё не так,
А в конце - подавно
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято
Нет, ребята, всё не так, все не так, ребята